



ПАНТОКОЛЬСКИЙ

2

П. Антокольский



Издательство
«Художественная литература»
Москва 1971

П.АНТОКОЛЬСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

**Издательство
«Художественная литература»
Москва 1971**

П.АНТОКОЛЬСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
1941—1971

Издательство
«Художественная литература»
Москва 1971

P2
A72

7-4-2

Подп. изд.

СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

— А того, кто убит в бою, ты видел?

— Видел! Мать и отец его голову держат, жена над ним плакала.

Гильгамеш

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

*Ночь. Землянка. Фитилек
Разгорелся-еле-еле.
Что же рано ты прилег?
Погляди, как дремлют ели,*

*Как в серебряной красе
Звезды вымылись сегодня
И спустились к людям все
Ради ночи новогодней.*

*Вот и мы, старинный друг,
Ради праздника такого,
Оглядимся, что вокруг,
Покалякаем толково.*

*Говорят, за этот год
Все мы постарели малость.
Разве ж не было невзгод?
Разве сердце не сжималось?*

*Мальчик мой лежит в земле.
Твой подался к партизанам.
Посидим, старик, в тепле.
Огонек глядит в глаза нам.*

*Милый слабый огонек
Ненадежен и неровен.
Но и он не одиночек
Под накатом толстых бревен.*

*Много теплится огней,
Много звезд в России снежной.
В полмочь вспомним мы о ней
Честно, празднично и нежно.*

*Слов не надо... Ни к чему.
Разве мы перед собраньем?
Лучше в сумраке, в дыму
Боевую песню грянем.*

*...Вот и полночь. Фитилек
Разгорается, как надо.
Фронт отсюда недалек.
Слышишь нашу канонаду?*

*Слышишь славный гул вдали?
Это в заревах пожариц
Наши к западу пошли.
С новым мужеством, товарищ!*

31 декабря 1942 г.

ЖЕЛЕЗО И ОГОНЬ

СТРАНИЦА НОВОЙ ИСТОРИИ

В порвежских льдах, в ущелье Фермопил,
На верфях Гавра, в переулках Праги.
Мир ненависть к стервятникам конил
И мщенье торонил. В крови и прахе
Под сапогом фельдфебельским дымилась
Вся Франция. Фашистский феодал,
Своей стране оказывая милость,
Ее крестами кладбищ награждал.
Пока война Европу сотрясала,
Он стаскивал в свою берлогу хлеб,
Железо, нефть, шелка, и шерсть, и сало,
А все не полон был смердящий склеп.

Был разум обезглавлен. Гнев убит.
Сопротивленье силами скудело.
Вползла зараза мертвенная в быт.
А между тем в Европе то и дело
Прокатывался ропот. Там, внизу,
В глубокой шахте, в доке корабельном,
Могильный сон был смешан с колыбельным.
И превращалась тишина — в грозу.

...Был ранний час, паверно, лучший в мире,
Начало жизни, песен и труда.
Младенцев кротких матери кормили,
Пылили по степным шляхам стада.
Шла в пионерском лагере зарядка.
Трава тянулась к свету. Дивный рост
Дремучих клубней нестовала грядка.
Пел песенку задумчивую дрозд.

Страна дышала в мирном изобилье,
В сверканье жизни, песен и труда.
...В то утро раннее враги бомбили
Советские порты и города.
В то утро перешли рубеж их танки.
И там, на пограничном рубеже,
На мирном белорусском полустанке,
В то утро наша кровь лилась уже.

И грозные откликнулись гудки.
И, вся в поту, и в дыме, и в мазуте,
Страна вставала, сжавши кулаки.
Как много силы было в той минуте!

Умру ли завтра, проживу ли век,
В Москве, на фронте, на море — повсюду
Я, рядовой советский человек,
Священной той минуты не забуду.

Мы все, закинув головы, могли
Почувствовать, как, задрожав от гула,
Страницу медленно перевернула
История пылающей земли.

Две армии сошлись в ожесточенной
Смертельной схватке. Началась война.
...В то утро раннее в Европе черной
Кайма зари едва была видна.
Храпел Берлин. В бреду металась Вена,
Закована в кольцо концлагерей.
И где-то в Гамбурге самозабвенно
Сирена выла: «Нас бомбят! Скорей!»

Но зарево, растущее с востока,
Вершины Альп кровавило слегка.
Сквозь гул электроволн и мчанье тока
Казалось, что война недалеко.
Париж дышал осадами Бастилий.
В Брюсселе Уленшпигель бил в набат,
В Белграде песни русские гостили.
На Капри Горький подымал ребят,

Не зная, гаркнуть иль посторониться,
Шли оккупанты, убыстряя шаг.
Дышала бурей новая страница
Истории. И звон стоял в ушах.

На западе заря не закатилась,
В течение суток не настала ночь.

...И вот на нашем фронте прокатилось:
«Мы боремся, чтобы и вам помочь».

АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ МОЛОДЕЖИ

Юность мира! Людских поколений краса!
Ты слышала их голоса.
Каждый здесь говоривший — твой сверстник
и друг,

Протяни же нам тысячу рук!

Юность мира! В траншеях, на вахтах морей,
За колючками концлагерей,
В партизанских отрядах в дремучих лесах,
У костров на ветру, на часах —
Где бы ты ни была, — отзовись, прокричи
Свой пароль в европейской почти!

Не отстань от своих, не тансь по углам:
Вновь расколот весь мир пополам.
Полыхают фронты. Государства горят
Два погибельных года подряд.

Там, где трупы германских дивизий легли
На полях нашей славной земли,
Там решаются судьбы на много веков
Всех народов и материков —
Судьбы школ, судьбы книг, не прочтенных тобой,
Поколенья, идущее в бой!
Судьбы новых детей, не зачатых в любви,
Там решаются в муках, в крови.
Отзовись, отзовись, если хочешь помочь,
Сквозь глухую фашистскую ночь,
Сквозь ночной ураганный огонь батарей
Отзовись — ради всех матерей,
Ради родины, ради ее торжества,
Ради жизни, что будет жива,
И воспрянет, и взглянет в открытую высь, —
Отзовись, отзовись, отзовись!

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Медный всадник над славной рекой,
Старый друг вдохновенья в России!
Встань на вахту с простертой рукой!
Ты России сулил покой, —
Так победу опять принеси ей.

Ты летел сквозь года и века,
Медным топотом время наполнив.
И простертая к морю рука
Только крепла от штормов и молний.

В снежный Выборг в минувшем году
Ты сапером вошел, как когда-то.
Ты все тот же, врагам на беду, —
Рослый шкипер, моряк из Кронштадта.

Старый друг наших сказок и снов,
Медный всадник, механик и зодчий!
Стереги ленинградские ночи,
Береги своих верных сынов,
Сделай зорче их зоркие очи.

Старый друг всех побудок и зорь,
Запсвала военных горнистов,
Славной памяти не опозорь,
Снова бдителен будь и неустов!

Берегись, береги берега,
Помни Балтики славу седую,
Чтоб «Аврора» громила врага
И гремела, как встарь, негодуя,

Чтобы ночью и в раннюю рань,
Когда солнцем туман не пропорот,
Никакая бы нечисть и дрянь
Не вползла в удивительный город.

И когда в небесах над Невой
Черный коршун со свастикой кружит,
Пусть прожектора сноп огневой
Эту птицу во мгле обнаружит.

Пусть зенитчик ударит во мглу,
Вырвет смерть из ночного простора
И к тебе принесет на скалу
Обожженное сердце мотора.

Чтобы крепко зенит заперла
Стая смелых в полете орлином,
Чтобы кубок Большого Орла
В ту же ночь она пролила
Жгучей брагой над самым Берлином.

ПИСЬМА В СРЕДНЮЮ АЗИЮ

1

Сын. Комсомолец. Школьник. Человек.
Вступаешь ты в железный, грозный век,
Чтоб в малом деле быть его достойным.
Пришла пора последним, грозным войнам.
Нас расставанья долгие томят.
Ты призван был, и райвоенкомат
Послал тебя в далекий древний город.

Там край заката горного распорот
Зазубренными острями скал.
Там в сказках отшумел и отсверкал
Седой базар у голубой мечети.
Там учат смуглые худые дети
Простой, веселый, добрый алфавит,
И ждет змея, певинная на вид,
Их резвых ног на выступах опасных.

А пред тобой — рожденье формул ясных
И музыка предельной быстроты.
Ты с мирозданьем говоришь на ТЫ,
Курчавый мальчик с доброю улыбкой;
Как мне представить в путанице зыбкой
Тебя — в пилотке, с бритой головой?
Как услышать любимый голос твой
В открытой дали синего простора,
За визгом вьюг, за скрежетом мотора?

2

Не только сын — товарищ мой по счастью,
По жизни, слишком рано начатой,
Вчера ты был моею кровной частью,
Сегодня стал единственной мечтой.

Единственной. Ты поднят всем народом
Высоко, в грозовые облака.
Мысль о тебе мне стала кислородом,
Хотя меж нами полматерика.

Летп. Будь смелым. Каждый лист газетный
Похож на встречу новую с тобой:
В прорывах туч, во мгле передраассветной,
В любом краю, в республике любой.

Будь жадным. Сколько стали не добыто,
Звезд не открыто, книг не прочтено!
Вся лихорадка лагерного быта
Пусть к тебе врывается в окно.

Будь зорким. Станут страшной сказкой войны.
Они погаснут, как тифозный бред.
И снова мир — жилой, зеленый, хвойный —
Очнется, чьей-то нежностью согрет.

Мы повстречались в мировом просторе,
В седой пурге, под проливным дождем
И в молниях слепящих траекторий
Вновь друг от друга спешных писем ждем.

Ты мог бы стать художником. Но небу
Иною призван доблестью служить.
Летп. Будь счастлив. Если бы ты не был
Самим собою — я не мог бы жить.

ЖАН-РИШАР БЛОК В КАЗАНИ

Он посмотрел горячими глазами
На рыхлый снег, на деревянный дом,
На комья туч свисающих — и замер,
И выговорил «каррашо» с трудом.

Как много дела впереди осталось!
Общительный, насмешливый смельчак,
Он знал, что это все-таки не старость
И не последний все-таки очаг.

В таком тылу, за столько верст от бури,
От яростной работы фронтовой...
И все-таки, грустя и каламбуя,
Чужой земле он повторял: «Я твой!»

«Я твой», — в госпиталях и у танкистов.
«Я твой», — на всех вокзалах... И, как сполз
Зенитного прожектора, неистов,
Бил юношеской радости озноб.

Ему хватало зрения и знания
На много дней, на много верст вперед.
Изгнание? — Нет, не может быть изгнания.
Париж? — Наступит и ему черед.

Ведь если долго всматриваться — вот он,
Любимый камень вымерших громад,
Где встал с картавым окриком «ферботен»
Прямой, как палка, наглый автомат.

Ведь если долго вслушиваться — тут же
Возникнет песня Франции родной.
И он согрелся в нашей снежной стуже.
Он ей поверил. Только ей одной.

ПАРЕНЬ ИЗ ГИТЛЕРОВСКОЙ ДИВИЗИИ

Парня выбрали по росту между сотен низколобых,
На год заперли в казарму, сны проверили в мозгу.
Ровно год скучал и ждал он с разной сволочью
бок о бок,
Не писал домой открыток, и оттуда ни гугу!

Силу парня разъедала тошнотворной скуки язва.
Рядом с ним, как волки в клетке, терлась тысяча парней.
Был недаром Волчьей Стаей этот полк отборный назван,
Чтобы дух закалки бравой укрепить в парнях верней.

День пришел. Парней обрили.
Куртки спрыснули карболкой.
Проглотили их вагоны, целый полк — в один глоток.
Трое суток было слышно, как в дороге скучной,
долгой
Перестукивали стыки: на восток, восток, восток...

Парень вышел из вагона в три часа утра. Светало.
Небо медленно бледнело над морями спелой ржи.
Непроспавшемуся парню почему-то страшно стало.
Он спросил соседа тихо: «Чья же тут земля? Скажи!»
Тот ответил: «Здесь Россия. Нас сюда не пригласили.
Берегись! Шагнешь к трясине. Пропадешь в траве сырой,
Ты сюда пришел, чтоб драться».
«Надо в этом разобраться», —
Так промолвил первый парень.
И тогда вздохнул второй,

И пошли прижавшись парни по лугам и перелескам,
По корягам и болотам шли, пока не рассвело.
Глотки им сушила жажда, очи им слепило блеском,
Плечи им, спросонок что ли, зябкой свежестью село.

«Разобраться, говоришь ты?

Будешь ты расстрелян трижды
За такие речи, парень. Разобраться! Черта с два!
Мы всего не знаем сами, но за полем, за лесами
Будет отдых и добыча: город есть такой — Москва».

Так болтают по дороге парни, сделанные грубо
Из костей, дубленой кожи, крови, фосфора, белков.
Понимают эти парни, что любой из них — обрубок
Среди множества обрубков в самом рослом из полков.

«Как же нам в Москву пробраться?»

«Надо очень долго драться».

«Это дело! Рад стараться. К драке с детства я привык.
С детства мне приятен очень звук затрещин и пощечин.
Я в ударе зол и точен, как спортсмен и штурмовик».

И когда в глаза сверкнуло, и свернуло парню шею,
И швырнуло наземь грозно, и лежал он в спелой ржи,
И над ним сияло небо, беспощадно хорошея, —
Он спросил у неба тихо: «Как же это так? Скажи».

«В этом надо разобраться, — отвечало парню небо, —
Не пришлось тебе подраться. Продал ты себя за грош.
Крепко спи, не просыпайся, будто ты на свете не был:
Не твои леса и реки, не твоя созрела рожь».

Через год придут ребята, пыльный череп твой подымут
И твою могилу примут за некошенный овраг.
Крепко спи, убитый парень, скован стужей, ливнем
вымыт.

Здесь у нас хороший климат!

Не проснется мертвый враг».

БАЛЛАДА О МАЛЬЧИКЕ, ОСТАВШЕМСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ

В ту ночь их части штурмовые вошли
в советский город Б.
И там прокаркали впервые «хайль Гитлер!»
в стихнувшей стрельбе.
Входили вражеские части, плечо к плечу,
ружье к ружью.
Спешила рвань к чужому счастью,
к чужому хлебу и жилью.
Они прошли по грязи грузно, за манекеном манекен.
А этот мальчик был не узнан,
не заподозрен был никем,
Веселый мальчик в серой кепке. Его приметы:
смуглый, крепкий.
Не знает кто-нибудь из вас, погиб ли он, где он сейчас?

Пробрался утром он к квартире и видит:
дверь не заперта.
И сразу тихо стало в мире, силовная сразу пустота.
Мать и сестра лежали рядом. Обоих немец приволок.
Смотрела мать стеклянным взглядом
в потрескавшийся потолок,
Они лежали, будто бревна, — две женщины,
сестра и мать.
И он стоял, дыша ровно, и разучился понимать.
Потом он разучился плакать и зубы сжал,
но весь дрожал.
И той же ночью в дождь и слякоть
куда-то за город бежал,
Без хлеба, в майке, в серой кепке. Его приметы:
смуглый, крепкий.
Из вас не знает кто-нибудь,
куда он мог направить путь?

МОСКВА ФРОНТОВАЯ

Любимая! Еще раз— с Новым годом!
Бывало, вопреки всем непогодам,
Едва взмахнешь ты рукавом —
И пляс пошел, и песням нет конца там...
Так было и в двадцатом, и в тридцатом,
И год назад, в сороковом.

Ты шла как буря сменой поколений,
Не зная лжи, отчаянья и лени,
В колокола времен звоня;
Согрев дотла, опять слагала песни,
Не сгнула на баррикадах Пресни
И хорошела от огня.

И вот враги подкрались издали,
Чтоб онемечить, насмерть искалечив,
Твое прекрасное лицо.
И тыкались их волчьи морды в пене,
И лязгали клыками в нетерпенье,
Сдвигаясь в тесное кольцо.

Ты снилась им, Красавица! Но стужа
Охватывала фланги их все туже
Во всю стоверстную длину.
И, выйдя в правый бой, ты разметала
Обломки вражьих тел, куски металла
В Волоколамске и в Клину.

Сверкала ночь в мохнатых крупных звездах.
Крепчал мороз. Яснел прозрачный воздух.
Зайндевели провода.
И, час победы к родине приблизив,
Подкову волчьих вражеских дивизий
Ты разогнула навсегда.

Такой тебя запомню навсегда я:
Прифронтовая, грозная, седая,
Завьюженная до бровей.
Идут колошны танков. Это значит,
Что новый год по-праздничному начат
В железной кузнице твоей.

31 декабря 1941 г.

МЩЕНИЕ

Этот мальчик, упавший ничком,
Чудом спасшийся, в саже и глине,
Ставший за ночь одну старичком,
Дотащился под утро ползком
Вплоть до наших завьюженных линий.

Рассказал он, как старшей сестре
Страшный гость угрожал автоматом,
Как лежала она на дворе,
Вся заиндевав, вся в серебре,
С голой грудью, с подолом измятым.

Рассказал он, как мать увела
На ночь в погреб меньшую сестренку
И как гость, запалив полсела,
Раскроил без причины, со зла,
Ее светленькую головенку.

Рассказал он, как всныхнул их дом,
Как, ловя в невозможном мученье
Зимний воздух обугленным ртом,
Умерла его мать. И о том,
Как она умоляла о мщенье.

Рассказал он еще, как вели
Всех прикладами в поле. И, прежде
Чем иные слышали «пли»,
Уже сыпались комья земли:
«Это ваша земля, ну и ешьте!»

И бойцы, услышавши рассказ,
Каменели душой воспаленной.
И едва был им отдан приказ,
Ворвались к полуночи как раз
В этот маленький пункт населенный.

В то же утро на карте штабной
Он отмечен был красным колечком.
Стыли в страшной красе ледяной
Только печи, стена за стеной,
Только пепел по черным крылечкам.

Ни один не ушел из гостей!
Не спасли амбразуры и доты.
Широка снеговая постель!
И метет-заметает метель
Лом железный германской работы.

Мщенье, Мщенье! Ты жарче огня,
Ты нужней, чем свиданье с любимой,
Вырастаешь ты день ото дня,
Мчишься, полчища вражки гоня,
Неподкупно и непоколебимо.

Мщенье, Мщенье! Ты так разлито
В грозном воздухе бури военной,
Так оправдано, так поднято,
Что тебя не избегнет никто.
Ну, так будь же ты благословенно!

НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО

Он писал:

«Дорогая жена. Я пропал
В этой чертовой страшной войне.
Ровно месяц не мылся, неделю не спал,
Дорогая, молись обо мне».

Он писал:

«Посылаю в подарок браслет
И кавказский каракуль седой.
На каракуле крови запекшейся след.
Надо смыть эту гадость водой».

«Надо смыть» — подчеркнул. И потом:
«Впереди
Еще русская злая зима.
Полученье подарков моих подтверди.
До свиданья...» —
И не кончил письма.

Где-то ухнуло грозно, и рухнул настил,
Вот лежит он, еще не остыл.
Он недолго на нашей земле прогостил.
И письмо не отправлено в тыл.

Ни браслет золотой, ни каракуль седой
Не дошли до вдовы молодой.
Нашей крови не смыть никакою водой →
Ни дунайской, ни рейнской водой.

ГЕРМАНИЯ

Широк наш фронт, неслыханно широк!
И нам не хватит крыл воображенья,
Чтобы обнять размах его дорог.
Но всюду, где идут сейчас сраженья,
Ты трупы их замерзшие найдешь.
Они лежат ничком, согнув колени, —
То павшего народа поколепье,
Краса германской крови, молодежь.

Народ. Он был когда-то славной частью
Великой человеческой семьи.
Чем смерть глубину его несчастья,
Его отверженности меж людьми?
Когда-то был он чист, бессмертен, молод,
Звенел по наковальне тяжкий молот.
Веретено жужжало словно шмель.
Курчавился в отцовской кружке хмель,
Как вдохновенье Себастьяна Баха.
И Фауст по вселенной колесил
Так вольно, так без усталости и страха,
Что на сто лет хватило этих сил.

Мы помним, как в притонах, в звоне джазов,
Подземный ключ инфляции вскормил
Ораву педерастов и громил,
На лицах их зловеший грим размазав,
И в Спорт-паласе под свистки и вой
Вертлявый, щуплый, наглый человек,
Баварский писарь, прусский контрразведчик
Уже готовил помер боевой.
По части мокрых дел он был не промах
И, года два на месте протопчась,
Пошел ва-банк на ста аэродромах,
Чтоб обогнать Европу хоть на час.

Война! На дне его мыслишек злобных
Гнездилась греза злейшая стократ.
Дымили жерла дул слоноподобных,
Шли танки по цементу автострад.

Война, война! Еще не пал Мадрид.
А где-то в буре завтрашней, недалкой,
Уже летел дракон войны тотальной,
Париж и Прага плакали навзрыд.

Так вот зачем покончил Вертер с жизнью
И сто раз жить его творец хотел,
Чтоб этот шпик без чести, без отчизны
Плясал на свалке юношеских тел!

Так вот зачем ребята Карла Моора
Шли на тиранов, шли на штурм веков,
Чтоб этот шут развел штурмовиков
По своему подобию! — Вот умора!

Германия! Всех скрипок голоса,
Всей шиллеровской молодости буря,
Всей просветленной готики леса —
Все было передернуто в сумбуре...

Тогда герр доктор Геббельс возгласил
По радио во все концы вселенной,
Что над его Германней растлепной,
Тащившей лямку из последних сил,
Нависла гибель. Несмотря на ругань,
На фельетонный и блатной словарь,
Заметно было, что министр испуган, —
Затрепетала пакостная тварь.

С тех пор прошли не месяцы и годы
В огне фугасных и термитных бомб, —
Прошло тысячелетье непогоды,
Забывшее о небе голубом.

И год настал. И год еще не прожит,
Когда, любовь и жалость истребя,
Неслыханная битва подытожит
Решенье, роковое для тебя.

Пока вопила в Подмосковье вьюга,
Пока гудел от севера до юга,
От Балтики до Черноморья шквал,
Пока он в океанах бушевал,
Лохмотья пены по свету кидая,
Стремился к Бирме, угрожал в Китае
Труду народа и его борьбе, —
В какой-нибудь нетопленной избе,
В колхозе, не отмеченном на карте,
Вчера, сегодня, в январе иль в марте
Грозил разгром, Германия, тебе!

Когда мои товарищи вчера
Входили в пункт, педавно населенный,
Который стал землей испепеленной,
И с песней их встречала детвора;
Когда на перекрестке черных улиц
Три призрака, три оборванца, три
Фашиста с автоматами рванулись:
— Gib uns dein Brot!

Дай хлеба иль умри! —

Что это было?
Гибель человечья!
Не только кровь, и пламя, и свинец,
А сквозь свинец, и пламя, и увечья
Фашистского чудовища конец.

На облаках, в столбах огня сплошного,
На южном море, в северном краю,
В снегах, в провалах сумрака лесного
Мы боремся — и победим в бою!

Тогда народ германский вспомнит снова
И молодость и музыку свою.

ОТ ПУНКТА ЭН НА ЗАПАД

Зори в тучах, овраги косые,
В шапках синего снега леса.
Вот она — наша слава, Россия,
Наша молодость, наша краса.

А метель заметает в лощинах
Безымянных могил горбыли,
То зальется в слезах беспричинных,
То пригнется до самой земли.

Вот прошли пятитонки и танки,
Тягачи проползли скрежеща.
Вот в поселке и на полустанке
Бродят жители, крова ища.

Много дней не найти им ночлега
И озябших не выпрямить плеч,
На кроватях, торчащих из снега,
Ни баюкать детей, ни прилечь.

Что же это случилось? Откуда
Печи в рыхлом снегу — как столбы,
Да железа германского груды
За обугленным срубом избы?

Это фронт. Ни далек он, ни близок.
Но, как ранней весны торжество,
В песне вьюги, в шальных ее визгах
Замирающий грохот его.

И зенитка ли бахнет внезапно
Иль прожектор рванет горизонт —
Он уходит все дальше на запад,
Наш карающий Западный фронт.

И в вираже крутом парастая,
Вся блистая к утру серебром,
Возвращается славная стая
На завьюженный аэродром.

СКАЗКА ВЬЮГИ

Не знаю, правда иль сказанье, —
Скажу, как слышал, не солгу.

Он был студентом, жил в Казани,
В домишке низеньком, в снегу.
Все было впереди: Женева,
Дни возмужанья, дни труда,
Рожденье ПРАВДЫ в ИСКРЕ гнева —
Все было впереди тогда.
Покончив с шахматным турниром,
Заправив в лампе керосин,
Он с глазу на глаз с целым миром
Остался, стало быть — один.

И слышит он, как в дымоходах
Поет крещенская пурга.
Когда ж достанется ей отдых?
Не знает отдыха карга.
И только он подумал это, —
Глядь, распахнулась дверь во тьму,
Старуха входит, в снег одета,
И усмехается ему...

Он поднял лампу, чтоб взглядеться
В лицо старухи вековой, —
Недаром смельчаком был с детства
Мечтатель с ясной головой:
«Кто ты, бабуся? Что за дело
Тебя к студенту привело?»
«Я Вьюга, миленький! Глядела
Час битый в потное стекло...»

«Да ты озябла, замечаю!
Весь твой салопец из прорех.
Войди, дам сахару и чаю

Отрежу ситного — не грех!
Прости еще вопрос нескромный:
Где пропчешь эту ночь?»

И тут раздался вздох огромный:
«Студент, ты должен мне помочь...»
Пошла выкладывать струха
Без точек и без запятых
Речь непривычную для слуха.
Казалось, целый мир притих...

«Я для тебя стара, товарищ,
Тысячелетняя карга,
Когда по заревам пожараищ
Лечу, трубя во все рога,
ТОВАРИЩ — это обращенье
Подарок первый мой тебе.
Мое великое крещенье
Припомнишь в завтрашней борьбе».

Студент приблизился и глянул
В глаза старушечьи сквозь дым,
И только вникнул — и отпрянул,
Хоть и остался молодым,
Но старше стал на полстолетья.
А Вьюга, встав из-за стола,
Хлестнула об пол белой плетью,
Как будто нару поддала:

«Еще не раз на снежном пире
Мы встречаемся с тобой!
Я прилечу к тебе в Сибири
И поведу в последний бой.
Когда в свинцовый шрифт листовок
Твой замысел вольется весь,
И гул рабочих забастовок
Тебе откликнется: «Я здесь!» —
И ты поймешь, что закипела
Святая ярость непогод,
Тогда припомни все, что пела
Старуха Вьюга в давний год.

В лесной глуши и в чистом поле
Припомни только и покличь.
Мы будем рядом и в подполье,
Сынок Владимир свет Ильич!

И будет день, когда навеки
Уснешь ты в купях свежих роз.
И я смежу немые веки
В тридцатиградусный мороз
И, твой последний сон лелея
У ступ Московского Кремля,
Прильну к земле у Мавзолея
И ей шепну: «Не плачь, земля!»

И будут годы, будут годы
В лучах тревоги огневой,
В громах военной непогоды,
Когда твой город над Невой,
Встав под знаменами твоими,
Все беды выпесет в бою.
И я твое, товарищ, пмя
Бойцам как лозунг пропою.

И вот на севере, на юге
Они пойдут, врагов круша.
.
«Что, хороша ли песня Вьюги?»
Студент ответил:
«Хороша».

РУССКАЯ СКАЗКА

Три брата, три сверстника жизни:
Железо, Огонь и Мороз.
Кто с ними сроднился и рос,
Прославится в нашей отчизне.

Железо — ни много ни мало —
Столетье дремало, пока
Святая людская рука
Темницу его не сломала.

И стало Железо мечом,
Свистящим с размаха и мстящим,
И соколом, в небе летящим, —
А пламя — ему нипочем.

Огонь полыханием молний
В лесные ударил стволы
И дебри полуночной мглы
Пирам пожаров наполнил.

Он заперт надежным ключом,
И пломбы висят на запорах,
Чтоб свято хранил его порох.
А стужа — ему нипочем!

Мороз, обрывая дыханье,
Посвистывал, тряс бородой,
И смолоду злился седой
При викингах, при Чингис-хане.

И вот он зардел кумачом
На лицах бойцов наших славных
И шутит, как равный меж равных.
Железо — ему нипочем.

Три сверстника жизни, три брата:
Железо, Мороз и Огонь.
Встречай их ладонью в ладонь,
И будешь прославлен трикраты.

Но трижды и трижды славней
Хозяин по силе и праву,
Кто вышколит эту ораву
Металлов, и вьюг, и огней.

Он снайпер, танкист или химик,
С Амура, Невы или Днѣпра,
Сроднился же он не вчера
С приятелями неплохими!

И полчища вражки гоня
С завьюженных горьких пожаращ, —
Пойдет он вперед как товарищ
Железа — Мороза — Огня.

Да здравствует добрая сила,
Во всю ее ширь и длину,
Что пемцев на Чуди косила
И половцев жгла на Дону!

Огнем и Железом и Стужей
Должны мы сегодня сберечь
Все ту же Россию, все ту же
От сердца идущую речь.

ЛЕОНИДУ ПЕРВОМАЙСКОМУ

Кони ржут за Днестром и Сулою.
В стольном Киеве слава звенит.
Милый друг! Не напрасно былое.
Вечен праздник. Недвижен вешит.

Не напрасно мы молоды были.
Не напрасно нам жизнь удалась:
В силе памятной сказки и были,
В славе разума, в зоркости глаз.

Хороша была! Чистая, злая, —
Все бы жестче ей да потрудней.
И летела, и шла, и ползла, и
Не транжирила попусту дней.

Сколько кубков из пепла раскопок,
Сколько насмерть скрещенных рапир,
Сколько пляшущих звезд в телескопах, —
Вечный блеск. Нескончаемый пир.

Помнишь — кручи Кавказа кругами,
Взявшись за руки, мчались во мглу.
Древний край в митингующем гаме
Приглашал нашу песню к столу.

Помнишь — в белом цветении вишен,
В безотчетных слезах накипев,
За сто лет, словно рядом, был слышен
Тот шевченковский ранний напев.

Ничего, ничего не поггло!
Кони ржут за Сулою и Днестром.
Сквозь пургу откликается хрипло
С Черноморья и Балтики гром!

В СТРАШНЫЙ ЧАС

В страшный час мировой этой ночи,
В страшный час беспощадной войны
Только зоркие, чистые очи
Называться глазами должны.

Они видят от края до края
Небо в звездах и землю в дыму
И, опять и опять не сгорая,
Не туманятся, смотрят во тьму.

Это может быть, стойкий зепитчик
В предрассветные тучи вшился,
Партизанка последней из спичек
Жжет стога и уходит в леса;

Или мать перечела не впервые
Дорогую от первенца весть,
Ясно видит снега фронтовые,
Глаз не может от строчек отвести.

Да. Война — это школа страдания.
Это молодость сына в крови.
Не являйся к ней с маленькой дашью,
Только с жпзнью — и ту разорви.

И тогда-то, в тоске об ушедшем,
Чашу горькую выпив до дна,
Когда, кажется, жить уже нечем,
Ты поймешь, что такое война.

И тогда-то, по смутному следу,
Не глазами, а трепетом век
Ты сквозь слезы увидишь победу,
Зоркий, чистый, живой человек.

СЫН

Поэма

*Памяти младшего лейтенанта
Владимира Павловича Антоколь-
ского, павшего смертью храбрых
6 июля 1942 года.*

1

— Вова! Я не опоздал! Ты слышишь?
Мы сегодня рядом встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь,
Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вова! Ты рукой не в силах двинуть,
Слез не в силах с личика смахнуть,
Голову не в силах запрокинуть,
Глубже всеми легкими вздохнуть.

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьется никакой рассвет?

Видишь — вот сквозь вьющуюся зелень
Светлый дом в прохладе и в тени,
Вот мосты над кручами расселин.
Ты мечтал их строить. Вот они.

Чувствуешь ли ты, что в это утро
Будешь рядом с ней, плечо к плечу,
С самой лучшей, с самой златокудрой,
С той, кого назвать я не хочу?

Слышишь, слышишь, слышишь канопаду?
Это наши к западу пошли.
Значит, наступление. Значит, надо
Подыматься, встать с сырой земли.

И тогда из дали неоглядной,
Из далекой дали фронтовой,
Отвечает сын мой ненаглядный
С мертвою горящей головой:

— Не зови меня, отец, не трогай,
Не зови меня — о, не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и в крови.

Мы летим и бьем крылами в тучи,
Боевые павшие друзья.
Так сплотился наш отряд летучий,
Что назад вернуться нам нельзя.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы — песчинки в мирозданье.
Больше мы не встретимся с тобой.

2

Мой сын погиб. Он был хорошим сыном,
Красивым, добрым, умным, смельчаком.
Сейчас метель гуляет по лощинам,
Вдоль выбоин, где он упал ничком.
Метет метель, и в рог охрипший дует,
И в дымоходах воеет, и вопит
В развалинах.

А мне она диктует
Счета смертей, счета людских обид.

Как двое встретились? Как захотели
Стать близкими? В какую из ночей
Затешился он в материнском теле,
Тот синий огонек, еще ничей?
Пока он спит, и тянется, и тянет
Ручонки вверх, ты все ему отдашь.
Но погоди, твой сын на ножки встанет,
Потребуется свистульку, карандаш.
Ты на плечи возьмешь его. Тогда-то
Заполыхает синий огонек.

Начало детства, праздничная дата,
Ничем не примечательный денек.

В то утро или в тот несчастный вечер
Река времен в спокойствии текла,
И крохотное солнце человечье
Стучалось в мир для света и тепла.

Но разве это, разве тут начало?
Начала нет, как впрочем нет конца.
Жизнь о далеком будущем молчала,
Не огорчала попусту отца.

Она была прекрасна и огромна
Все те года, пока мой мальчик рос, —
Жизнь облаков, аэродромов, комнат,
Оркестров, зимних выюг и летних гроз.

И мальчик рос. Ему ерошил кудри
Весенний ветер, зимний — щеки жег,
И он летел на лыжах в снежной пудре
И плывал в море, бедный мой дружок.

Он музыку любил, се широкий
Скрипичный вихорь, боевую медь.
Бывало, он садится за уроки,
А радио над ним должно греметь,
Чтоб в комнату набилась до отказа
Литавры и фяготы вперевой,
Баян из Тулы, и зурна с Кавказа,
И позывные станции любой.

Он ждал труда, как воздуха и корма:
Чертить, мять в пальцах, красить что-нибудь...
Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы в дальний путь,
Макеты сцен, не игранных в театре,
Модели шхун, не плывших никуда...
Его мечты хватило б жизни на три
И на три века — так он ждал труда.
И он любил следить, как вырастали
Дома на мирных улицах Москвы,
Как великаны из стекла и стали
Купались в мирных бликах синевы.

Он столько пин стоптал велосипедом
По всем Садовым, за Москва-рекой
И столько пленки перепортил ФЭДом,
Снимая всех и все, что под рукой.
И столько раз, ложась и встав с постели,
Уверен был: «Нет, я не одинок...»

Что он любил еще? Бродить без цели
С товарищами в выходной денек,
Вплоть до зимы без шапки. Неприлично?
Зато удобно, даже горячо.
Он в суতোлке праздничной, столичной
Как дома был. Что он любил еще?

Он жил в Крыму в то лето. В жарком полдне
Сверкала морской прилив во весь раскат.
Сверкала песок. Сверкала степь, наполнив
Весь мир звонками крохотных цикад.
Он видел все до точки, не сбидел
Мельчайших брызг морского серебра.
И в первый раз он девочку увидел
Совсем другой и лучшей, чем вчера.
И девочка внезапно убежала.
И звонкий смех еще звучал в ушах,
Когда в крови почувствовал он жало
Внезапной грусти, чаще задышав.
Но отчего грустить? Что за причина
Ему бродить между приморских скал?
Ведь он не мальчик, но и не мужчина,
Грубил девчонкам, за косы таскал.
Так что же это, что же это, что же
Такое, что щемит в его груди?
И, сразу окрылен и упитожен,
Он знал, что жизнь огромна впереди.

Он в первый раз тогда мечтал о жезни.
Все кончено. То был последний раз.
Ты, море, всей гремящей солью брызни,
Чтоб подтвердить печальный мой рассказ.

Ты, высохший степной ковыль, наполни
Весь мир звонками крохотных цикад.
Сегодня нет ни девочки, ни полдня...
Метет метель, метет во весь раскат.

Сегодня нет ни мальчика, ни Крыма...
Метет метель, трубит в охрипший рог,
И только грозным заревом багрима
Святая даль прифронтовых дорог.
И только по щеке, в дыму махорки,
Ползет скупая, трудная слеза,
Да карточка в защитной гимнастерке
Глядит на мир, глядит во все глаза.

И только еженощно в разбомбленном,
Ограбленном старинном городке
Поет метель о юноше влюбленном,
О погребенном — тут, недалеко.

Гостиница. Здесь, кажется, он прожил
Ночь или сутки. Кажется, что спал
На этой жесткой коечке, похожей
На связку железнодорожных шпал.
В нескладных сапогах по коридору
Протопал утром. Жадно мыл лицо
Под этим краном. Посмеялся вздору
Какому-нибудь. Вышел на крыльцо,
И перед ним открылся разоренный
Старинный этот русский городок,
В развалинах, так ясно озаренный
Июньским солнцем.

И уже гудок

Вдали заплакал железнодорожный.
И младший лейтенант вздохнул слегка:
Москва в тумане, в прелести тревожной
Была так невозможно далека.
Опять запел гудок, совсем осипший
В неравной схватке с песней ветровой.
А поезд шел все шибче, шибче, шибче
С его открыткой первой фронтовой.

Все кончено. С тех пор прошло полгода.
За окнами — безлюдье, стужа, мгла.
Я до зари не сплю. Меня невзгода
В гостиницу вот эту загнала.
В гостинице живут недолго, сутки, —
Встают чуть свет, спешат на фронт, в Москву.
Метет метель, мешается в рассудке,

А все метет...

И где-нибудь во рву
Вдруг выбьется из сил метель-старуха,
Прильнет к земле и слушает дрожа...
Там, может быть, ее детеныш рухнул
Под елкой молодой, у блиндажа.

3

Я слышал взрывы тыщетонной мощи,
Распад живого, смерти торжество.
Вот где рассказ начнется. Скажем проще —
Вот западня для сына моего.
Ее нашел в пироксилине химик,
А металлург в обойму загвоздил.
Ее хранили пачками сухими,
Но злость не знала никаких удил.
Она звенела в сейфах у банкиров,
Ползла хитро и скалилась мертво,
Змеилась, под землей траншеи вырыв, —
Вот западня для сына моего.

А в том году спокойном, двадцать третьем,
Когда мой мальчик только родился,
Уже присматривалась к нашим детям
Германия, ощеренная вся.
Гигантский город видел я когда-то
В зеленых вспышках мертвенных реклам.
Он был набит тщеславием, как ватой,
И смешан с маргарином пополам.
В том городе дрались и целовались.
Рожали или гибли ни за что,
И пели «Deutschland, Deutschland über alles...»
Все было этим лаком залито.

...Как жизнь черна, обуглена. Как густо
Заляпаны разгулом облака.
Как вздоржали пиво и капуста,
Табак и соль. Не хватит и мелка,
Чтоб надписать растущих цен колонки,
Меж тем убийцы наших сыновей
Спят сладко, запеленаты в пеленки,
Спят и не знают участи своей.

И ты, наш давний недруг, кем бы ни был,
С тяжелым, бритым, каменным лицом,
На женщине жадеи, падок на сверхприбыль, —
Ты в том году стал, как и я, отцом.
Да. Твой наследник будет чистой крови,
Румян, голубоглаз и белобрыс.
Вотан по силе, Зигфрид по здоровью, —
Отдай приказ — он рельсу бы разгрыз.
Безжалостно, открыто и толково
Его с рожденья ввергнули во тьму.
Такого сына ждешь ты? — Да, такого.
Ему ты отдал сердце? — Да, ему.

Вот он в снегу, твой отпрыск, отработан,
Как рваный танк. Попробуй оторви
Его от снега. Закричи: «Ферботен!» —
И впейся в рот в запекшейся крови.

Хотел ли ты для сына ранней смерти?
Хотел или нет, ответом не помочь.
Не я принес плохую весть в конверте,
Не я виной, что ты не спишь всю ночь.
Что там стучит в висках твоих склерозных?
Чья тень в оконный ломится квадрат?
Она пришла из мглы ночей морозных.
Тень эта — я.

Ну как, не слишком рад?
Твой час пришел.

Вставай, старик.

Пора нам.

Пройдем по странам, где гулял твой сын.
Нам будет жизнь его — киноэкраном,
А смерть — лучом прожектора косым.
Над нами небо, как раздранный свиток,
Все в письменах мильоншолетних звезд.
Под нами вспышки лающих зениток.
Дым разоренных человеческих гнезд.

Снега. Снега. Завалы снега. Взгорья.
Чащобы в снежных шапках до бровей.
Холодный дым кочевья. Запах горя.
Все неоглядней горе, все мертвей.

По деревням, на пустошах горючих
Творятся почью страшные дела.
Раскачиваются, скрипя на крючьях,
Повешенных иссохшие тела.
Расстреляны и догола раздеты,
В обнимку с жизнью брошены во рвы,
Глядят ребята, женщины и деды
Стеклянным отраженьем синевы.

Кто их убил? Кто выклевал глаза им?
Кто, ошавев от страшной наготы,
В крестьянском скарбе шарил, как хозяин?
Кто? — Твой наследник. Стало быть, и ты...

Ты, воспитатель, сделал эту сволочь,
И, пращуру пещерному под стать,
Ты из ребенка вытравил как щелочь
Все, чем хотел и чем он мог бы стать.
Ты вызвал в нем до возмужанья похоть,
Ты до рожденья злобу в нем разжег.
Видать, такая выдалась эпоха, —
И вот трубил казарменный рожок,
И вот печатал шагом он гусиным
По вырубленным рощам и садам,
А ты хвалился безголовым сыном,
Ты любовался Канном, Адам.
Ты отнял у него миры Эйнштейна
И песни Гейне вырвал в день весны.
Арестовал его ночные тайны
И обыскал мальчишеские сны.

Еще мой сын не мог прочесть, не знал их,
Руссо и Маркса, еле к ним приник, —
А твой на площадях, в спортивных залах
Костры сложил из тех бессмертных книг.

Тот день, когда мой мальчик кончил школу,
Был светел и по-юношески свеж.
Тогда твой сын, охрипший, полуголый,
Шел с автоматом через наш рубеж.

Ту, пред которой сын мой с обожаньем
Не смел дышать, так он берег ее,
Твой отпрыск с гиком, с жеребьячьим ржаньем
Взял и швырнул на землю, как тряпье.

...Снега. Снега. Завалы снега. Взгорья.
Чащобы в снежных шапках до бровей.
Холодный дым кочевья. Запах горя.
Все неоглядней горе, все мертвей.
Все путаней нехоженые тропы,
Все сумрачней дорога, все мертвей...
Передний край. Восточный фронт Европы —
Вот место встречи наших сыновей.

Мы на поле с тобой остались чистом, —
Как ни вывертывайся, как ни плачь!
Мой сын был комсомольцем.

Твой —

фашистом.

Мой мальчик — человек.

А твой — палач.

Во всех боях, в столбах огня сплошного,
В рыданиях человечества всего,
Сто раз погибнув и родившись снова,
Мой сын зовет к ответу твоего.

4

Идут года — тридцать восьмой, девятый.
Зарублен рост на притолке дверной.
Воспоминанья в клочьях дымной ваты
Бегут, не слившись, — где-то стороной,
Не точные.

Так как же мне взглядеться

В былое сквозь туманное стекло,
Чтобы его неоконченное детство
В неначатую юность перешло...

Стамеска. Клещи. Смятая коробка
С гвоздями всех калибров. Молоток.
Насос для шин велосипедных. Пробка
С перегоревшим проводом. Моток
Латунной проволоки. Альбом для марок.
Сухой разбитый краб. Карандаши.
Вот он, назад вернувшийся подарок,
Кусок его мальчишеской души,
Хотевшей жить. Не много и не мало —

Жить. Только жить. Учиться и расти.
И детство уходящее сжимало
Обломки рая в маленькой горсти.
Вот все, что детство на земле добыло,
А юность ничего не отняла
И, уходя на смертный бой, забыла
Обломки рая в ящиках стола.

Рисунки. Готовальня. Плоский ящик
С палитрой. Два нетронутых холста.
И тюбики впервые настоящих,
Впервые взрослых красок. Пестрота
Беспечности. Все — начерно. Все — наспех.
Все — с ощущеньем, что наступит день —
В июле, в январе или на пасхе —
И сам осудишь эту дребедень.
И он растет, застенчивый и милый,
Нескладный, большерукий наш чудак.
Вчера его бездействие томилло,
Сегодня он тоскует просто так.

Холст грунтовать? Писать сиеной, охрой
И сурпком, чтобы в мазне лучей
Возник рассвет, младенческий и мокрый,
Тот первый на земле, еще ничей?..
Или рвануть по клавишам, не зная
В глаза всех этих до-ре-ми-фа-соль,
Чтоб в терцинах запрыгала сквозная
Смеющаяся штормовая соль?..

Опять рисунки.

В пробах и пробелах
Сквозит игра, ребячливость и лень.

Так, может быть, в порывах оробелых
О ствол рогами чешется олень
И, напрягая струны сухожилий,
Готов сломать ветвистую красу.
Но ведь оленю ревностно служили
Все мхи и травы в сказочном лесу.
И, невидимка в лунном одеянье,
Пригубил он такой живой воды,
Что разве лишь охотнице Дпане
Удастся отыскать его следы.

А за моим мужающим оленем
Уже неслись, трубя во все рога,
Уже гнались, на горе поколеньям,
Железные выклятники врага.

Идут года — тридцать восьмой, девятый
И пограничный год, сороковой.
Идет зима, вся в хлопьях спесной ваты,
И вот он, сорок первый, роковой.

В июне кончил он десятилетку.
Три дня шатались об руку мы с ним.
Мой сын дышал во всю грудную клетку,
Но был какой-то робостью томим.
В музее, жадно глядя на Гогена,
Он словпо сжался, словпо не хотел
Ожогов солища в сварке автогенной
Всех этих смуглых обнаженных тел.

Но все светлей навстречу нам вставала
Разубранная как для торжества,
Вся, от Кремля до Земляного вала,
Оправленная в золото Москва.
Так призрачно задымлены бульвары,
Так бойко льется разбитная речь.
Так скромно за листвою проходят пары, —
О, только б ранний праздник свой сберечь
От глаз чужих:

Все, что добыто в школе,
Что юношеской сделалось душой, —
Все на виду.

Не праздник это, что ли?
Так чокнемся, сынок? Раста большой!

На скатерти в грузинском ресторане
Пятно вина так ярко расплылось..
Зачесанный назад с таким стараньем,
Упал на брови завиток волос.
Так хохоча бесхитростно, так важно
И все же снисходительно ворча,
Он наконец пригубил пламень влажный,
Впервой не захлебнувшись сгоряча.
Пей! В молодости человек не жаден.
Потом, над перевальной крутизной,

Поймешь ты, что в любой из виноградин
Нацежен тыщелетний пьяный зной.
И где-нибудь в тени чинар, в духане,
В шмелином звоне старческой зурны
Почувствуешь священное дыханье
Тысячелетней.

Как озарены

И камни, и фонтан у Моссовета,
И девочка, что на него глядит
Из-под ладони. Слишком много света
В глазах людей. Он окна золотит,
И зайчиками прыгает по стенам,
И пурпуром ошпарил облака,
И если верить стонущим антеннам,
Работа света очень велика.
И запылала щеки. И глубоко
Мерцали понимаем глаза.
Не мальчика я вел, а ПОЛУБОГА
В открытый пастежь мир. И вот гроза,
Слегка цыганским встряхивая бубном,
С оханкой молний, свившихся в клубок,
Шла в облаках над городом стотрубным
Навстречу нам. И это видел бог.
Он радовался ей. Ведь пеньем грома
Не прерван шир, а только начался.
О, только не спешить. Пешком до дома
Дойдем мы ровным ходом в полчаса.

Москва, Москва! Как много гроз шумело
Над славной головой твоей, Москва!
Что ж ты притихла? Что ж, белее мела,
Не разделяешь с нами торжества?
Любимая. Дай руку нам обоим.
Отец и сын, мы — граждане твои.
Благослови, Москва, нас перед боем.
Что там ни суждено — благослови!
Спасибо этим памятникам мощным,
Огням театров, пурпуру знамен
И сборищам спасибо полупощным,
Где каждый зван и каждый заменен
Могучим гребнем нового прибора, —
Волпа волну смывает, и опять
Сверкает жизнью лоно голубое.

Отбоя нет. Никто не смеет спать.
За наше счастье — сами мы в ответе.
А наше горе — не твоя вина.

Так проходил наш праздник. На рассвете,
В четыре тридцать, началась война.

5

Мы не всегда от памяти зависим.
Случайный беглый след карандаша,
Случайная открытка в связке писем —
И возникает юная душа.
Вот, вот она мелькнула, недотрога,
И усмехнулась, и ушла во тьму, —
Единственная, безраздельно строго
Сполна принадлежащая ему.
Здесь почерк вырабатывался: точный,
Косой, немного женский, без прикрас.
Тогда он жил в республике восточной,
Без близких и вне дома в первый раз —
В тылу, в военной школе.

И вначале

Был сдержан в письмах: «Я здоров. Учусь.
Доволен жизнью».

Письма умолчали
О трудностях, не выражали чувств.
Гораздо позже начал он делиться
Тоской и беспокойством: мать, сестра...
Но скоро в письмах появились лица
Товарищей. И грусть не так остра.
И вот он подавал, как бы на блюде,
Как с пылу-жару, вывод многих дней:
«Здесь, папа, замечательные люди...»
И снова дружба. И опять о ней.
Навстречу людям. Всюду с ними в ногу,
Навстречу людям — цель и торжество.
Так вырабатывался понемногу
Мужской характер сына моего.

Еще одна тетрадка. Очень чисто,
Опрятность школьной выучки храня,
Здесь вписан был закон артиллериста,

Святая математика огня,
Святая точность логики прицельной.
Вот чем дышал и жил он этот год,
Что выросло в нем искренне и цельно
В сознание долга, в нежеланье льгот.
Ни разу не отвлекся. Что он видел?
Предвидел ли погибельный багрец,
Своей души последнюю обитель?

И вдруг рисунок на полях: дворец
В венецианских арках. Тут же рядом
Под кипарисом пушка.

Но постой!

В какой задумчивости смутным взглядом
Смотрел он на рисунок свой простой?
Какой итог, какой душевный опыт
Здесь выражен, какой мечты глоток?
Итог не подведен. Глоток не допит.
Оборвалась и подпись:
«В. Анток...»

6

Ты, может быть, встречался с этим рослым,
Веселым, смуглым школьником Москвы,
Когда, райкомом комсомола послан
Копать противотанковые рвы,
Он уезжал.

Шли многие ребята

Из Пресни, от Кропоткинских ворот,
Из центра, из Сокольников, с Арбата, —
Горластый, бойкий, боевой народ.
В теплушках пели, что спокойно может
Любимый город спать, что хороша
Страна родная,

что главы не сложит

Ермак на диком берегу Иртыша.

А может быть, встречался ты и раньше
С каким-нибудь из наших сыновей —
На Черном море или на Ла-Манше,
На всей плапете солнечной твоей.

В какой стране, под гул каких прелюдий
На фабрике, на рынке иль в порту
Тот смуглый школьник пробивался в люди,
Рассчитывающий на доброту
Случайности...

И если, наблюдая,
Узнать его ты ближе захотел,
Ответила ли гордость молодая?
Иль в суете твоих вседневных дел
Ты позабыл, что этот смуглый, стройный,
Одним из нас рожденный человек
Рос на планете, где бушуют войны,
И грудь встретит свой железный век?

Уже он был жандармом схвачен в Праге,
Допрошен в Брюгге, в Бергене избит.
Уже три дня он прятался в овраге
От черной своры завтрашних обид.
Уже в предгрозы мощных забастовок
Взрослели эти кроткие глаза.
Уже свинцовым шрифтом для листовок
Ему казалась каждая гроза.

Пойдем за ним — за юношей, ведомым
По черному асфальту на расстрел.
Останови его за крайним домом,
Пока он пустыря не рассмотрел.
А если и не сын родной, а ближний
В глазах шпииков гестаповских возник,
Запутай след его на свежей лыжне
И сам пройди невидимо сквозь них.
В их черном списке все подростки мира,
Вся поросль человеческой весны.
От Пиреней до древнего Памира
Они в зловещих поисках точны.

Почувствуй же, каким предашь древним
Повеяло от смуглого чела.
Ведь молодость, так быстро догорев в нем,
Сама клубиться дымом начала —
Горячим пеплом всех сожженных Библий,
Всех польских гетто и концлагерей,
За всех, за всех, которые погибли,
Он, полурусский и полуеврей,

Проснулся для войны от летаргии
Младенческой и ощутил одно:
Все делать так, как делают другие!
Все остальное здесь предрешено.

Не опоздай. Сядь рядом с ним на парте,
Пока погоня дверь не сорвала,
По крайней мере, затемни на карте
В районе Жлздры, западной Орла,
Ту крохотную точку, на которой
Ему навеки постлана постель.
Завесь окно своею снежной шторой,
Летящая над городом метель.

Опять, опять к тебе я обращаюсь,
Безумная, бесшумная, пойми:
Я с сыном никогда не отпрощаюсь,
Так повелось от века меж людьми.
И вот опять он рядом, мой ребенок.
Так повелось от века, что еще
Ты не найдешь его меж погребенных:
Он только спит и дышит горячо.
Не разбуди до срока. Ты — старуха,
А он — дитя. Ты — музыка. А он, —
К несчастью, с детства не лишенный слуха, —
Он будущее чувствует сквозь сон.

7

Весь день он спал, не сняв сапог, в шинели,
С открытым ртом, — усталый человек.
Виски немного впали, посинели
Таинственные выпуклости век.
Я подходил на цыпочках, бояся
Дохнуть на сына. Вот он наконец
Из дальних стран вернулся восвоюси,
Так рано оперившийся птенец.

Он встал, надел ремень и портупею,
Слегка меня ударил по плечу.
Наверно, думал:

«Нет. Еще успею...
Зачем тревожить? Лучше помолчу».

Последний ужин. Засиделись поздно.
Весь выпит чай и высмеян весь смех.
И сын молчит, неузнан, неопознан
И так безумно близок, ближе всех.
Какая мысль гнетет его? Как скудно
Освещена под лампой часть лица.
Меняется лицо ежесекундно.
Он смотрит и не смотрит на отца.
И все в нем недолюбленное, недо-
Любившее...

В мозгу — как звон косы,
Как взмах косы: «Я еду, еду, еду».
Он смотрит и не смотрит на часы.

Сегодня в ночь я сына провожаю.
Не знает сын, не разобрал отец,
Чья кровь стучит, своя или чужая, —
Все потерялось в стуке двух сердец.
Все дело в том, что...

Стой. Но в чем же дело?

Всю жизнь я восхищался им и ждал,
Чтоб в сторону мою хоть поглядел он.
Ждал. Восхищался. Вот и опоздал.

И он прервал некопченую фразу:
— Не провожай. Так лучше. Я пойду
С товарищами. Я умею сразу
Переключаться в новую среду.
Так проще для меня. Да и тебе ведь
Не стоит волноваться. —

Но без сил,

Отец взмолился.

Было восемь, девять.
Я ровно в десять сына упросил.

Пошли мы на вокзал — таким беспечным
И легким шагом, как всегда вдвоем.
Лежал табак в мешке его заплечном,
Хлеб, концентраты, узелок с бельем.
Ни дать ни взять — шел ученик из класса
В экскурсию под выходной денек.
Мой лейтенант и вправду мог поклясться,
Что в поезде не будет одиночек:

Уже в метро попутчиков он встретил.
И лейтенанты вышли впятером.
Я был шестым. Крепчал ненастный ветер.
Зенитки били. Где-то грянул гром.
Как будто дождь накрапывал. А может,
Дождь начался совсем в другую ночь...
Да что тут, был ли, нет ли — не поможет.
Тут и гораздо большим не помочь.

Мы были близко. Рядом. Сжали руки.
Сильней. Больней. На столько долгих дней
На столько долгих месяцев разлуки.
Но разве знали правду мы о ней?
А тут же, с матерями и без близких
С букетиками маленьких гвоздик,
Выпускники из школ артиллерийских
С Москвой прощались.

Мрак уже воздвиг
Железный грубый занавес у входа
В ночной вокзал.

Кричали рупора.

Пошла посадка...

— Сколько до отхода?

Час? Полчаса?

— Ну, а теперь пора.

Гражданских на вокзал не пустят.

— Ну так

Обнимемся под небом, под дождем.

— Постой. Прощай.

— Постой хоть пять минуток

Пока пройдет команда, переждем.

Отец не знает, сына провожая,
Чья кровь, как молот, ухает в виски,
Чья кровь стучит, своя или чужая.

— Ну, а теперь еще раз, по-мужски. —

И, робко, виновато улыбаясь,

Он очень долго руку жмет мою

И очень нежно, ниже нагибаясь,

Простое что-то шепчет про семью:

Мать и сестру.

А рядом, за порогом,
Ночной вокзал в сиянье синих ламп.
А где-то там, по фронтовым дорогам,
Вдоль речек, по некошенным полям,
По взорванным голодным пепелищам,
От пункта Эн на запад напрямик
Несется время. Мы его не ищем.
Оно само найдет нас в нужный миг.

Несется время, синее, сквозное,
Несет в охапках солнце и грозу,
Вверху синее тучами от зноя
И голубеет реками внизу.

И в свете синих ламп он тоже синим
Становится, и легким и сквозным —
Тот, кто недавно мне казался сыном.
А там теснятся сверстники за ним.
На загоревших юношеских лицах
Играет в беглых бликах синева,
И кубари пришиты на петлицах.

А между ними, видимый едва,
Единственный мой сын, Володя, Вова,
Пришедший восемнадцать лет назад
На праздник мироздания живого,
Спешит на фронт, спешит в железный ад.
Он хочет что-то досказать и машет
Фуражкой.

Но теснит его толпа.
А ночь летит и синей лампой шлещет
В глазах отца.

Но и она слепа.

8

Что слезы! Дождь пад выжженной пустыней.
Был дождь. Благоеянье пронеслось.
Сын завещал мне не жалеть о сыне.
Он был солдат. Ему не надо слез.
Солдат? Не правда. Так мы не поможем
Понять страницу, стершуюся сплошь.

Кем был мой сын? Он был Созданием Божьим.
Созданием Божьим? Нет. И это ложь.

Далек мой путь сквозь стены и по тучам,
Единственный мой достоверный путь.
Стал мой ребенок обликом летучим.
В нем каждый миг стирает что-нибудь,
Он может и расплыться в горькой влаге,
В соеной, сразу брызнувшей росе.
А он в бою и не хлебнул из фляги,
Шел к смерти, не сгибаясь, по шоссе.

Пыль скрежетала на зубах. Комарик
Прильнул к сухому, жаркому виску.
Был яркий день, как в раннем детстве ярком,
Кукушка пела мирное «ку-ку».

Что вспомнил он? Мелодию какую?
Лицо какое? В чьем письме строку?
Пока, о долголети кукуя,
Твердила птица мирное «ку-ку»?

...Но как он удивился этой лишкой,
Хлестнувшей горлом, жгуче молсдой!
С какой навек растерянной улыбкой
Вдруг очутился где-то под водой!
Потом, когда он, выгнувшись всем телом,
Спокойно спал, как дома, на боку,
Еще в лесном раю осиротелом
Звенело запоздалое «ку-ку».
Жизнь уходила. У-хо-ди-ла. Будто
Она в гостях ненадолго была.
И спохватилась, что свеча задута,
Что в доме пусто, в окнах нет стекла,
Что ночью добираться далеко ей
Одной вдоль изб обугленных и труб.
И тихо жизнь оставила в покое
В траве на скате распростертый труп.

Не лги, воображенье.

Что ты тянешь

И путаешься?

Ты-то не мертво.

Смотри во все глаза, пока не станешь
Предсмертной мукой сына моего.
Услышь, в каком отчаянье, как хрипло
Он закричал, цепляясь за траву,
Как в меркнувшем мозгу внезапно выплыл
Обломок мысли:

«Все-таки живу».

Как медленно, как тяжело, как нагло
В траве пополз тот самый яркий след,
Как с гибнущим осталась с глазу на глаз
Вся жизнь его, все восемнадцать лет.

Рви ворот свой, воображенье. Помни.
Что для тебя иной дороги нет.
Чем ты упрямей, тем они огромней —
Оборванные восемнадцать лет.

Ну так дойди до белого каленья,
Испепелись и пепел свой развей.
Стань кровью молодого поколения,
Любовью всех отцов и сыновей.

Так не стихай и вырвись вся наружу,
С ободранною кожей, вся как есть,
Вся жизнь моя, вся боль моя — к оружию!
Все видеть. Все сказать. Все перенести.

Он вышел из окопа. Запах поля
Дохнул в лицо предвестьем доброты.
В то же мгновенье разрывная пуля,
Пробив губу, разорвалась во рту.

Он видел все до точки, не обидел
Сухих травинки, согнутых огнем,
И солнышко в последний раз увидел,
И пожалел, и позабыл о нем.

И вспомнил он, и вспомнил он, и вспомнил
Все, что забыл, с начала до конца.
И понял он, как будет нелегко мне,
И пожалел, и позабыл отца.

Он жил еще. Минуту. Полминуты,
О милости несбыточной моля.
И рухнул, в три погибели согнутый.
И расступилась мать сыра-земля.

И он прильнул к земле усталым телом
И жадно, отучаясь понимать,
Шепнул земле — но не губами — целым
Существованьем кончившимся: МАТЬ.

9

Ты будешь долго рыться в черном пепле.
Не день, не год, не годы, а века.
Пока глаза сухие не ослепли,
Пока окостеневшая рука
Не вывела строки своей последней —
Смотри в его любимые черты.
Не сын тебе, а ты ему наследник.
Вы поменялись местом, он и ты.

Со всей Москвой ты делишь траур. В окнах
Ни лампы, ни огарка. Но и мгла,
От стольких слез и стольких стуж продрогнув,
Тебе своим вниманьем помогла.
Что помнится ей? Рельсы, рельсы, рельсы.
Столбы, опять летящие столбы.
Дрожащие под ветром погорельцы.
Шрапнельный визг. Железный гул судьбы.

Так, значит, мщенье? Мщенье! Так и надо.
Чтоб сердце сына смерть переросло.
Пускай оно ворвется в канонаду.
Есть у сердец такое ремесло.

И если в тучах небо фронтовое,
И если над землей летит весна,
То на земле вас будет вечно двое:
Сын и отец, не знающие сна.
Нет права у тебя ни на какую
Особую, отдельную тоску.
Пускай, последним козырем рискуя,
Она в упор приставлена к виску.

Не обольщайся. Разве это выход?
Всей юностью оборванной своей
Не ищет сын побряжек или выгод
И в бой зовет миллионы сыновей.

И в том бою, в строю неистребимом
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя правды большей, чем твоя.

10

Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаешься. Один. Отрешенный
От света и воздуха. В муке последней,
Никем не рассказанный. Не воскрешенный.
На веки веков восемнадцатилетний.

О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетья и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломанный череп пылится ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребенных.

На этом кончается повесть о сыне.

ЕЩЕ РАЗ ЖЕЛЕЗО И ОГОНЬ

АРМИЯ ШЛА

Армия шла по орловской земле,
Мимо развалин, заросших бурьяном,
Рвов перекопанных, кладбищ в золе,
Танков, потерянных Гудерманом.

Красная Армия, цвет и краса
Нашего мужественного народа,
Шла по проселкам, входила в леса.
Ей откликнулась лесная природа

Шежестом листьев и пеньем пичуг.
Мир просыпался. В предутреннем блеске
Дымно синели сквозь щели лачуг
Речки, овраги, поля, перелески.

Ждали бойцов переправы и рвы.
Медленно шли по лобастому кряжу
Танки, раскрашены ярче травы,
Пушки, закутаны в хвойную пряжу.

Сибиряки вспоминали мороз,
Вьюжной тайги вспоминали сказанья.
Пели грузины о зарослях роз,
О виноградниках над Алазашью.

Может быть, в Брянском лесу где-нибудь
Ужин не сладок, ночлег неудобен,
Может быть, не расширился путь,
И вдоль обочин, кюветов, колдобин

Ступишь — и сразу же вырвется дым,
Черно-лиловым кустом закипая;
Может, грозит еще всем молодым
Тощая та, с малолетства слепая...

Может быть!.. Но наступленьем горда,
В мужестве спаяна, в правде пристрастна,
Армия шла и брала города,
Русскую землю, родное пространство.

Может быть, там ни печей, ни окон —
Только огонь по домам онемелым
Да одичалый германский закон
Блещет со стен, нацарапанный мелом.

Может быть, взгляд подлеца как свинец
За амбразурами тускло намечен...
Может быть! Но наступает конец.
Город не будет врагом онемечен.

Город и область воротятся к нам.
Так, оборону врага прорывая,
Жизнь возвращая людским племенам,
Армия шла — как весна мировая.

Да, как весна! Ибо был он таков,
Русский сентябрь сорок третьего года.
Благословенны на веки веков
Солнце его и его непогода.

ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА

Здесь, у Красивой Мечи, или в Спасском,
Или уйдя на Бежин Луг чуть свет,
Влюбился в песню, снетую подпаском,
Орловский барин, умница-поэт.
Был он высок, осаист и спокоен,
Любил бродить с двустволкой по лесам.
Вы знаете, как жил и кто такой он.
Пусть лучше о себе расскажет сам:
О юности своей, о Вешних Водах, —
Куда ж они умчались?.. Знает бог.
О старости, которая не отдых
Ни от одной из мыслимых тревог.
Расскажет он, как праздничен и труден
Путь человека сквозь ночной туман...
В почной туман уйдет бездомный Рудин,
Начнет скитаться по свету роман.
Смешаются в нем счастье и невзгода,
Страсть девушки и старческий закат.
И эмигрант сорок восьмого года
Погибнет у парижских баррикад.

И книга, как живая, отстранится
От пошлых рук. В том смысл ее и честь!
Недаром в ней обуглены страницы:
Герр оберст не хотел ее дочесть.

Швырнул он в печку — эту, и другую,
И третью, испугавшись русских व्यог.
Он у огня вымалывал, торгуясь,
Щепотку жизни, — дальше хоть каюк.
Он понимал, что шикуда не выйдет
Из этой жаркой маленькой избы,
Что व्यога насмерть немцев неспавидит,
Что верстовые жуткие столбы
Не считаны.
И нет уже спасенья
Ни у печи, ни в поле, ни в лесу...

Рванув кольцо, шагнул с размаху в сени
Тот великан с двустволкой на весу.
Был он, как встарь, осанист и спокоен,
Никем не остановлен и не зван.
Нам лучше не спрашивать, какой он —
Товарищ Т, по имени Ивац.

Он усмехнулся в бороду, усталых
Глаз не сводя с морозного стекла.
А там, в слоистых ледяных кристаллах,
Ракета красной каплею текла
И расплывалась. Но едва погасла —
В остывшей печке красный уголек
Страницы книги тронул будто назло,
И красный блеск на великапа лег.

Завыла вьюга, бешено запенив
Косматый снег. Услышав: «Руки вверх!»,
Герр оберст вздрогнул: «Кто это? Тургенев?»
...И партизан его не опроверг.

ЖАР-ПТИЦА

Росли хлеба. Гудела печка мудро.
Пел на заре петух. В глазах ребят
Мир становился краше, что ни утро,
Весь небывалым заревом объят.

Им снилось, что из города Жар-Птица
Влетала в палисадник и звала.
Она могла и в книжку превратиться,
И путь найти до самого Орла.

Она могла рассыпаться мирьядом
Весенних звезд и окон ослепить.
И на шестке могла качаться рядом,
И с курами из грязной лужи пить.

И вместе с ней в избу входило небо,
Звало на подвиг старших сыновей.
И дети по складам читали небыль
И были о милой родине своей.

А родина была — вот эти прясла,
Вот эти в дымке синие леса,
Воп та заря, что за рекой не гасла,
Воп тех частушек звонких голоса.

...Их родина — орловской битвы поле.
Ни травки, ни жилья на сотни верст.
А их Жар-Птица пляшет поневоле,
Сухих ракет выбрасывает хвост.

Нет, их Жар-Птица — штука не простая,
Тарелка мины, стреляный патрон—
Лежит в земле, бурьяном зарастая,
И черепа глядят со всех сторон.

И вот звенит о череп ломкий стебель,
И, словно флейта, жалуется кость:
«Хальт! Ахтунг! Я — фельдмаршал.
Я — фельдфебель.
Я — ваш педавший, ваш зловецкий гость.

Я родился в Германии и умер
В полях Росспн, в северном снегу.
Разбита фляга, не зывает зуммер,
Остался череп, дальше — ни гугу».

И дети слышат, как из страшной сказки
Скрежещет голос мертвого врага.
И ржавые простреленные каски
Легли на их сожженные луга.

А за лугами — выделки немецкой
Березовые высятся кресты,
Обструганные дьявольской стамеской
В квадратах аккуратной тесноты.

А за крестами — столько зла и скорби,
Так дико свищет ветер по полям.
И дети, так по-стариковски сгорбясь,
Картофелину делят пополам.

Но дети выпрямляются внезапно,
Когда, полнеба озаривши всласть,
Жар-Птицею летит она на запад —
Их армия, их родина, их власть!

ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН

Это было в полуночном Брянском лесу,
Рассказал нам экран про чужую красу,

Про заморскую женщину с ясным лицом,
Со счастливою жизнью и горьким концом.

Без нее в Трафальгарском бою умирал
Ее славный любовник, лихой адмирал.

Лишь холодная, злая морская вода
Была в борт корабельный: «Прощай навсегда!»

Да бортовые пушки ревели во мгле.
И осталась вдовой на британской земле

Та прелестная леди с обугленным ртом.
И не помнила леди, что было потом.

В старом Брянском лесу, у могучих дубов,
Услыхали бойцы про чужую любовь.

И запели бойцы о своей дорогой,
Как прощались-клялись под крещенской нургой.

И один и другой, самокруткой дымя,
Вспомнили, что ждет не дождется семья,

Что вся милая жизнь продолжается в ней...
И хотелось им петь и нежней и грустней,

И прижаться друг к другу тесней, и не спать,
И смотреть на мельканье экрана опять...

И допеть все любимые песни свои, —
Потому что война — это дело любви!

Пусть оторван от милой на тысячу лет,
Пусть устал и небрит, раньше времени сед,

Пусть огнем опален, до костей пропылен...
Защищающий родину — трижды влюблен.

В РАЙОНЕ ЖИЗДРЫ

Здесь уголь, щебень и песок —
Священный облик горя.
А где-то там наискосок
Бегут на запад взгорья.

Фронт ушел туда, на запад,
В черный дым, в туман сплошной.
Лишь прожектор в белых лапах
Держит небо надо мной.

Лишь он оцупывает ночь.
И слеп он или зорок,
Но людям кинется помочь,
Не знает отговорок.

Я хотел бы так же точно
Ослепить глаза врага,
Чтобы он в стране восточной
Камнем рухнул на снега.

Война везде. Война во всем.
Мешок ее заплечный
Мы и сквозь космос понесем,
На Путь прорвавшись Млечный.

Пусть бегут столетья мимо,
Годы медленно скользят.
ЗДЕСЬ ПОГИБ МОЙ СЫН ЛЮБИМЫЙ
СОТНИ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД.

ЭПИТАФИЯ ТИГРУ

Здесь шел фашистский тигр. Здесь на песчаной меди
Был выгравирован его зубчатый след.
Сшибались баш на баш с ним русские медведи,
И хрустнул пополам его стальной скелет.

Еще кипело в нем горячее. И пламя
Не тронуло пестро раскрашенных полос.
А за траншеями, за минными полями,
За Брянском, за Днепром не елось, не спалось

Его сородичам — железной банде тигров!
На продырявленной и погнутой броне
Уже был выведен в последний раз эпитаф
Ко всей готической коричневой стране:

— В сороковых годах двадцатого столетья
Теряя мужество, горячее и честь,
Жизнь тигра кончилась. Теперь в земле истлеть ей.
Мы можем по костям судьбу его прочесть.

БАЛЛАДА РАСТУЩИХ ЧИСЕЛ

Кто мы? Сколько нас?
Может быть, десять,
Может, меньше еще десяти.
Оккупанты хотят нас повесить.
Пусть попробуют раньше найти.

Мчимся в рейсе мы кавалерийском
По тылам, по немецким следам.
Подружились с тревогой и риском,
Из-под пепла встаем тут и там.

И вползаем по глинистым кручам
Прямо к передовым их постам,
Поджигаем составы с горючим,
Эшелоны взрываем к чертям.

Кто мы? Сколько нас?
Может быть, двадцать,
Может, сотня, а может, пятьсот.
Не сдаваться, друзья, не сдаваться,
Не спускаться с дозорных высот!

От Мазурских болот до Марселя,
От Афиц до норвежского льда
Не сгибается наше веселье,
Улыбается наша беда.

Где в пролетах мостов, как чершила,
Блещет рек европейских вода,
Ночь листовку о нас сочинила,
И листовка — берет города!

Кто мы? Сколько нас?
Может быть, к тыщам
Наших сверстников шпшь повела.
Может, всюду своих мы отыщем
И узнаем, что их — без числа.

Там, в сырых казематах гестапо,
Лестью, плетью — шчем не помочь.
Там не выдадут пащего штаба,
Сколько в ступе воды ни толочь.

Зря старается шут-переводчик:
«Кто послал вас сюда? Чья вы дочь?»
Много наших сыночков и дочек,
Сжавши зубы, молчат в эту ночь.

Кто мы? Сколько нас?
Мы не считали
Воли морских и крупноок песка.
О, какие холодные дали,
О, какая в них грусть и тоска!

Сколько муки еще, сколько крови
На сожженной прольется земле.
Только пристальной, тверже, суровой
Присмотрись к этой огненной мгле.

Присмотрись к очертаньям пожарниц,
К человечьим остаткам в золе.
Человечество с нами, товарищ,
С нами правда и труд на земле!

Кто мы? Сколько нас?..

БАЛЛАДА О ТОМ, КАК СПАССЯ ЖАН ЛЕКОН

Николаю Брауну

Дверь пастежь, и вошел моряк,
Обугленный, как дьявол.
Немало знал он передряг,
Немало, видно, плавал.
«Глоток вина! Внутри горит,
Гортань моя распухла.
Дай отдышаться, — говорит
И валится, как кукла. —
Да что глоток, когда горит
Само морское лоно.
Дай кислорода, — говорит, —
Не пожалей баллона.
Глядите, люди, — говорит, —
На гостя из Тулона».

И мы столпились вокруг стола
И восклицаем: — Если
Вас опалило не дотла,
Вы, стало быть, воскресли?
Восстаньте, смертью смерть поправ,
И расскажите всем нам
О самой злой из переправ
На море Средиземном.
Восстаньте, смертный, — говорим, —
Как бог во время оно.
Ответят нам Берлин и Рим,
Исчадья Вавилона.
Воспряньте духом, — говорим, —
Товарищ из Тулона.

И гость в ответ: «Я все скажу,
Все, кажется, припомню.
А что забыл — соображу,
Хоть это нелегко мне.
Пред вами Жап-Мари Лекок,
Француз со дня рожденья...
Глоток вина, еще глоток!
Прошу о синсхожденье.
Да что вино! Воды глоток
Мне прямо в горло влейте.
Помощник кока Жан Лекок
Вчера стоял на рейде.
Любого пойла мне глоток.
Прошу, не пожалейте!

Еще вчера хороший бриз
Трепал на рейде флаги.
Барашки белые гнались
По средиземной влаге.
Еще вчера мы на борту
Стояли, зубы стиснув,
И вглядывались в пору ту
В людишек неавистных.
Мы вглядывались: что за дрянь?
И вслушивались молча:
Откуда лающая брань,
Откуда говор волчий?
— Как будто немцы — дело дрянь», —
Соображали молча.

Они вошли как смерч: столбом
Серо-зеленой пыли.
Полсотни немцев, сотня бомб
В любом автомобиле.
По кораблям пронесся вздох...
И рухнул вздох куда-то,
Когда раздался первый «хох»
Германского солдата.
Да. Мы вздохнули, говорю,
Когда врагов коловна
Затмила светлую зарю

Над гаванью Тулона.
Вдохнули страшно, говорю,
Мы, моряки Тулона.

Не помню, кто запел, но хор
Могучих глоток грянул.
И дыма черного вихор
От песни той отпрянул.
Не помню, кто запел тогда,
Но наша «Марсельеза»
Пошла раскачивать суда,
Раскачивать железо.
Я помню, честно говоря,
Что на сердце кипело,
Ту песню пели мы не зря:
Все море с нами цело, —
Орало, грубо говоря,
Всей штормовой капеллой».

И Жап Лекок смахнул слезу
И говорит угрюмо:
«Уже готовились внизу,
Уже несли из трюма
В брезент закутанную вещь,
Примерно вроде бочки.
Был мертвый штиль. Он был зловец.
Он был на мертвой точке.
Потом друзья включили ток.
Все в мире зашаталось.
Качнулся Запад и Восток.
Честь Франции осталась...
Глоток вица, еще глоток, —
Простите мне усталость!

О, как я трудно выгребал,
От горя задыхаясь!
А флот французский погибал
И погружался в хаос.
Была нас сотня на плоту.
И «юнкерс» двухмоторный
На голь беспомощную ту
Нырнул из тучи черной.

Нас расстрелял фашистский ас
Дождем своим свинцовым.
Морская ругань не для вас,
Не брошу брань в лицо вам.
Не для того я шкуру спас
Под тем дождем свинцовым.

Где Пьер Диманш, где Жак Бриссо,
Где Клод Моран — не знаю.
Где наше будущее все?
Где Франция родная?
Швырнул их взрыв туда, в размол,
И сжег во тьме педоброй
Иль шваркнул о гранитный мол
Переломавши ребра.
Лежат на дне, не говорят,
Молчат они о мщенье.
Лежат, просоленные, в ряд
В прохладном помещенье.
Да. Лишних слов не говорят,
Но я скажу о мщенье!

И ворот свой рванул он вдруг
И так сверкнул глазами,
Что жадных слушателей круг
Затрясся весь и замер.
Он поднял маленький кулак
И выговорил хрипло:
«Еще французский вьется флаг,
Еще не все поггло.
Еще не все, я говорю,
Потеряно с Тулоном.
Мы встретимся в родном краю,
И море не лгало нам.
Что я сказал, то повторю
И в том клянусь Тулоном!»

И он ушел в осенний дождь
И в полном мраке сгинул.
Ушел, как был, — оборван, тощ.
А дождь сильнее хлынул,
Забарабанил по стеклу,
По ржавому железу.

Но мы услышали сквозь тьму
Родную «Марсельезу».

Ее насвистывал моряк,
И буря подпевала.
Тяжелый тент водой набряк.
Скрипела дверь подвала.
А где-то с песней шел моряк,
И буря подпевала.

НЕВОЛЬНИЧИЙ РЫНОК

...И снова вели нас по Штутгарту или Штеттину,
По плацам и улицам, мимо казарм и церквей,
По черной Германии гнали гуртом, как скотицу.
А ливень все хлеще, дорога мертвей и мертвей.

Сепсация в городе. Белый невольничий рынок!
Под куполом цирка, в снопах электрических фар
Пошла распродажа: пятьсот молодых украинок
И столько же русских подростков. Товар как товар.

Впервые в Европе за целое тысячелетье!
Недаром толнятся зеваки, смыкая кольцо.
Недаром хохочут надсмотрщики, щелкая плетью,
Славянские девушки прячут в лохмотья лицо.

Кулак подозрителен. Долго и мрачно глядел он,
Ворчал, чертыхался, что мускулатура слаба.
На марки и пфенниги счет. Это важное дело.
Иголки на веру не купишь, не то что раба.

В бараках нет света. Как тесно на нарах. Как тускло
Сквозь прутья решеток блестит обещанье весны.
О, как далеко до границы, до той белорусской
Обугленной станции! Как коротки наши сны!

Что снится нам? Рельсы. Снега. Эшелоны. Распутья.
Разлука нам снится во всю ее ширь и длину.
Так вы не забудьте нас — слышите вы? Не забудьте!
И мы не забудем, пока не погибнем в плену.

Вам ветер споет, как летел сквозь далекие дали,
Зарывшись в туманы от криков сторожевых.
Прощайте! О, только бы слез на лице не видали!
О, только бы зубы сцепить и остаться в живых!

За все разочтемся. За все! И проснемся однажды —
И звезды увидим вверху и дорогу внизу.
За каждую миску собачьего поила. За каждый
Их крик картавый. За каждую нашу слезу.

ЛАГЕРЬ УНИЧТОЖЕНИЯ

И тогда подошла к нам, желта как лимон,
Та старушка восьмидесяти лет,
В кацавейке, в платке допотопных времен —
Еле двигавший ноги скелет.
Синеватые пряди ее парика
Гофрированы были едва.
И старушечья, в спних прожилках, рука
Показала на оползни рва.

«Извините! Я шла по дорожным столбам,
По местечкам, сожженным дотла.
Вы не знаете, где мои мальчики, пан,
Не заметили, где их тела?»

Извините меня, я глуха и слепа,
Может быть, среди польских равнин,
Может быть, эти сломанные черепа —
Мой Иосиф и мой Венъямин...

Ведь у вас под ногами не щепень хрустел.
Эта черная жирная пыль —
Это прах человеческих обугленных тел». —
Так сказала старуха Рахиль.

И пошли мы за ней по полям. И глаза
Нам туманила часто слеза.
А вокруг золотые сияли леса,
Поздней осени польской краса.
Там травы золотой сожжена полоса,
Не гуляют ни серп, ни коса.
Только шепчутся там голоса, голоса.
Тихо шепчутся там голоса:

«Мы мертвы. Мы в обнимку друг с другом лежим.
Мы прижались к любимым своим,
Но сейчас обращаемся только к чужим,
От чужих ничего не таим.

Сосчитайте по выбоинам на земле,
По лохмотьям истлевших одежд,
По осколкам стекла, по игрушкам в золе,
Сколько было тут светлых надежд.
Сколько солнца и хлеба украли у нас,
Сколько детских засыпали глаз.

Сколько иссиня-черных остригли волос,
Сколько девичьих рук расплелось.
Сколько крохотных юбок, рубашек, чулок
Ветер по свету гнал и волок.
Сколько стоили фосфор, и кровь, и белок
В подземелье фашистских берлог.

Эти звезды и эти цветы — это мы.
Торопились кончать палачи,
Потому что глаза им слепили из тьмы
Наших жизней нагие лучи.

Банки с газом убийцы истратили все.
Смерть во всей ее жалкой красе
Убегала от нас по асфальту шоссе,
Потому что в вечерней росе,
В трепетанье травы, в лепетанье листвы,
В очертанье седых облаков —
Понимаете вы! — мы уже не мертвы,
Мы воскресли на веки веков».

СКАЗКА О МАТЕРИ

Излучина реки. Из-за обрыва
Правобережья рыжая гряда.
В лохмотьях дыма, виснувшего криво,
Сожженные врагами города.
И осень. Только осень по дорогам,
По выбоинам голым. Только дождь
Льет день и ночь по глинистым отрогам
И по скелетам облетевших рощ.

Но кто же там бредет вдоль горизонта?
Не разберешь, ребенок иль старик,
От фронта он идет иль ищет фронта...
Вдруг на ветру гортанный, резкий крик
«Хальт! Хенде хох!» И русскому, пожалуй,
Пришлось бы худо. Но сплошная мгла
На полминуты немцев задержала,
И призрак сгинул на краю села.

Так и бредет в пстлевшей гимнастерке
Красноармеец мертвый. И опять
Рыдают в хатах матери-шахтерки,
Боятся темноты, не могут спать.
Он прячется в разметанных овинах
И с маху перепрыгнув через плетень,
В глазах врага, свинцовых и свиных,
Вдруг вырастет и тает, словно тень.

И на ветвях обугленных черешен
Висят лохмотья дыма и ползут.
И немцы знают: это он повешен,
Он брошен почью в яму и разут.
Уже не раз от Гомеля до Орши,
От Бреста до Смоленска и Орла,
Все ближе к ним, отчаянней и горше,
Все та же тень разутая брела.

И снова осень. Снова по дорогам,
По выбоинам голым хлещет дождь.
Льет день и ночь по глинистым отрогам
И по скелетам облетевших роц.
И тот мертвец в истлевшей гимнастерке
Бредет, навеки слившийся с дождем.
И плачут в хатах матери-шахтерки:
«Мы ждем. Ты слышишь? Все-таки мы ждем».

Одна из них выходит на рассвете
Из темной хаты. Млечный Путь потух.
Хрустит солома. Куры на повети
Нахохлились. Заголосил петух.
Там, под осенним ветром все багровей,
Затеплилась заря, как фитилек.
В пей много слез людских и много крови,
И значит — фронт отсюда недалеко.

И вот уже к правобережью Дона
Идет Магнитка, двинулся Урал.
Уже горнист у первого поштона
Сигнал правофланговому сыграл.
Пора рвануться танкам и со старта
Так вздернуть правый берег на дыбы,
Чтоб, растеряв бензин и спутав карты,
Пошли в котел немецкие штабы.
Пора! Звезят просохшие дороги.
Даль, раскрывайся! Небо, липловей!

Рыдает мать, встречая на пороге
Других, живых, не кровных сыновей.
Родной и мертвый тоже с нею рядом,
Но им и перемолвиться нельзя,
Немыслимо им обменяться взглядом.
Он меркнет, где-то в памяти скользя.
И все-таки старается взглядеться,
Прислушаться, согреться у печи.

И просит он, припоминая детство:
«Хоть оглянись, хоть имя прошепчи!
О, вспомни, вспомни, мама, только вспомни,
Каким я был всегда весельчаком!
Я — тень. Но и сегодня нелегко мне
Упасть на землю мерзлую ничком.

Я столько дней без воздуха и хлеба
Полз по оврагам, путая следы.
Я столько раз глядел в такое небо,
Где не бывает ни одной звезды.
Я так иссох, что ты глядишь мне в очи —
И смотришь мимо, смотришь сквозь меня.

Но подожди, дождемся вместе ночи.
Открой окно, не зажигай огня.
И я начну рассказ как можно суше.
Но только ты не бойся, мама, слез.
Но только слушай, — слышишь, — только слушай
О том, как сыну солоно пришлось.
И мы пройдем по выжженным дорогам,
По вымершим полям — туда, где дождь
Льет день и ночь по глинистым отрогам
И по скелетам облетевших рощ.

Пройдем по следу взрывов и пожарниц.
Там не стихает все еще пальба.
Там, может статься, гибнет мой товарищ,
Ладонью стерши смертный пот со лба.

Он тоже русский юноша, и тоже
Какой-то доброй женщиной рожден,
И скошен в цвете лет, и уничтожен —
И вот слился с туманом и дождем.

Вот и конец. Надолго ухожу я.
Но если в чей-то дом придет беда —
Утешись ли ты женщину чужую,
Найдешь ли слово?»
Мать сказала: — Да.

ДЕВА ОБИДА

Встала Обида въ силахъ Дажь-божа внука, вступила дьвою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы на синѣмъ море у Дону.

«Слово о полку Игореве»

Дева Обида! Надежда моя!
Где же ты? Встань! Сосчитай убиенных.
Слушай, как хлещут штормами моря,
Слушай, как звон отдается в антеннах.

Слушай. Довольно тебе над толпой
Вспыхивать коспоязычием молний.
Где же ты, милая? Ясно пропой.
Песнями душу народа наполни.

О, не смежай опечаленных век!
Встань над руинами взорванных башен.
О, посмотри на обугленный век,
Как он безумен, бездомен и страшен!

Встань. Распахни эту тьму. Овладей
Даром ваянья и песенным даром.
Дева Обида, надежда людей!
Те, что погибли, — погибли педаром.

Участь высокая не тяжела.
Люди пошли на мученья и беды, —
Только бы дважды и трижды жила
Дева Обида — сестра Победы,

ЯРОСЛАВНА

Поэма

1

Над какую стеной зубчатой
Слышен голос тот стародавний?
Иль поют за Днепром девчата
О прабабке своей Ярославне?

Или, может, в снегах Урала,
Где ощерена вся природа,
Сказки горные собирала
Ярославна, душа народа?..

Или, может, фронтам в уславу,
По ночам, на волне короткой,
Льется песня такого складу,
Песня женщины нашей кроткой?..

Там железо грохочет в тучах,
Там свинцовая выюга хлещет,
Бьются реки в корчах падучих,
На все сущее смерть клеветчет.

Так не бойся, не плачь, стихия!
Пусть одной только песней женской
Только эти губы сухие
Отвечают муке вселенской.

Есть у женщин такое право
В половодьях любой непогоды
Быть надежной переправой
Через беды и через годы.

Льется песня та золотая,
Никогда уже не истлеть ей.
Это время поет, влетая
В огневые врата столетья.

Ну, так вспыхни же и не стихни,
Так склонитесь же, слов не трая,
И прислушайтесь к песне ихней —
Вы, мужья, сыновья и братья.

2

Полечу зегзицей по Дунаю.
Ой, не знаю, где он за Карпатами,
То ли умер, то ли жив, не знаю,
То ль зарыт германскими лопатами.

Полечу зегзицею далече,
Омочу бибрян рукав, не вымою.
Может, он железом искалечен,
Может, в ту же ночь непоправимую.

В ту ли ночь, а может, и не в ту же.
Сколько их прошло, никем не считано.
А о чем кричит ночная стужа,
Не пойму никак, о чем кричит она.

Ты не плачь, я и сама б умела,
Да не плачу, выстою пред гибелью.
Я сама бледна, белее мела,
Да не твой мороз лицо мне выбелил.

Встань же, солнце, милое трикраты,
Как вставало, помнишь, в годы ранние.
Никакой не может быть утраты,
Нет отчаянья. Нет умирания.

Мы сойдемся и дровец наколем,
Накалим времянку мы ко времени.
Мы студить жилище не позволим,
Жены человеческого племени.

Мы наварим щей, хлебов намесим.
Если жив, откликнись только голосу.
Сколько нас — сочти страпу по весям.
Сколько нас — сочти поля по колосу.

3

Я знаю, как росла ты, как училась
В Путивле иль в Чернигове, дитя.
Как в ту весну все это и случилось,
И сразу ты влюбилась не шутя,

Какой он был, твой Игорь, — русский, рослый.
Как в ту весну, в ту самую весну
Он по-матросски налегал на весла,
Когда переплывали вы Десну.

Как духовой оркестр играл у входа
В сад городской, в грядущие года,
А Игорь пел: «О, дайте мне свободу...»
Ты помнишь это, Ярославна? — Да.

Я знаю, как был этот праздник прерван,
Как был он призван раннею весной
В сороковом году иль в сорок первом
И вы прощались ночью над Десной.

Как он писал из армии, бывало:
«О русская земля, ты за холмом...»
Как ты ждала у городского вала
Любимого в отчаянье немом.

Как ветер бил в глаза твои и скулы,
Как шла в тумане сонная река,
Как за рекой таинственные гулы
Ты слушала всю ночь издалека.

Я знаю, как ты слушала, не веря...
Еще никто не верил, что война
Стучится в наши кованые двери,
Скребется когтем по стеклу окна.

Я знаю, как ты пацрягала зренье,
Как утопал родной твой городок
В лиловой, белой, розовой сирени
И как завыл окраинный гудок.

А ты не пошмала, ты томилась
Своим непошманьем молодым.
Ты все-таки падеялась на мпдость,
На ту сирень, на тот лиловый дым...

Надеялась на самолетный клетот,
На дальний путь по переплету шпал,
На юношу в Прибалтике далекой...
А он в то утро без вести пропал.

4

И пошла по земле Ярославна,
Первых встречных пытала о нем.
Трепетало на станции главной
Небо мертвенно-спнним огнем.
По краям вдоль обочни дороги
Мертвых танков лежали куски.
А в душе у нее — ни тревоги,
Ни падежды, ни слез, ни тоски, —
Только сила, что, горы сдвигая,
До небес достигаает седьмых
И в аду не сгорает пагая,
А не выдаст любимых своих.

Вы видали ее на вокзале
В платье латаном, в рваном платке.
Вы и слова с чужой не сказали
На ее, не чужом языке, —
Проводили глазамп, — и сразу
Стерлась в памяти бедная тень.
...Понабило вагон до отказа,
Застучала колес дребедень.

Под Орлом ли, в Клину или в Лубнах,
В сорок первом или в сорок втором,
Над путями в отгулах стотрубных
Отбомбил, что положено, гром.

Отпылали цистерны. На шпалах
Пятна нефти мерцали всю ночь.
Мчались тучи, и ветер трепал их,
Разрывал и отбрасывал прочь.

Но ждала героиня рассказа
Небывалого света в ту ночь.
Вы ее повстречали, и сразу
Смыло в памяти милую дочь
Ярослава... А может, и ваша
Поднималась над заревом сел.
И сиял вам все ярче и краше
Ее золотом шитый подол.
И оттуда, далеко-далече,
Словно звон телеграфной струны,
Словно в юности, пело о встрече
Напряженное сердце страны.

...Ни огарка, ни лампы. А в окнах
За пробитой фанерой дожди.
Жди зари, на платформе промокнув,
Эшелона последнего жди.
Никуда ты уже не уедешь,
Никуда от судьбы не уйдешь!
Что ты, милая девушка, бредишь?
Видно, вправду глупа молодежь!

Но когда переполнилась чаша
И казалось, что горя не снести,
Рядом с нею вся родина паша
Простушила из мглы, вся как есть!
Нет, не сказка, не дочь Ярослава,
Не ушедших времен голоса —
Это молодость наша и слава,
Вся как есть на земле, вся краса!
Все, чем сердце богато от века,
Вся его доброта и мечта!
Потому что Любовь Человека
Пошлой скуке ничьей не чета.
Потому что, по шпалам шагая,
До небес достигает седьмых
И в аду не стораит нагая,
Но не выдаст любимых своих.

И без страха и без колебанья
Она знала дороги свои:
Может, в Лубнах, а может, в Любани,
Может, в Люблине — сердце Любви.

5

Еще утрат ничто не залечило,
Хоть об стену разбейся головой.
Еще травы ничто не научило
Казаться нам не кровью, а травой.
Еще на языке военных сводок
Зовется водным рубежом река.
Еще немислим и преступен отдых
И даль так невозможно далека.

И женщина к стеклу прижалась тесно...

Но почему блеснула та звезда
И с той звезды, как с высоты отвесной,
Звенящий голос долетел сюда?
И сквозь окно дохнуло вдруг прохладой,
Как будто берег видится морской,
И девушка, рожденная Элладой,
Ей плечи тихо тронула рукой:
— И я жила, отравленная горем,
Немало сотен лет. И я бреду
Из века в век по каменистым взгорьям,
По странам мира странствую в бреду.
Не видят света мраморные очи,
Не плещут складки мраморных одежд.
Но вся любовь, все дни мои и ночи
Освещены зарницами надежд.
Отец мой слеп. И лиры не удержит
Рука его, что создана для струн.
Кто ослепил его? Не громовержец.
Кто гнал его? Не божеский перун.
Все было, все! Медно-лиловый запад
Дымился за пролетами аркад.
Он угасал не сразу, не внезапно,
Тот европейский медленный закат.

Плыла, качаясь, душная истома.
Звенела чья-то жалость, как струпа.
Была в тот вечер выгнана из дома .
Вся средневропейская страна.
А мой отец? Сказать по правде, сам он
Не мог поднять отяжелевших век,
Сам пренебрег и возрастом и саном
Он — средневропейский человек.
Сам между двух стаканов пьяной цены
Цедил сквозь зубы: «Немцы не беда!» —
Сам потерял он зренье постепенно
И не заметил, кажется, когда...
Но он сейчас веселым делом занят,
И поводырка не нужна ему.
Он где-то на Балканах партизанит,
Или в Ппрее поднял всю тюрьму,
Или бежал из скотского загона,
Чтобы поджечь германские леса...

Так говорила дева Антигона,
Гречанка, вечной юности краса.

6

«Для чего понадобилась встреча
Этих женщины? Что ты доказал?
Что, законам всем противореча,
Времена спешат на твой вокзал,
Всякое нарушив расписание,
Перепутав семафоры лет?
Слушай! Не в свои садишься сани,
Ты, реалистический поэт!

Для чего встречаются в поэме
Греческий Софокл и наш Боян?
В грозное ответственное время
Ты такую дичью обуял!
Странный бред, бессмысленная прихоть,
Бесполезная пагрузка...»

Стой!

Критик разъяренный, посмотри хоть
В суть и смысл поэмы непростой.

Не спеши клеймить меня, не надо!
Бедных героинь моих не тронь!
Слышишь, как крепчает капонада?
Это *наша* правда, *наш* огонь.

Подойдем к друзьям-артиллеристам,
Постучим в землянку. Путь далек.
Может быть, вот этот фитилек
Желчный твой утихомирит приступ.

Сколько книг в землянке у ребят!
О каких гуманитарных вузах,
О каких (прошу прощенья!) музах
Купажные названия говорят?

Что такое? Что за чудо! Боже!
Эта книга — «Слово о полку»...
Следующая в тиспеной коже —
Как вместить название в строку?

Чья-то репутация подмокла,
Чьи-то шансы медленно растут.
Три свои критические стекла, —
Пред тобой трагедии Софокла!
Значит, Антигона тут как тут!

Собеседник с яростью вышиб
Дверь землянки и удрал домой.
Видно, по соображеньям высшим
Избегал дискуссий критик мой!

7

Между тем капонада росла и звала
Всех разбойников черных на суд.
Ни траншеи восточного вала, ни мгла,
Ни отчаянье их не спасут.

Мы их бомбами бьем, и «катюшами» жжем,
И листовками хлещем в глаза.
Посмотрите, над водным вон тем рубежом
Закипела к рассвету гроза.

И моя Ярославна, моя красота,
Пусть участвует в нашем бою,
Ибо песня о ней высоко поднята.
Я о верности женской пою.

Я не вычитал древней картины из книг,
Не придумал ее почудней, —
Но ко всем тыщелетиям сердцем приник
На все тысячи маленьких дней...

Если к водному ты подошла рубежу,
Если ты на моем берегу, —
Ярославна, ты слышишь меня? Я служу
Нашей родине так, как могу.

8

День придет. Не так далек он.
Слушай, милая, меня.
Ослепит квадраты окон
Сноп внезапного огня.

Флаг расплещется под ветром.
Затрубит оркестр. И ты
Встанешь утром в платье светлом
Небывалой красоты.

Ты одна из дома выйдешь,
Но вернемся мы вдвоем.
Ты сначала не увидишь
Шрама на лице моем.

Я начну как можно суше.
Только ты не бойся слез.
Только слушай, только слушай,
Как мне солоно пришлось.

За грядою гор горбатых
Снова горная гряда.
В той краине, на Карпатах,
Битва шла не дни — года.

Битва шла в далеких селах
За далекую страну.
Много нас, парней веселых,
Поседело в ночь одну.

Много нас, парней что надо,
Стало теплом той земли.
Но сквозь почву и канонаду
Мы, как острый нож, прошли.

Я любил тебя в тесной землянке,
Под залиvistый хохот пурги,
В раскаленном до ужаса танке,
Когда били по танку враги.
Я любил тебя с той непогоды,
Что три года, крутясь и гоняя,
Не сломила меня за три года,
Только жить научила меня.

Молчи. Не надо вспоминать. Смотри
В глаза мои до самой до зари.
Как много дней, как много лет подряд
Ты с половцами бился, говорят,
И падал на Дону, и вновь вставал
На Перекоп и на Троянов вал,
И крепко спал под каменным крестом
На Бородинском поле. А потом
Под Сталинградом, смертью смерть поправ,
Поил коня у волжских переправ.
И вся земля, вся русская земля —
Леса, овраги, хлебные поля,
Проселки, избы, озими, стога,
Студеных рек нагие берега, —
Вся даль земная мчалась за тобой
В иную даль, где шел бессмертный бой.

9

Сразу он и она замолчали.
Встали рядом, почти не дыша.
Видно, радость труднее печали.
И, оттаявши, ломит душа,

Ничегошеньки не понимая,
Синей влагой течет и течет,
Как река полноводная в мае,
Потерявшая времени счет.

Видно, гор голубые отроги
Не Карпаты для них, не Памир, —
А крутой поворот на дороге,
За которым рождается мир.

Там все в цвету. Там юный человек
Встречает гимном свой железный век.
Морская соль сладка для моряка.
Ломает камень горная кирка.

Над колыбелью женщина поет.
Не спит мечтатель. Над землей встает
В короне, спаянной из горных руд,
Владыка мира — человеческий труд.

Что печалишься, дочь Ярослава?
Что журишься, дружина моя?
Иль печаль твоя — вечная слава
Всем погибшим за други своя?

И она обняла его плечи,
Смотрит в очи, не прячет лица...
Нет конца, нет конца этой встрече,
Да и в песне не падо конца...

ПАУЛЬ ВИЛЬМЕРСДОРФ

Поэма

1

Пауль Вильмерсдорф, мой давний недруг,
Санскритолог, врун, киноактер,
Съел собаку в гетеанских недрах,
Был красив, талантлив и хитер.
В этой биографии богато
Отразился наш двадцатый век.
Много от Берлина до Багдада
Износил подметок человек.
Много он испортил оробелых
Девушек, по свету колеся...
Биография его в пробелах,
Но существенна для нас не вся.

Спорт, реклама, бандитизм и деньги.
И повсюду скука! Но не та,
От которой байроцисты-деджи
Зло кривили юные уста,
А другая — грубая, как похоть,
Ввергнутая в ресторанный ляг.

Но ему казалось, что эпоха
Так же, как и он, не удалась.
Так скучают жители геены.
Так в зоологическом саду
Воют и паршивеют гены,
Стервенеют в клетках какаду.
Женщины? — Не папашешься денег.
Деньги? — Но скажи, куда их деть?
Только свист в ушах от их паденья.
Голой жизни не во что одеть!

Книжки? — Но и в дебрях умоэренья
Он уже не смыслил ни аза,
И спипалсь, полные презренья,
Белокурой бестни глаза.

Поздний гость готического пира,
Он прикидывался молодым.
Где-то дома есть еще рапира,
Кружка пива и табачный дым.
Где-то дома — красной черепицей
Крытая, поросшая плющом,
Молодость... Но надо торопиться!
Он считал, что недоовоощен
В самого себя. И в сером фетре,
С сигаретой в золотых зубах,
Застрахованный от всех поветрий,
Был готов для множества забав.

Но уже звенела где-то нота
Бсевая. Ниже привожу
Две страницы из его блокнота
Той эпохи, близкой к рубежу:
«В начале было слово? — Нет.
Вначале было дело (Фауст).
На самой лучшей из планет
Господствует жидовский хаос.
На самой маленькой из звезд,
Как в самой скверной из гостиниц,
Провозилашаю ночью тост
За вас, герой эпохи, Стиннес!
Каких я чувств ни истаскал,
Как ни болел от сказок Гримма!
Вот в зеркале лицо. Оскал.
Ариец. Выбритый. Без грима.
Пора!» (Затем идут счета
То в фунтах стерлингов, то в марках, —
Его страстей и дел тщета
В загадочных густых помарках;
Затем названья вин, кафе,
Книг, женщин, фильмов...) «Ну так что же
Мне делать? По какой графе
И кем я буду уничтожен?»

Курфюрстендам. Асфальт накатан всеми
 Резиновыми прессами. Ползут,
 Как стадо ящеров, людские семьи,
 Свилено пахнут розы, дождь, мазут.
 Он входит в спальню к женщине картовой.
 Он чиркнул спичкой, щупает углы,
 Дыша, как кислородом, всей отравой
 Изжелта-черной европейской мглы.
 Ночь очень хороша для чертовщины,
 Удобна для самоубийства. Но
 Еще осталась ярость у мужчины,
 Есть на прилавках рейнское вино.
 Он выпрямил грудную клетку бодро.
 Он крепок. Он, ей-богу, не урод!
 Он смотрит на ее литые бедра,
 На крашенные волосы и рот.
 Да! Это, черт возьми, еще осталось!..
 Он вспоминает фронт, обмотки, вшей,
 Консервы со свининой, грязь, усталость...
 — Не бойся, тварь, со мною! Хорошѐй,
 Как бы в снопах прожекторов лиловых,
 В бреду мертвящих сотен тысяч вольт! —
 ...И бормоча и забывая слово,
 Он спит ужасно. Но он сжимает кольт...

Внезапно на заре, как бы от тока
 Взметнувшись, голый вскакивает он.
 Осматривает жадно и жестоко
 Ничем не примечательный притон.
 Потом, как на шарнирах, деревянный,
 Выбрасывает руки вверх и врозь.
 И приседает, крякая, над ванной,
 И трется щеткой, розовый насквозь.
 Потом ему приносят чашку мокко,
 Редиску, мед, яичницу. Потом,
 Сорвав салфетку, мнет ее в комок он,
 Поет гортанным голосом о том,
 Что есть на свете Лола,
 Стройна, как стрекоза.
 А у нее пьянола,
 И тру-ля-ля-дзин-дза!

Он видел этот город черный
 В ту ночь, когда горел рейхстаг
 И маленьких пожарных горны
 Зашелл в двадцати местах.
 По сучьям, по лепным карнизам,
 Лохмотья пламени храня,
 Весь черный город был пронизан
 Картавым криком ворожья.
 Из каркающих водостоков
 Вода кричала: «По местам!»
 И руки сломанных флагштоков
 Скрещались в свастики. А там,
 В зеркальных стеклах Фридрихштрассе,
 Среди шелков, биноклей, книг,
 Он видел, как под ветром трясся
 И горбился его двойник.
 В бутылочной зеленой толще
 Двойник всплывал и исчезал...

К рассвету, совершенно молча,
 Явились оба в яркий зал.
 Его подобья в сплнх шрамах
 Горячих ждали новостей,
 Едва скрывая хруст упрямых
 Натренированных костей.
 Они еще с войны привыкли
 Храпеть, пока молчит рожок.
 И вскакнвать на резкий выкрик,
 Который им затылок жег.
 Красуясь выправкой спортсмена,
 Встал Вильмерсдорф среди друзей.
 За ним — его почная смена,
 Еще не сданная в музей, —
 Киноактер и санскритолог,
 Сорокалетний злой чудак,
 С которым разговор недолог,
 Который помолчит и так!

Он встал, прислужник новой власти,
 Все, что хотелось, досказав.
 И сломанные руки свастик

Плясали у него в глазах.
Все стало чисто, сухо, гладко,
Как вытоптанная трава.
Так вот она, твоя отгадка.
Жизнь, потерявшая права!

Прожектора скользят снопами
По мертвым улицам. А там
Кострами книг, родных как память,
Заплачено по всем счетам!
И в иглах готики бесполой
Капканом сдвинулись дома,
Когда летели с книжных полок
В огонь брошюры и тома,
Баллады, карты, буквы формул,
Маркс, и Спиноза, и Эйнштейн —
Все в прорву, ищущую корма,
Неутолимую!..

4

Не сумел я кончить этой вещи
В годы мира — кончу в год войны.
Вильмерсдорф, усталый и зловещий,
Был на спаде жизненной волны.
Нарастала медленно, громоздко
И беседовала с ним в бреду
Старая болезнь спинного мозга:
«Погоди, старик, еще приду».
Лик его, как маска Псамметиха,
Омертвел, по-восковому сух.

Но, когда казалось всем, что тихо,
Сразу обострялся этот слух.
Слышал он, как под землей глубоко
Тлеет уголь, загнивает торф.
Слышал хохот демона или бога,
Взмахи крыльев слышал Вильмерсдорф.
Понимал, что неизбежна гибель
Для него и для таких, как он.

Но росла в делах его сверхприбыль.
Свято охранял ее закон.
И кудрявый росчерк властелина

Открывал для пзбранных сезам,
Сейфы Вены, тайники Берлипа —
Зрелище, опасное глазам.

Там, в запломбированных подвалах,
За решеткой, в страшной тесноте,
Он давным-давно облюбовал их,
И хранил и прятал вещи те.
Что за вещи! Медные драконы
С ядовитым изумрудом глаз,
В древних червоточинах иконы,
Череп и стрелы древних рас,
Каandelябры, кубки, кольца женщин,
Ложь витрин и выдумки реклам,
Зеркала, в которых был уменьшен
Или увеличен этот хлам.

Дальше хуже. Дальше не похоже
На обычный антиквариат.
В перешлесах из змеиной кожи
Все процессы тайных сект подряд.
Все гримасы уголовных хроник...
Вот, пьяным-пьяна, мертвым-мертва,
Брошена на скользкий подоконник
Женская, в кудряшках, голова.
Вот продукт любви или увечья,
Сохранивший хоть одну черту
Обезьянью, а не человечью,
Лиловее выкидыш в спиргу.
Вот с позором вышвырнутый с пира
Жизненного, в шелковом трико
Юноша с тупым лицом вампира,
Яд вдохнувший слишком глубоко.

А в стенах его приморской виллы
Под раскат лихих фанфар и труб
Партии фашистской заправила
Тостами накачивали труп
Вильмерсдорфа. Злобный карлик Миме
Меч ковал, проклятья бормоча.
Шла под хохот пьяниц пантомима:
Ковка исполненного меча.

Кто-то лаял:

— В вашу честь, герр обер
Юберменш! —

И Вильмерсдорф глядел
На инсценировку старых опер,
Переподготовку мокрых дел.

Началась война. И тут с эстрады
Полетела оперная медь.
Ибо по цементу автострады
Только танки и могли греметь.
Все летело к дьяволу, сверкая
Бызысходной наготой своей.
Там толпа шарахалась людская,
Провожая на смерть сыновей.
Там орали: «Deutschland über alles»,
Там шипели: «Это неспроста».
Там сквозь тучи к смерти продирались
Первенцы Железного креста.
Это летных дел мастеровые,
Вильмерсдорфа старшие сыны,
Разбомбили кое-как впервые
За бесценок две чужих страны.
Это автоматчики на танках,
Вильмерсдорфа старшие зятья,
Пили спирт на польских полустапках,
Землю черной свастикой крестя.
И повсюду в центре людных сборищ,
В шевеленье человеческих прорв,
С жадностью вдыхая вонь и горечь,
Возникал не прячась Вильмерсдорф.

Даже нечто вроде упоенья
Испытал он в краткий миг, пока
Лента кинохронки в Компьене
Тень его отбросила в века.
Стоит приглядеться к этой тощей
Старческой фигуре. Вот она
С гойевской непревзойденной мощью
На экран живьем передана.
Вот он, на любой из фотографий,
Вылеплен во весь размах тоски.

А вокруг печатают на гравий
Свой гусиный шаг штурмовики.
Он кричит им:

— Meine lieben Kinder! —

Выпрямился как пружина сам,
Плачет и лоспящийся цилиндр
Поднял вверх к французским небесам.

5

Гудит мотор, летит мотор
Сквозь тучи битый час.
Широк завьюженный простор.
Жесток фашистский ас.

А сзади аса — скрючен весь,
Старик скрипит костями,
Теряет чопорность и вес,
Но весел, черт возьми!

Видать, он так в машину врос,
Что черт ему не брат.
И слышит ас его вопрос:
— Ну, где ж он, Ленинград?

И отвечает ас:

— Гляди,

Господь тебя хранит, —
Вот он маячит впереди,
Закованный в гранит.

Вот гордый город, что не взят
Германией твоей. —
И тихо смотрит ас назад,
Завьюжен до бровей.

Молчит старик, во мглу впился,
И снова слышит ас:
— Россия видима не вся...
Ну, где же он, Кавказ?

И отвечает ас:
— Гляди,
Как страшен наш разбег.
Вот он спнеет впереди
В короне льда, Казбек.

Вот он в расселине сверкнул,
Над пропастью вися,
Тот горный маленький аул,
Что пемцам не сдался.

Глядит старик сквозь синь стекла —
И понимает он,
Что Волга вспять не потекла,
Что не сдастся Дон.

Широк завьюженный простор.
Жесток фашистский ас.
Пока не сдаст его мотор,
Не кончен наш рассказ.

На запад он летит в дыму.
Стихает голос гроз.
И слышит ас, старик ему
Вновь задает вопрос:

— Где Альпы в ледяной красе?
Где скалы Пиреней?
Где страны, скованные все?
Где? Отвечай вершей!

Где арестованный Париж,
Повешенный Белград?

И ас кричит ему:
— Смотри ж,
Теперь ты будешь рад.

Вот страны скорбной пемоты,
Они смиренней овец.
Я разбомбил их, чтобы ты
Жил полчаса, мертвец.

Широк завьюженный простор.
Жесток фашистский ас.
Пока не сдаст его мотор,
Не кончится рассказ.

Пока не рухнул он в дыму
В полете страшном том,
Пока приклеился к нему
Старик с кривым крестом,

Пока не пробил их черед
И смерть их не берет —
Рассказ торопится вперед,
Торопится вперед.

ПОБЕДА

ПРАВЫЙ БЕРЕГ ДНЕПРА

Миколу Бажану

Дороги взбегают по скатам
Над дымной днепровской водой.
Лобастые ль кряжи там,
Хлопья ли пряжи там,
Вражки ль войска там,
Бурьян одичалый, седой?

Осеннее небо
За час до рассвета
Такого же цвета,
Как дымные кручи,
Как вся эта небыль,
Возникшая в стереотрубах.
По ходам окопа в расселинах грубых
Мы вышли на берег горючий.

Святая земля Украины
В сиянье осеннего золота.
Руины, руины, руины
В зиянье посмертного холода.

Семь тридцать. Все тихо.
Последние отданы распоряженья.
И вдруг — как рванется, как вспыхнет шутиха,
За нею другая и третья. И сразу
Окрестность распахнута зоркому глазу,
И это — начало сраженья.

Стреляет кустарник. Стреляет вода.
Стреляют днепровские поймы.
Багровое солнце бросает сюда
Горстями лучи из обоймы.

Оно не оглохло от гула
И, вылезши в дыме до плеч,
Зажгло и в полнеба раздуло
Свою огневратную печь.

Не эту ужасную музыку мы
Любили с тобою, бывало.
Не вдумались юношеские умы
В строительный грохот обвала.

Но если такая настала пора,
Пусть валится небо на кручи Днепра,
Пусть ветром разорванный воздух орет:
«На запад, на запад, на запад — вперед!»

Клянемся, товарищ, со всей прямоюй,
Присущей простому солдату,
Что завтра вернемся мы к музыке той,
Которую знали когда-то!

А нынче кипжально-прицельным огнем
Всех павших за други своя помянем!

В серебряном небе рокочет мотор,
Тяжелые танки скрежещут.
Какой нескончаемо светлый простор!
Как волны днепровские блещут!

Недолго до полдня. Товарищ, гляди:
Здесь Киев. Карпаты и Крым впереди.

Сраженье в разгаре.
Чубатые деды
В честь повой победы
Дымят у куреней
Столетнею гарью.
Хвала расширенью
Плацдарма на правом!
Хвала переправам!

Все суше и горше
Осеннее золото,
Все глуше и реже
Работает поршень

Гвардейского молота.
В снедающем дыме
Встает за седыми
Чубами — днепровское правобережье.
Святая земля Украины
В сиянье осеннего золота.
Руины, руины, руины.
Но небо недаром громами расколото!

Там, в дымной дали, по низинам и скатам
Прорвались наши танки и мчатся вперед.
Кряжи ли дымные, вражки ль войска там —
Зоркий снайпер едва разберет.

Сколько времени прожито? Час или прорва?
Что решается на боевом рубеже?
Десять тридцать. Оттуда несется уже:
«Фронт обороны противника прорван».

ВОДНЫЙ РУБЕЖ

*Александрю Васильевичу
Горбатову*

Накапливали силы, ждали.
Ползли недели, шли часы.
А где-то в мглистой дымной дали,
Во льдах несслыханной красоты
Лежал рубеж реки широкой.
И перед этим рубежом,
Невидимые раньше срока,
Мы знали, что приказа ждем.

Накапливали силы молча.
Подтягивали втайне тыл.
Прислушивались к брани волчьей
Врага, что в блиндажах застыл.
За вспышками немецких линий
Он словно не существовал —
Туманный, тихий, бледно-синий
Хваленый их восточный вал.

Меж тем разведка шла, как надо,
В снегу пласталась не дыша,
С одной взведенною гранатой,
С запасным диском ППШ.
Идут в снегу и тяжело дышат.
Край неба заревами пышет.
Хрустит снежок в ночном лесу.
Слились с метелью маскхалаты.

Там, за рекою, мрак проклятый.
Там страх гнетет твою красу,
Твою возлюбленную. — «Знаю».
Там стонет, может быть, в ночи
Вся тоненькая, вся сквозная,
Твоя избранница. — «Молчи».

Сошли на лед речной. Как тихо.
Как осторожно сердце бьет.
Ракета красною шутихой
Внезапно облако порвет —
И озарятся в блеске беглом
Немые минные поля,
Глубокий снег, ничья земля,
Что завтра станет адским пеклом.

Расщеплены стволы дерев.
На мостовых разбитых фермах
Немецкий идол, дейтче вермахт,
Дрожит, от стужи присмирив.
Его снимают в полсекунды,
Пристукнув тут же на ходу.
Вот он, поблескивая скудно,
Лежит, распластан на снегу.

Идут вперед по льду. Что пользы
В словах? Словами не помочь.
Как правый берег крут и скользок.
Как долго длится эта почь.
Днепр или Висла, Сож иль Нарев,
Иль Одер, мертвая река,
Ждут в полыханье мощных зарев,
Чтоб завтра, засветло ударив,
Рванулись русские войска.
А за плечами тоже реки,
Форсированные уже,
Лежат, раскованы навеки.

Меж тем в немецком блиндаже,
Печь накалив как только можно,
На койке ноги разбросав,
Ефрейтор Курц неосторожно
Храпит как бог, в одних трусах.
Его друзья в картишки дуют,
Хватили шнапсу, яйца жрут.
А вьюги русские колдуют:
Они Германии диктуют
Свой ультиматум и маршрут.

Слились с метелью маскхалаты.
Разведка наша часа ждет.
Когда настанет час расплаты,
Она в блиндаж врага войдет.
Она возьмет живьем саксонца
И по петоптаной тропе
Притащит засветло, чуть солнце,
Трясущегося на КП.
И тот захнычет, залопочет:
«Капут!» — хлебная жадно щипет.

Летите, дни! Летите, ночи!
След заметай, метель, свищи!

Старик командующий знает,
Как ночка зимняя долга.
Встает и ноги разминает.
В землянке впрочем три шага.
Хотя бы метр один простора,
Хотя бы воздуха глоток...

Но скоро, скоро, очень скоро
Рванется к западу поток
Машин, разбуженных приказом.
Тогда-то в утреннюю рап
Орудья выговорят разом
Давно накопленную брань.
Так ясно выскажутся дула
В скороговорке громовой,
Так пемцы дернутся от гула,
Уткнувшись в землю головой,
Такой им звон набьется в уши...
Лет через тысячу вперед
При нежном имени «катюши»
Их та же оторопь возьмет.
И смех железного Перуна,
Издавна славный на Руси,
Раздастся в цветниках Шепбрунна
И в старом парке Сан-Суси.

Но это в будущем. А нынче
Рубеж не предпоследний лег.
К винтовке добрый штык привинчен.

Дрожит в землянке фитилек.
И тени пляшут, будто черти.
И, крепким чаем сон гоня,
Всю почь командующий чертит
На карте лишью огня.

Что, русский человек, осилишь?
В обход пойдешь или напролом?
Как тезка, Александр Васильич,
Возьмешь уменьем, не числом?
Иль, кряжистый, широкоплечий,
Кержацким прадедам под стать,
Назначишь пемцам место встречи,
Заставишь их не опоздать...
И поторопишь их, кичливых,
И хваткой, видимой не всем,
Семь раз на дню перехитрив их,
Их победишь семижды семь?..

Ночь на исходе. Еле-еле
Рисуются, как в полусне,
Дымки, воронки, лапы елей.
И значит — год пошел к весне.

Жизнь начинается так тихо,
Что можно умереть, пока
Ракета красною шутихой
Легко взмахнет под облака

И озарится в беглом блеске
Вся страшная ничья земля, —
Обугленные перелески,
Мишированные поля...

О Белоруссия! Ты слышишь?
И высказать я не могу,
Как жадно ты и трудно дышишь
На том, на правом берегу.

Так опояшься же лесами,
Надвинь туманы до бровей,
Встряхни льняными волосами
Крестьянской юности твоей!

Прими нас, милая! Мы братья
С Кавказа, Волги и Обп.
Прими и, лишних слов не тратя,
Горячим толом пособи!

Рвани к утру на косогоре,
Чтобы летели под уклон
За все твое за вдовье горе
За эшелоном эшелон!

И там, где ров могильный вырыт,
Где вдоль лощин метет метель,
За всех твоих за малых сирот
Стели насильникам постель!

Хлестнуло пламя из орудий
Копной нечесаных волос.
Идут машины. Встали люди.

Так наступленье началось.

НОВЫЙ ГОД

Словно печь, раскаленная жарко,
Полыхает декабрьская мгла.
Началась автогенная сварка.
Время плавится. Полночь бела.

Вырывается пламя наружу
И гудит в дымоходах пурги,
Призывает народы к оружию,
Потому что живучи враги.

Так встречается с сорок четвёртым
Сорок пятый воинственный год,
Перекликнулся лозунгом твердым
И не просит поблажек и льгот.

Он помедлил слегка у порога,
Ладно скроен, плечист и румян.
Перед ним снеговая дорога.
Еле искрится звездный туман.

И пошел он ни влево, ни вправо,
Строго к фронту пошел напрямик.
Над дунайской почной переправой
Новый год оглянулся на миг.

Равномерно работает молот.
Бьют орудья, грохочут во тьму.
Воздух мира разбит и расколот.
Пол-Европы в зловещем дыму.

Он ремни свои туже приладил,
Прямо с ходу в моторку шагнул,
Боевое оружие погладил
И любимый мотив затянул.

И была эта песня дороже
Многих песен, что юность поет, —
Полногласней, решительней, строже,
Словно времени вечный полет.

Ей откликнулись волны Дуная,
Клокоча, закурчавился вал,
Словно песня была им родная,
А певец их на праздник позвал.

Далеко за Дунаем синели,
Розовели карпатские льды,
Чтобы парень тот в серой шинели
Никакой не боялся беды.

Было ветрено. Темень редела,
С еле брезжущим утром борясь.
Парень знал свое славное дело
И, лицом не ударивши в грязь,

Подошел к старшине и ребятам
И сказал им, не пряча лица:
«С Новым годом, друзья, Сорок Пятым, —
Это Я!.. Принимайте бойца».

НАСТАНЕТ ДЕНЬ

Настанет день, — из всех стволов ударив,
Завост орудийная пурга.
Шагнут фронты за Вислу и за Нарев,
Чтобы расплющить голову врага.

Рванутся ИЛы с бомбовой нагрузкой,
Рванутся ташки, оседлав шоссе.
В столбах разрывов по равнине прусской
Пройдет огонь во всей его красе.

Настанет день, — со лба и скул стирая
Соленый пот, оглянется боец:
Вот перед ним от края и до края
Земля врага открыта наконец!

Вот, вот она дымится, отступаая,
Вся в надолбах, эскарпах и ежах,
Свирепая, костлявая, тупая,
Последний флаг со свастикою сжав.

Боец вздохнет всей грудью так широко,
Как только может человек вздохнуть,
И, усмехнувшись, что дожил до срока,
Оглянется на весь пройденный путь.

И вспомнит он тяжелый труд солдата,
Три года вспомнит — больше трех веков.
И вспомнит он, что добрым был когда-то,
Смирней ребенка. Да, он был таков!

Он вспомнит всех, что рядом с ним стояли
В июне сорок первого в строю.
Где доброта, чужая ли, своя ли,
Которой эти юноши сняли?..

Тогда он вспомнит ненависть свою,
Рожденную в метелях Подмоскovie,
Вращенную у волжских переправ,
Крещенную огнем, железом, кровью.
И ненависть шепнет ему: «Ты прав!»

И ненависть возьмет его за плечи,
Как будто плечи сильный ток прожжет...
Настанет день. Уже он недалече.
Трубит по взводам боевой рожок.

И в очередь у вещевого склада
Встает боец. «Эй, слышь, не отставай!
Грянь полковую! Тенор, запевай!»
Смех. Песня. Говор. Нет с конями сладу.
Заржали, чуют водную прохладу.
На переправе скрип сосновых свай,
Брань ездовых...

Германия! Ты слышишь стук приклада
В твои ворота? Суд идет. Вставай!

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

Слушай, время, слушайте, века,
Грозный шаг народа-исполина.
Это входят в пригород Берлина
Доблестные русские войска.

Это смельчаки танкисты мнут
Километры автострады венской.
Это в эн часов и в эн минут,
Весь в дыму, парнишка деревенский,
Братской встрече непомерно рад,
На броне врывается в Белград.

Слушай, время! Если ты летишь,
Как летело три железных года,
Если наконец настала тишь,
Если отступает непогода —

Это значит, парня из Орла
Встретил паренек из Сан-Франциско:
«Значит, мы живем друг к другу близко.
Значит, верно, что Земля кругла».

РУССКИЕ В БЕРЛИНЕ

«Был город на земле аляповатый,
В зеленых вспышках мертвенных реклам.
Он был набит тщеславием, как ватой,
И смешан с маргарином пополам.

Там мраморные курфюрсты в ботофортах,
Фюрст Бисмарк, верный кайзерским орлам,
И блямбы крема взбитого на тортах —
Все было с маргарином пополам.

Там злоба к иностранцам в самой лютой,
Дикарской наготе и прочий хлам
Казались людям звонкою валютой,
Но были с маргарином пополам ...»

Так мы писали в сорок первом. Хватит!
Огонь допишет. Подчеркнет тротил.
Уральский парень по Берлину катит,
Вот он к рейхстагу танк поворотил.

«Был город на земле...» Вот он распластан.
Зияют бреши. Взорваны мосты.

Танкист с Урала скажет: «Хватит. Баста!
Недаром мне три года снился ты,
Недаром в блиндаже у Сталинграда
Я насмерть встал, пришитый к рубежу.
Я знал тогда, что ждет меня награда,
Что я в глаза Берлину погляжу.
Недаром над днепровской переправой,
Вне времени, не зная перемен,
Сверлили мозг и жгли меня отравой
Шесть этих букв: Бе, Е, эР, эЛЬ, И, эН.

Страшна война. Тяжка моя усталость.
За каждый шаг заплачено сполна.
Недешево победа мне досталась.
Ты и не знаешь, как сладка она!»

Что он ответит русскому солдату,
Тот черный город в сломанных крестах?
Припомнит ли, как страшен был когда-то,
В другую ночь, когда горел рейхстаг...

Припомнит ли, как в полуночных барах
Он загодя, в засол и впрок, вскормил
Прожженных бестий, катов сухопарых,
Учтиво дрессированных громил...

Припомнит ли, как в тайниках сугубых
Был замысел злоедей раскален
И рядом с чертежами душегубок
Стояли банки с надписью «циклон»...

Припомнит ли страстей своих низины,
Своих желаний мертвенную тьму,
Плетей, плетей свистящую резину,
Людей, людей, обугленных в дыму?..

Припомнит все — и рухнет на колени,
Как рухнули Гоморра и Содом,
Перед судом грядущих поколений
И перед нашим праведным судом!

Танкист с Урала усмехнется молча,
И вытрет руки, в масле и в грязи,
И скажет: «Друг! Над штаб-квартирой волчьей
Флаг нашей правды выше водрузи».

ГОВОРЯТ РАЗВАЛИНЫ

Балконы рухнули, отпыхали балки.
Здесь был когда-то пол, когда-то потолок.

Хагани Ширвани

Мы с вами рядом. Мы зола и камень,
Куски стекла, куски металла, прах.
Мы тянем руки из горючих ямши,
Вопим на свалках, плачем на дворах,
Мерещимся за профилем обвала,
Участвуем на всех почных пирах
Вселенной, где б она ни пировала.
Мы выжили, — щербатая гряда
Людских жилищ.

А помните, бывало,
В дни праздников и жаркого труда,
Как окна вы распахивали настежь,
Как вы любили ваши города
В строительных лесах, в дыму ненастий,
Как по углам копили старину,
Обломки всех поверженных династий...

А между тем вы знали всю страну,
Ее аэродромы на рассвете,
Ее шоссе, что тянутся в струну,
Ее моря, ее творящий ветер...

Вы жили полной жизнью с давних пор,
За честь свою и счастье в ответе.
И за полночь переваливший спор,
Бывало, превращался в хор застольный,
В цыганский табор или военный сбор.
И ваш очаг был славен хлебосольный...
Шумели свадьбы. Скрипок голоса
Сливались с человеческими вольно.

Сияла рядом женская краса,
Всегда желанна и всегда невинна,
Как ни люби — навек, на полчаса.
И сквозь хрусталь просвечивали вина
Кровавой, дикой сказкою старух.
И вкрадчиво ползущая лавина
Лишь изредка царапала вам слух.
Ничто, казалось, люстры не потушит
В нарядном зале.

И тогда потух
Внезапно свет! Кто там Психею душит?
Кто свищет в окнах? Кто сошел с ума?
Кто мчится в тучах, и крушит, и рушит,
Как картонные домики, дома?..

Вы спрятались, убежищам доверясь,
Глубоко в землю. И ночная тьма
Легла на вас, перешагнула через
И гикнула: «Ату его, ату!»
О, как рвала вам слух седая ересь
Ночных сирен, вопящих в пустоту,
Неспевшихся, нечесаных, бесполых!
Как в заревах и дымах, на лету
Взвивался вверх медно-лиловый полог!
А между тем и близко и вдали
Дома валялись, словно книги с полок.

В такую ночь мы голос обрели!
Разбитые, разрозненные части,
Мы вышли из беременной земли,
Как черный лес несбывшегося счастья,
И с воплем зарываемся в бурьян
И прячем в брешах след огнепричастья.

Проходит ночь. Опять рассвет багрян.
Нет счета нашим шрамам и увечьям.
Дуй, ветер, в золотые трубы грянь,
Встань, поднимись над горем человечьим,
Все горе мира в грудь свою вобрав!
Спой песню нам! А нам ответить нечем.

Молчишь? Смеешься? Ты, конечно, прав.

ПОРТРЕТ ПОЭТА

Николаю Тихонову

1

Седой солдат не хочет спать.
Сняв португею и рапиру,
Три ночи кряду он опять
Зовёт друзей к большому пиру.

Там будет жгучая вода
Для всех гостей любого ранга,
Там будут юные года
Щедры, как скатерть-самобранка.

Он только потому и сед,
Что вьюги северные седы.
И табаком набив кисет,
Сломает ход любой беседы.

В словарь врубаясь сгоряча,
Сломает ритм, как мальчик голос.
Расскажет, как взята Тульча,
Как Троя девять лет боролась.

Как Чертов мост оледенев
Плясал под дудочку метели,
Как молодец солдатский гнев, —
А между тем века летели.

Три ночи кряду колесил
Он от Мадрида до Кавказа,
Чтоб у друзей хватило сил
Войти в страну его рассказа.

Седой солдат, седой поэт,
Седого севера товарищ,
Он только потому и сед,
Что убелен золой пожарщик.

2

Сегодня я хочу еще
На честном празднике солдата
Скрепить светло и горячо,
Что было сказано когда-то.

Седой солдат, седой поэт,
Волна в прибое поколений,
Иль труд пятидесяти лет,
Не знавший отпуска и лени.

Походка смолоду тверда.
Стопа в железный ямб обута.
Две книги — «Брага» и «Орда» —
Сначала пишутся как будто.

ПИСЬМО НА ДАЛЬНИЙ ЗАПАД

Растасуйте карты, джентльмены!
Чокайтесь с победой!
Павший в битве ждал от вас измены
Именно вот этой.
Кем бы ни был паренек из Глазго,
Мальчуган из Фриско,
Он оглох от пушечного лязга,
Он зарыт не близко.
Голосуйте скопом, скиньте шляпы,
Кепки и пилотки!
Вбейте пачки долларов, как кляпы,
В человечьи глотки!
Кем бы ни был, под каким бы лаком
Ни переименен, —
Павший в битве дорого оплакан,
Дешево оплачен.

Но постойте! Где-то там внизу,
В жарких трюмах, в вони кочегарок,
Люди, пережившие грозу,
Засветили за полночь огарок
И читают по складам слова:
Правда. Совесть. Мужество. Москва.

Сколько их? — Сочти пески в саваннах,
Волны в океане голубом, —
Столько их, голодных и незваных,
Будущего хочет, а не бомб!
Все они, в любой своей отчизне,
Жаждают жизни!
Все они, от Андов до Памира,
Жаждают мира!

Это вам не пятая колонна,
Не клиенты Сити,
Ждущие момента для поклона, —
Только пригласите.
Не гниющее живьем в бараках
Пушечное мясо,
Не натренированная в драках
Избранная раса!

Это ЛЮДИ! Самое простое.
Самое святое.
Но о людях выслушайте стоя,
Непрерывно стоя!

...Дальше. Дальше. Что там впереди?
Погоди грустить иль веселиться.
Если ты История, гляди
Пристальнее в человечьи лица.
Если Песня, вслушайся в полет
Времени земного и — вперед!

Ибо мудро выдуманно время.
Это кислород, а не нприт.
Это сжатый в ясной теореме
Сердца человеческого ритм.

Понимаешь? Вот в какое время
Наш народ о мире говорит!

ШЕСТЬ ВЕСЕН

Май сорок первого. Какое
Его предчувствие прожгло?
Смел ли он думать о покое,
Когда, свисая тяжело
На землю космами седыми,
Летела с Запада гроза,
И только смерть зияла в дыме,
И только дым слезил глаза...

О, как Москва была сурова
На предвоенном рубеже!
Казалось, май сорок второго
Не за горами был уже.
Раз десять за ночь умирая,
Цигарку утром он крутил
И снова в партизанском крае
В лесах закладывал тротил.

А где-то рядом с сорок третьим
Стоял сорок четвертый год,
И весны, равные столетьям,
Вдували вены непогод.
Они форсировали реки,
В разведку шли, едва дыша,
Уже бессмертные навеки,
С последним диском ППШ.

О, как неспрашно светали
Те первомайские утра!
Как зорко всматривались в дали
Сквозь дым бивачного костра!
Они легли на голых скатах
Земли израненной своей,
Чтобы навек пылать в закатах
Священной кровью сыновей.

И это было правом павших —
Воскреснуть в памяти живых,
И правом без вести пропавших —
Стоять в цепях сторожевых.
И это было словом нашим,
Весенних слез благим дождем.
И если землю мы распашем,
Там семя горьких слез найдем.

Все круче путь, огнем объятый,
Все жарче дышит наш народ.
Год легендарный сорок пятый
У Бранденбургских встал ворот.
Он встал, еще не понимая,
Какое близко торжество,
Как прозвучит в начале мая
Для нас прямая речь его.

Меж тем по всем коротким волнам
Уже летела эта речь.
И чтобы в сердце, слишком полном,
Ее отчетливо сбережь,
Мы вслушивались третьи сутки
В бушующую издали,
Мешающуюся в рассудке
Святую музыку земли.

Ты современник, ты наследник
Всего, что было и что есть,
Ты помнишь звон секунд последних,
Когда дыханье перевесть
Все человечество забыло
И, чашу слез допив до дна,
Двенадцать било, два пробило, —
В Европе кончилась война.

Май сорок пятого! Как странно,
Что ровно год с тех пор прошел
И что края горящей раны
Тончайший зашивает шелк.
Как странно, что из всех расселин,
Из всех руин и ран времен
Встает мальчишеская зелень,
Пылает алый лес знамен,

В миллионах крохотных зачатий
Свое дыханье воплотив,
Весна не знает, как начать ей
Когда-то прерванный мотив, —
И озаряет в беглом блеске,
Нежнейшим золотом пыли,
Обугленные перелески,
Минированные поля.

Благословенны туч раскаты,
Пророчащие в полусне
Багрянец осени богатой,
Сбор хлеба и вина в стране!
Еще благословенна память
О всех ушедших за шесть лет!
Не нам ее переупрямить.
Забвенья нет. Измены нет.

Благословенно солнце мира,
Когда едва лишь рассвело
И плечи Андов и Памира
Ознобом утренним свело,
Когда сквозь сомкнутые веки
Еще не прерванного сна
В глаза врезается навеки
Весна, Весна.

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ ПЕРВЫЙ

В НОЧЬ НА СЕДЬМОЕ

Карта. Старая карта в отметилах, в ссадинах боя.
Очертающа альпийских предгорий и прусских низин.
Вот планетная суша, вот море блестит голубое.
Завывает железо, огонь пожират бензин.

Оглянись же назад, положи на столе своем чистом,
Разверни на планшете потертый бумажный квадрат.
Вот сдвигаются красные стрелы на гибель фашистам.
Помнишь — ты их вычерчивал четырехлетье подряд.

Не забудь, это вся твоя юность в масштабе двухверстки.
Не забудь, это вбитый в грядущее танковый клин.
Не забудь, это пепел погибших: достаточно горстки,
Чтобы выйти за Одер и с ходу ворваться в Берлин.

Так и было!
Но время летит, как легело когда-то.
Слышишь, крылья шумят над твоей и моей головой.
Так пускай отдыхает в шкафу гимнастерка солдата, —
Карту, старую карту из сумки возьмем полевой!

И в глаза наши ринутся в сказочных тучах Балканы,
Хлынут штормы на Балтике, вся неоглядная даль.
Разверни расстоянья, как скатерть!

Расставь, как стаканы,
Зимних дымов столбы и весенних рассветов хрусталь!

Как бессонна Москва в эту ночь. Как тревожен и нежен
Этот настеежь распахнутый, не городской небосклон.
Где-то там, за бульварным кольцом, может быть,
за Мапежем,
Молодежь просыпается, строятся взводы колонн.

ЛЕНИНГРАД ТОЙ ВЕСНОЙ

Вот так я и буду, забыв адреса и маршрут,
Бродить в этом городе. Так и не вспомню о главном.
Как гулко шаги отдаются. Как медленно мрут
Шаги на граните. Какая печаль залегла в нем.

Ты, зелено-ржавая мудрая бронза, скажи!
Вы, черные окна! Вы, белые ночи, ответьте!
Что тут приключилось?

Кто жив, кто не дожил на свете?
Какие пустуют квартиры и чьи этажи?

Но белые почки не слышат. Не дрогнула бронза.
И только из трещин гранитных пробилась трава.
И только на дальних окраинах немо и грозно
Встают мертвецы, предъявляют на юность права.

Они говорят о своих чертежах непрочтенных,
О планах, которые еле блеснули в мозгу.
О чем говорят они? Вслушаться я не могу.
На этом кончается повесть парней и девонок.

Попробуй добейся у кариатиды глухой,
Чтобы рассказала про ночи и дни артобстрела,
И пошевелила бы сломанной в сгибе рукой,
И каменным оком в живые глаза посмотрела.

Попробуй добейся у царственной невской волны,
Чтоб вызвала в памяти и отразила посмертно
Ту страшную ночь, бушевавшую мукой песнетной,
Те страшные зарева, черные тучи войны.

Не будет того! За волной убегает волна.
В них дикая прелесть, разгон электрической тяги.
Растет детвора, удивленья и счастья полна.
Идут ленинградцы, бойцы, мастера, работяги.

И гибели наперекор, как заря во всю ночь,
Как белая ночь, от бессонницы лишь хорошея,
На щебне развалин, в обрушенной глине траншеи
Рождается песня и к людям приходит помочь,

ЛЕНИНГРАД ЕЩЕ БЛИЖЕ

1

Да, так я и буду, забывши друзей,
Бродить в этом городе светлом.
Иль это не город, а светлый музей,
Пронизанный влагой и ветром?

Да, белая ночь ничего не поймет.
Да, черные окна не дрогнут.
Тягучее время, как сладостный мед,
Сочится на славные стогны.

Тягучее время речей не хранит,
Летит, как летело когда-то.
Не врезана в бронзу, не вбита в гранит
Короткая смертная дата.

И будто бы в жизни чужой, не в моей,
В каких-то дворцах Атлантиды
Качнулись колонны от рева морей
И рухнули кариатиды.

Внезапно в глаза им ударила тьма,
Закрыла их в знак милосердья,
И целые семьи в домах и дома
Отчались в бездну бессмертья.

2

Как будто я вернулся после жизни
Назад, в двадцатые года,
И не узнал гостей на братской тризне,
Загаданной еще тогда.

И если многих здесь недосчитаться,
То счет по-прежнему один:
Счет юных севастопольцев, кронштадтцев,
Не заработавших седни.

И первая война или вторая —
Все той же молодости сны.
И алый стяг пылает, не сгорая,
Под ветром северной весны.

И белые барашки бьются в бивни
Больших мостов через Неву.
И воздух спнь. И набегают ливни
На блещущую синеву.

И тот же блеск. И юность мира та же,
И те же груды старых книг.
И в розовые стекла Эрмитажа
Глядит бессонный мой двойник.

Чей современник, чей он собеседник
В отгулах смутной тишины?
Какие струны скриначей последних
Оборванные не слышны?

3

Еще оцдерен оскал развалин,
Еще не выметен мертвый прах.
Еще погибших не пазывали,
Не поминали их на пирах.

Еще фанерой забиты окна,
Сквозняк разгуливает в дому,
На черном рынке матрацы мокнул,
Старухи дрогнут и смотрят в тьму.

Еще повсюду по Ленинграду
Рыданье ветра, звон топора.
Но всем мальчишкам дапо в награду
Влезать на серый гранит Петра

И трогать змея. А змей не в духе,
Он понимает, что в день весны
Глаза мальчишек светлы и сухи,
Что детям снятся мужские сны.

И этот город — великий город.
Он — полный кубок у рта времен,
Весенним ветром, как встарь, распорот,
Весенним солнцем воспламенен.

И все, что было, что есть и будет,
В его преданьях воплощено.
Он все запомнит, и всех рассудит,
И всех разбудит, открыв окно.

А там, у края скалы бессмертной,
Не остывая с тех самых пор,
Тот самый Всадник во мгле рассветной
Летит сквозь время во весь опор!

4

Под солнечным блеском,
Слепящим глаза,
На взморье, на резком
Ветру закипала слеза.

И с дикой тревогой
Рыдала сирена:
«Ступай и не трогай,
А сможешь, так помни смиренно!»

А белая ночь,
Улетая во тьму,
Сказала: «Помочь
Невозможно уже ничему.

Когда с высоты
Угрожала нам гибель
И ужас мосты
Между прошлым и будущим вздыбил,

В ту пору пылая
Без света и сна,
Поверь, что была я
Совсем не бела, а черна».

Несу я смиренно
К перрону вокзала —
Что пела сирена,
Что белая ночь рассказала.

ГОРНАЯ ДОРОГА

Медленно лет арба.

Маяковский

Опять повороты и взлеты дорог
Точны и коварны. И сразу
Надвинулась горная цепь, как пролог
К могучим преданьям Кавказа.

Опять тарахтит наша «эмка». Опять,
Внезапно возникнув и канув,
Торопятся горы, боятся проспать,
Бредут на базар великанов.

Но дело не в счете веков пль минут,
Когда, расшалившись предгрозьем,
Века на прилавок лавину швырнут,
Шарахнут империю оземь.

Там ямы раскопок, развалины зорь
Да свалка на месте кумира.
И только засмотришься в каменный взор —
И настезь история мпра.

Она начинается там — навсегда!
Светает. Померкли созвездья.
Теснятся на склонах овечьи стада.
Упрямятся буйвол на въезде.

И в дымной барашковой шапке чабан
С овчаркой, как туча, косматой,
И ливень, ударивший вдруг в барабан, —
И все так сурово и свято!

ТБИЛИССКАЯ НОЧЬ

Я как будто чужой в этом городе древнем,
Где балконы, как скалы, висят над рекой,
И гощу, ничего еще не рассмотрев в нем,
И не знают в гостиннице, кто я такой.

Все сначала начну. Буду слушать гортанный,
Словно клекот орлиный, язык горожан.
Ничего еще не было. Нет очертаний
У таинственной тени Нестан-Дареджап.

Значит, снова уехал в Иран Грибоедов,
И столетье не спит молодая вдова.
Значит, Лермонтов, жгучего счастья отведав,
К чьим-то юным устам прикоснулся едва.

Или Демон раскинул над маленькой тварью
Медно-слипие крылья и пышет огнем.
Или Мцыри бежал, а монахи из Джвари
Снохватались, поют папихиду по нем.

Или дивы играют в орла или решку,
И гуляют, и кутят в седых пропастях,
И скрывают от нас ледяную усмешку,
Ибо время для них — совершенный пустяк.

Это очень хорошие, мудрые сказки,
Но и сказки не каждому в силах помочь.
На затылок хребет заломивши Кавказский,
В черной бурке пропосится южная ночь.

Узнаю по глазам, по бездонной печали!
А бывало, напевам грузинским учась,
До зари ей хвалу соловьи расточали
В орточальских садах в упоительный час.

Вновь незримо присутствует, движется близко
Звездокая, милая, смуглая ночь,
И плывет, исчезая за дымкой тбилисской,
Чья родная сестра, чья невеста иль дочь?

И когда она выронит дымный платочек
И умчится с другим тыщелетье прожить —
Не сложить для нее мне рифмованных строчек,
Остается мне голову только сложить!

ЭТО ФРОНТ

В горловине ущелья, как рыжая рысь,
Сто столетий скакала река.
Красовалась над ней неприступная высь,
Плыли перистые облака.

И река и гора, словно двое ребят,
Подружились на тысячи лет:
Вот на круче висит ледяной водопад.
Вот на льду отпечатался след
Великана, который, как круча, горбат
И, как время далекое, сед.
Вот лавина ударила с маху в набат,
И заахал сосед.

Но когда ж это было? —
Попробуй сочти
По слоистому скату пород.
По зазубринам на великаньей кости
Разгляди вековой оборот.
Подержи эту желтую землю в горсти,
И она не соврет.

Это было всегда —
С той поры,
Когда вылезли в трещинах магмы и льда
Вековые изломы горы.
И росли города, и сползли города,
И обрушились в тартарары.
Вот когда началось, чтобы жить навсегда, —
С той поры!

Археолог, читающий клинопись недр,
Разгадал полустертый глагол.
Он подумал, что мир для историка щедр,

А для нас непригляден и гол,
Что одной только крови втоптали на метр
В эту землю араб и монгол.

Но пришел человек, дальнзоркий смельчак,
Возвратившийся с Эльбы сапер.
Он забыл про семью, про домашний очаг,
Помнил только одно в непогодных ночах —
Довоенный неоконченный спор.
Поглядел он на кручи в рассветных лучах,
Как бывало, в упор,

Поглядел на изломы базальтовых скал:
Все осталось, как было вчера,
Там скакала в осколках разбитых зеркал
Ледяная струя серебра.
И вернулся он с ворохом карт и лекал
И решил, что пора!

В горловину ущелья он сваи забил,
Сделал стол для своих чертежей.
Свежий ветер о чем-то своем протрубил.
Стало к ночи заметно свежей.

И раскрыл на столе он большие тома,
Книгу Ленина, книгу мечты.
И сказал он реке:
«Ты увидишь сама!
Ты поймешь — не сойди только, слышишь,
с ума,

Не сорви только наши мосты.
Я скручу тебе руки. Запру в закрома
Водоем голубой красоты.
И пелегкою будет сначала тюрьма,
В узких трубах очутшься ты.

Но по воле моей будешь петь и плясать,
Вопреки всем минувшим векам.
Не торгуйся. Не злись. На минуту присядь,
И — ударим, река, по рукам!

Потому что я ставлю цемент и бетон
Против права дикарки шальной.
И когда, закусивши отчаянный стон,
Ты ощерилась пенной волпой —
Отведу я дикарку в озерный затон,
Буду нянчиться, словно с больной,
Подарю ей корону в три тысячи тонн
И весь мир остальной!»

И они сговорились.
И в неше глубин,
В беглом лепете маленьких волн
Уже слышался голос могучих турбин.
И казалось — он радости полн.

Будто это трансмиссии с визгом снуют
И поют в высоте провода.
Будто это наш завтрашний светлый приют,
Наши завтрашние города.
И полночный над каждым грохочет салют,
И всю ночь веселится трудящийся люд.

...Но когда это будет, когда?
По каким сле видимым чертам узнают
Недалекше эти года?

Я их видел в глазах у небритых людей.
У веселых строителей ГЭС.
А река стервенела все злей и лютей
И неслась, как серебряный бес.

Я их видел, грузинских парней-работяг,
Рукавом вытирающих пот.
Они взвили над стройкой воинственный стяг
Пятилетнего плана работ.

Это спор человека с природой!
Стволы
Грубых шахт без конца и числа.
Аммоналом пробитое темя скалы,
Чтобы сдвинулась с места скала.

Автогенная сварка на линии мглы,
Чтобы мглу раскалить добела.
Генераторных крохотных точек узлы,
Чтоб в неоновых трубках текла
Золотистая лента и были светлы
Городских площадей зеркала...

Это фронт.
Рукопашная Света и Мглы.
Всем идущим на приступ — хвала!

КОНЦЕРТ В КИЕВЕ

Листва, освеженная ливнем,
Над южной толпою.
И город в огнях.
И века, что прошли в нем.
И контуры черных развалин.
И небо
В разорванных тучах.

И, словно русалочья небыль,
Неясное возникновенье летучих,
Рыдающих плещущих звуков,
И трубных и струнных.

Толстяк с накрахмаленной грудью
Швыряет в толпу их горстями.
И звуки становятся тут же вестями
О грозных Перунах,
О том, как гремели недавно орудья
Над кручей Днепра.

Но когда ж это было?
О чем боевая труба протрубила?
Давно отошла боевая пора.

И юноши нежно прильнули к подругам.
И девушки смотрят в глаза им светло.
И там, по весенним ярам, по яругам,
Дрожит водяное стекло.
И звезда, отраженная в зеркале том,
Леденеет осколком опала.

Но скрипичные вихри, свиваясь жгутом,
Полосуют толпу как попало!
Чтобы помнила все, навсегда!

И не смела забвеньем хвалиться,
Только памятью вечной горда!
Чтобы юные смуглые лица
Повзрослели от бури, рыдающей в трубах,
От работы отважной,
Проделанной в ритмах надежных и грубых.

Вот и все. Остальное не важно.

Голос музыки к нам милосерд, —
Он по сердцу ударит, ошпарит
Кипятком ликовацья и снова
В ураганах огня навесного
Салютуют всем тысячам жертв,
Что легли за великое Завтра.

Вот зачем существует концерт!

ДАЛЕКАЯ ДАЛЬ

... Вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засиял Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галицкая.

Гоголь

Ревет и стонет Днепр широкий.
Поют на Волге бурлаки.
Проходят дни, проходят сроки
Могучей песенной реки.

Сплелись руками наши реки,
Нева и Днепр, Сула и Мста.
Идет, как из Варягов в Греки,
Молва племен из уст в уста.

Два языка славянских где-то
Корнями братскими сплелись.
И внук услышал в песне деда
Седую даль, родную близь.

Пожары княжеских усадеб,
Становища татарских орд.
Растет в беленой хате хлопец,
Он гол, и голоден, и горд.

Еще не знает он, что срубит
Сосновый сруб в лесном краю,
Черпнет шеломом и пригубит
Оки студеную струю.

Слепец-кобзарь бредет веками
По чернобыльнику в степи.
С ним каждый шлях, курган и камень
В единой связаны цепи.

И снова движутся наплывом
Картины давней старины,
В рассказе струн неторопливом
Пожарами озарены.

То бьют казацкие пищали,
Грозой к Босфору подоспев.
Казацкой думы и печали
До нас доносится распев.

Пан седоусый на подпaska
Хмельные вылупил глаза:
«Что, малевать ландшафты? Сказка!
Что, вирши складывать? Нельзя!»

Но мальчик рвется к дикой круче,
Туда, где в берег бьет река.
Он полн ее тоской горючей,
Он помнит дни, года, века.

Потом его гноят и морят,
Муштрой калечат средь чужих.
В солончаках, в Аральском море
Он не погибнет, будет жив.

Другой певец его услышит,
Подхватит лозунгом в бою.
Другой кудрявый мальчик спит
В тетрадку тайную свою.

И благодетельный и грозный,
Как в майский полдень первый гром,
Шевченко, отлитый из бронзы,
Вернется в Канев над Днепром.

И вот над волжской переправой,
Над вязкой топью Сиваша
Пойдет на бой святой и правый
Его бессмертная душа.

Она дождется дня и часа,
Когда к днепровским берегам
Полки Ватутина промчатся
На смену Щорсовым полкам,

Когда не бронзой, не гранитом,
Но жизнью станет «Заповіт»
И дальним странам и границам
Откроется бескрайный вид:

То выше туч встают Балканы,
Сверкая гралями во льду.
То на Карпатах великаны
Храпят бесценную руду.

То льются реки-побратимы,
Сливаясь у морских ворот.
Они, как жизнь, необратимы,
Они бессмертны, как народ.

То жарче всех пропетых песен
И крепче всех добытых руд,
Наш братский круг сегодня тесен,
И трижды славен братский труд.

Пусть, пенной брагою сверкая,
Наполнят праздничный стакан
Земная зелень, синь морская,
Воздушный светлый океан!

Пусть заревым лучом багriamo,
По тучам, скалам и волнам
Придет ВЕСОМО, ГРУБО, ЗРИМО
Живое будущее к нам!

НЕВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

1

Пошла в размол субстанция Слинозы.
Развеян прах Эйнштейновой звезды.
Бесшумные песчаные заносы
Засасывают смутные следы.

Лишь кое-где торчат протезы нищих,
Обрывки шелка и куски стекла.
А на седых, как время, пепелищах
И впрямь как будто вечность протекла.

Чего ж ей медлить? Плевелы отваяв
И урезонив праздные умы,
Она исправит главы от Матфея
Коварным толкованием Фомы.

И ты, ровесник страшного столетья,
Ты, человек сороковых годов,
Исполосовав памятью, как плетью,
И впрямь на старость мирную готов?

Ты любишь слабый свет настольной лампы
И на коротких волнах гул земли...
Куда же эти сумрачные ямбы
Тебя на страх домашним завели?

Ну так всмотришься же зорче напоследок,
Прислушайся к подземным голосам!
Ты сам дикарской трапезы обьедок,
В лоскутья кожи выдублен ты сам.

Не вздумай же отделаться насмешкой
От свежеперепыханных траншей.
И если вышел в путь, смотри, не мешкай!
Последний перевал — еще страшней.

Кончатся расправы и облавы.
 Одна лишь близость кровного родства
 Темней проклятья и светлее славы.
 Проклятья или славы — что сперва?

Теряются следы в тысячелетних
 Скитаньях по сожженным городам,
 В песках за Бабьим яром, в черных сплетнях,
 На черных рыпках, в рухляди, — а там

Прожектора вдоль горизонта шарят,
 Ползут по рвам, елозят по мостам.
 Юродствует ханжа, трясется скаред,
 И лжесвидетель по шпаргалке шпарит...
 А где-то жгут, дробят, кромсают, жарят,
 Гноят за ржавой проволокой, — а там

Нет и следов, — ни в городах Европы,
 Ни на одной из мыслимых планет,
 Ни в черной толще земляной утробы,
 Ни в небе, ни в аду их больше нет.

Лежит брусками данцигское мыло,
 Что выварено из костей и жил.
 Там чья-то жизнь двумя крылами взмыла
 И кончилась, чтоб я на свете жил.

Чья жизнь? Чья смерть бездомна и бессонна?
 В венце каких смолистых черных кос,
 В каком сиянье белого виссона
 Ступила ты на смертный тот откос?

Прости мне три столетья опозданья
 И три тысячелетья немоты!
 Опять мы разминулись поездами
 На той земле, где отщылала ты.

Дай мне руками прикоснуться к коже,
 Прильнуть губами к смуглому плечу, —
 Я все про то же, — слышишь? — все про то же,
 Но сам забыл, про что же я шепчу...

Мой дед-ваятель ждал тебя полвека,
Врубаясь в мрамор маленьким резцом,
Чтоб ты явилась взгляду человека
С таким вот точно девичьим лицом.

Еще твоих запястий не коснулись
Наручники, с упряницей борясь,
Еще тебя сквозь строй варшавских улиц
Не прогнала шпицрутенами мразь.

И колкий гравий, прах костедробилок,
Тебе не окровавил нежных ног,
И злобная карга не разрубила
Жизнь пополам, прокаркав: «Варте нох!»

Не подступили прямо к горлу комья
Сырой земли у страшных тех ворот...
Жить на Земле! Что проще и знакомей,
Чем черный хлеб и спшиный кислород!

Но что бы ни сказал тебе я, что бы
Ни выдумал страстнее и святей,
Я вырву только стебель из чащобы
На перегное всех твоих смертей.

И твой ребенок, впившийся навеки
Бессмертными губами в твой сосок,
Не видит сквозь засыпанные веки,
Как этот стебель зелен и высок.

Охрипли трубы. Струны отзвучали.
Смычки сломались в пальцах скрипачей.
Чьим ты была весельем? Чьей печалью?
Вселенной чьею? — Может быть, ничьей?

Очнись, дитя сожженного народа!
Газ или плетка, иль глоток свинца, —
Встань, юная! В делах такого рода,
В такой любви — не может быть конца.

В такую ночь безжалостно распахнут
Небесный купол в прозелени звезд,
Сверкает море, розы душно пахнут
Сквозь сотни лет, на сотни тысяч верст,

Построил я для нашего свиданья
Висящие над вечностью мосты.
Мою тревогу слышит мирозданье
И пышет алым пламенем.

А ты?

3

Как безнадежно, как жестоко
Несется время сквозь года.
Но слитный гул его потока
Звучит: ЗАПОМНИ НАВСЕГДА.

Он каждой каплей камень точит.
Но только ты выходишь в путь —
Все безнадежней, все жесточе
Звучит: ЗАБУДЬ. ЗАБУДЬ. ЗАБУДЬ.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ МОЛОДОГО

Он ждет тебя, и сам еще не зная,
Кто ты такая, хороша иль нет,
Девчонка ли московская шальная
Иль жительница будущих планет.

Он обручен с твоею хрупкой жизнью.
А если в этом сам не убежден,
Явись к нему, негаданная! Брызни
В окно сиренью, радугой, дождем.

Найди его в любой шинели рваной,
Без орденской колодки на груди.
Войди к нему неузнанной, незваной,
Пускай незваной — все-таки войди!

Войди к нему, как входят мировые
Событья, чтоб опомниться не мог.
И в час, когда посмеет он впервые
Раздеть тебя всю с головы до ног,

Когда, нагое трепетаще плоти
Тугим объятьем жадно окружив,
Он в головокружительном полете
Обрадуется, что остался жив, —

О, в этот час не только негой страстной
Чужая кровь прольется в кровь твою.
Ты пролетишь все черное пространство —
Такое, как запомнил он в бою.

Не бойся, что огонь, железо, горе
Терзают вашу свадебную ночь,
Что голос твой в бессмертном этом хоре
Не слышен, человеческая дочь!

Не бойся зла, свершенного навеки,
И мертвых, мертвых, мертвых без числа,
Стоящих рядом с вами. Шире веки,
Поэзия! Ты сына понесла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Где это происходит? На какой
Необозримой тризне мироздачья?
Несутся тени павших, мчатся зданья,
Разрушенные вражеской рукой.

Стволы дерев расщеплены снарядом.
Разорван воздух. Сожжена трава.
Вязанки голых трупов, как дрова,
Лежат на голых пустырях. Но рядом

С таинственным их шествием в пичте
Жизнь, от мгновенной горечи избавясь,
Выращивает маленькую завязь,
И снова дело жизни начато.

Сощурился под козырьком ладони
От солнца босоногий мальчуган.
Щепотка соли брошена в таган.
Слепой играет на аккордеоне.

Мой друг хотел бы всем живым помочь,
Следит он, как в стеклянной колбе вырос
Грибок омоложенья, ультравирус.
Мой друг чудак, не спит вторую ночь.

Меж тем откуда ни возьмись, как ливень
Внезапных слез, восторженно честна,
Явлася в тихий пригород весна.
И двадцатилетний осчастливлен
Ее лукавым взглядом из-под век...

Где это происходит? В чем отгадка?
Зачем ты так перелицован гладко,
Так вытютюжен, смертный человек?

Встань, не заботься о велпчье горя!
Оно вросло в узлы твоих корней.
Ведь музыкант играет тем верней,
Чем он смирней в тысячеструнном хоре.

В тысячеструнной музыке миров
Ты не покинут собственной тенью,
Не обойден законом тяготенья,
Ты жив еще, цел, невредим, здоров.

Легла под ноги зыбкая трясина.
Над головой голодной птицы крик.
Чего ж еще хочеть тебе, старик,
Не отыскавший, где могила сына?

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

Поэма

Мы диалектику учили не по Гегелю.

Маяковский

1

Сто лет тому назад в церквах Европы
Молились толстосумы-филантропы,
Чтобы от их копеечной свечи
Не на земле, а в небесах воскресли
Нагие углекопы из Нью-Кестля,
Голодные японские ткачи.

Сто лет тому назад в почной казарме
Висел тяжелый храп наемных армий,
Храп волчьих свор у королей дрянных.
А на штабном столе дымилась карта,
Изрубленная шпагой Бонапарта, —
Ее подклеил наспех Меттерних.

Сто лет тому назад был очень молод
И очень одинок кующий молот,
И очень тонок жнущий жатву серп.
Но если бы их где-нибудь скрестили,
В Европе не хватило бы Бастилий,
Чтобы сгноить едва рожденный герб.

А между тем земное время било
В колокола и камни в прах дробило.
И буки-аз долбило в свой черед,
И гибло в сменах весен и гниений.
Но время шло! И современник-гершый
Смотрел сквозь время, на сто лет вперед.

Вот Маркс и Энгельс. Их почная встреча
Не знает лжи, боится красноречья.
А лампа их, мерцающая тут,

В почти времен, на выступе кремнистом,
Дорогу освещает коммунистам,
Которые через сто лет придут.

О, как в промозгом лондонском тумане
Напряжено двойное их внимание,
Как яростно слышатся в ушах
И трубный хохот океанской бури,
И шелест акций в биржевом сумбуре,
И стон шахтеров под обвалом шахт.

Как медленно, как тяжело, как скудно
Отсчитывают бег ежесекундный
Хронометры, когда они верны.
Как много дел не сделано. Как тесен
Широкий мир для недопетых песен,
Для запоздавшей завтрашней весны.

А между тем свинцовых литер гравий,
Еще в наборных кассах типографий
Рассыпанный, не превращен в слова.
И два простых и сильных человека
Стоят у входа в середину века
И жаждут торжества.

2

Он ночь провел над Манифестом,
Сигарный пепел прочь смахнул,
Открыл окно привычным жестом,
Кудрями львиными потряхнул.

Широкоплечий, коренастый
Тридцатилетний человек,
Он понимает, что не часто —
Один лишь раз за целый век

Такое выпадает утро
На долю смертного ума.
И это выдуманно мудро,
Как диалектика сама!

От фолиантов гнутся полки.
Газеты смяты на столе.
Спор ненасытный, жгучий, долгий
Со всей неправдой на земле.

И как школяр берет рапиру,
Чтоб испытать удар судьбы,
Берет он с полки том Шекспира,
Прочел: to be or not to be...

Быть! Что бы ни было! Пусть Гамлет
Сжимает смертный прах в горсти.
Кто сомневается, кто мямлит,
Кто двоедушен — прочь с пути!

Слетают митры и короны.
Все общество прогнило сплошь.
На свалках каркают вороны,
Но даже карканье их — ложь.

Вот он, в цилиндре, в рединготе,
Всеевропейский готтентот.
Он лжет о завтрашней погоде.
Лжет этот. Привирает тот.

Он трусит завтрашней погоды,
Он мертв без шарфа и калош.
Он проживет, паверно, годы.
Но это долголетье — ложь.

В конечном счете лжет и Гегель.
Уже трещит небесный кров
От стука вышибленных кегель
И вышибающих шаров!

И Маркс широкими шагами
Шагает от стены к стене.
За окнами в неясном гаме
Жестокий труд в чужой стране.

Непастье обложило мпли.
Огонь фонарный желт п тощ.
Весь Лондон словно лошадь в мыле,
Упорно ломится сквозь дождь.

Псалом покорного металла
Плывет к холодным небесам.
...Маркс не заметил, что светало;
Когда он гранки подпшал.

3

И он услышал гул с той стороны Ла-Манша.
На старых площадях Парижа, как и раньше,
Взяла оружие восставшая толпа.
Она была храбра. Она была слепа.
Она была добра. И легкий хмель победы,
И знамя славное, с которым гibli деды,
И мокрый черный снег, валивший с февраля,
И мчавшаяся в почь карета короля,
И залы Тюильри, где только что потел он
И прятался под стол, обмякнув жирным телом,
И уличной стрельбы несмолкший перекал,
И кровь, пролптая у мощных баррикад, —
Все в этот ранпий час, в неясности воздушной,
Кружило голову толпе великодушной.
Здесь был рабочий люд, студенты, солдатня,
Здесь были ждавпие всю жизнь такого дня
Отшельники мапсард, создатели утопий,
Здесь были существа всех видов и подобий,
Мальчпшки, старики и жеппины. Народ
Сплеча и наотмашь свершил переворот
И грубо написал на глыбинах обвала:
Свобода, Равенство и Братство, — как бывало.

Чем это кончилось, чье грязное перо,
Простые лозунги истолковав хитро,
Их праведную суть оклеветало злобно, —
Об этом незачем рассказывать подробно.
Но в эти дни была спокойна п тверда
Речь Революции.

И Маркс пришел сюда,
В разгар событий, в упоенье, в схватку прений.
Вошел он в злобу дня, как в первый день творенья.
Свой, а не эмигрант, борец, а не пророк,
Хозяин, а не гость переступил порог
Огромной кузницы. И в пламени багровом,
Казалось, дома был, как под отцовским кровом.
И в остроте страстей, и в строе дерзких фраз
Свой отроческий жар он узнавал не раз.
И братьям руки жгал, в лицо не зная братьев.
И в первый же приход, минуты не потратив,
Собрались вожаки. Над тесным их столом
Висел табачный дым. За сумрачным стеклом
В пороховом дыму мерцала мостовая.
— За нас, товарищи! — воскликнул Маркс, вставая,
И жарким торжеством дышала эта речь. —
За нашу встречу здесь, за близость новых встреч.
За дело Венгрии. За воскрешенье Польши.
Ведь завтра, может быть, свершится в мире
больше,
Чем смеет загадать иль выдумать смельчак.
Ведь каждому из нас придется на плечах
Нести немаленький кусок земного шара!

Стаканы сдвинулись. И в отблесках пожара
Их тени на стене росли до потолка,
А головы ушли, казалось, в облака.
Казалось, чокались не люди, а гиганты
В ту ночь, на торжестве борьбы и пропаганды!

В ту мартовскую ночь, — а может, и не в ту, —
В туманном Лондоне сквозь дождь и темноту
Шли тени зябкие и траурные дроги.
И diligжансы шли и вязли на дороге.

И, воплощение всех тягот и забот,
Плыл по Ла-Маншу в Гавр почтовый пакетбот.
Весенний бриз хлестал. В отрешьях такелажа
Меж бочек и тюков еще была поклажа.

Ничей служебный взор сквозь этот грубый холст,
Сквозь пломбы сургуча во внутренность не вполз,
И пачек тонких книг не обнаружил рьяно,
И не зажмурился от молнии багряной.

И не затрясся он, не впал внезапно в раж,
Когда на материк доставлен был тираж
Книг свеженабранных, гонцов всемирной бури!

И, может быть, один матросы балагурия
Мигнули грузчику. И тот понес кряхтя,
Прижал бесценный груз, как малое дитя,
И проворчал, шагнув по трапу с пакетбота:
«Впервые за всю жизнь мне по сердцу работа!»

4

Чей призрак бродит по Европе,
Во все дома стучась?
Иль это значит, вправду пробил
Передрассветный час?

Иль он из будущего послан,
Иной весны посол,
И кажется, как мачта, рослым,
Несбыточным, как сон?

Иль, может статься, может статься,
Он так же прост, как мы,
Идет в рядах манифестаций
На битву с царством тьмы?

За ним, друзья, за ним, на площадь!
Там наши братья ждут.
Там ветер красный флаг полощет,
Его свивает в жгут.

И вот уже Париж, и Вена,
И Рим, и Будапешт
Тревожно и самозабвенно
Полны святых надежд.

Наш брат во вражеской засаде,
Он машет нам рукой.
Но погляди, товарищ, — сзади
Встает уже другой.

Он также молод и прекрасен,
Он прорвался, гляди!
Так, значит, труд наш не напрасен
И счастье впереди!

И этот маленький ребенок,
Растущий человек,
За всех сегодня погребенных
Войдет в грядущий век!

Настанет день в сиянье алом, —
За горем, за тоской, —
Когда с Интернационалом
Воспрянет род людской!

5

И вот неудержимо, непрестанно,
Как рост цветка, как пластованье руд,
Возникла мысль и ширится. Два стана.
Вчера и Завтра. Капитал и Труд.

И вот не призрак бродит по Европе!
Весь материк траншеями изрыв,
Незримо зреет в земляной утробе
Накопленный в течение века взрыв.

Как голоден, как бледен тот ребенок,
Как тонок еле видный стебелек, —
Не первый рекрут в армию согбенных,
Он вышел в путь. А путь его далек!

В давящую или в пекло брошен с детства,
Он должен жечь, долбить, болванить, мять,
Кромсать и рыть, не вправе оглядеться,
Не смея крикнуть: «Помоги мне, мать!»

Он вырастает, жилистый, сутулый,
Мастеровой или мастер, все равно.
Вот автоген ему ударил в скулы,
В усталый мозг ударило вино.

На койке в трюме, в вони кочегарок,
В ночь стачки встает у заводских ворот,
Он жадно дышит, засветив огарок,
Глощает Манифест, как кислород.

Вот он возник в Бордо или в Ливерпуле.
Исчез в толпе.

Возник.

Опять исчез.

Его двойник сражен версальской пулей,
Об этом помнят камни Пер-Лашез.

Но бьет прибой растущих поколений
В другой гранитный бастион врага.
Об этом помнят где-нибудь на Лене
Кровавый лед и жгучая пурга.

Но каждый вражий выстрел — только вежа.
Любая гибель — колыбель борца.
К исходу девятнадцатого века
Об этом помнят камни и сердца.

Найти его по блеску беглых вспышек,
По завтрашним сторожевым кострам.
Настанет час — он молнией напишет
Вдоль тучи:

Пролетарии всех стран...

Что позади?

Коварством, нефтью, кровью
Заляпаны торговые счета.

Что впереди?

Все выше и багровей
Вздывает стяг восстанья нищета.

И между тем как под холмом Хайгета
Маркс опочил последним, вечным сном,
И между тем как Энгельс в час рассвета
Нашел могилу в море ледяном,

И между тем как славное сказанье
О двух вождах должно еще расти —
Со связкой книг встает студент в Казани.
Он чист и зорек, он уже в пути.

6

Сто лет прошло с февральской ночи,
Когда впервые взял рабочий
Свой Манифест как партбилет.
Неслись года. Росли народы.
В первоначальный пласт породы
Врубался Труд. Прошло сто лет.

Был день. Шумела непогода.
Октябрь Семнадцатого года
Из грозных битв, из тьмы времен
Перед Европой, злой и ржавой,
Возник могучею державой
В багряном зареве знамен.

Шли дни и годы. Был непстов
Лай торгашей на коммунистов.
Один шпионил за углом;
Другой трезвонил: «Дранг нах Остен!»
Тот и другой, свинцом пехлестан,
Пошел в разборку, сдаи на слом.

Всмотрись же в зарево пожарищ,
Рабочий Запада, товарищ!
Сочти рубцы народных ран.
Сраженье кончилось недавно.
Еще итог победы славной
Не подведен для многих стран.

Еще народы ждут расплаты,
Не сломан старый мир проклятый,
Не взорван черный каземат.
Еще твоею кровью жаркой
Под каждой триумфальной аркой
Торгует алчный дипломат.

7

Кто вы такие? Вихри? Волны?
Мы — пролетарии всех стран.
В дыму пожарищ, в блеске молний
Минувший век — наш возраст полный,
Треть человечества — наш стан.

Не дорожа глухим затишьем,
Вступив на путь иль кончив путь,
Морозным воздухом мы дышим,
Одним, высокогорным, высшим
Переполняем нашу грудь.

Не вечен век. Не прочен отдых.
Пуускай ударят по сердцам
На всех широтах и долготах
Слова, рожденные в невзгодах:
«МИР ХИЖИНАМ! ВОЙНА ДВОРЦАМ!»

СЕРЕДИНА ВЕКА

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Пушкин

ПОЭТ И ВРЕМЯ

*Я книгу времени читал
С тех пор, как человеком стал,
И только что ее раскрыл —
Услышал шум широких крыл
И ощутил неслышимый рост
Шершавых трещин и борозд
На лицах ледниковых скал.
И с этих пор я отыскал,
И полюбил я с этих пор
И первый каменный топор,
И первый парус на волне,
И давний день, когда в огне
Впервые плавилась руда.*

*Летели дни. Прошли года.
В них слезы были, кровь и дым,
И я недаром стал седым:
Я памятью обременен,
Я старше мчащихся времен.*

*Мой выбор сделан издавна.
Меж девяти сестер одна
Есть муза грозной правоты,
Ее суровые черты,
Ее руки творящий взмах
И в исторических томах,
И на газетной полосе.*

*Она мне диктовала все
Стихи любимые. И с ней
Мой труд страстней, мой путь ясней.*

*Она ввела меня чуть свет
В Московский университет.
Она внесла мой ранний ямб*

*На сцену, в блеск вечерних ламп.
Она пошла со мной, держа
Священный свиток мятежа.
Ей дорог матовый загар
Азербайджанцев и болгар,
Ей близок отблеск синевы
В глазах у Польши и Литвы.*

*Мила ей всякая краса.
Понятны ей все голоса:
И многотрубный хор стихий,
Неумещаемый в стихи,
И упоенных скрипок стон,
И дальних взрывов в сотни тонов
За океаном пережат,
И первый выстрел с баррикад.*

*Когда пришел военный год,
Она, подруга непогод,
Все человечество храня
На грозной линии огня,
Оплакав сына моего,
Чье сердце немо и мертво,
Шептала мне: «Не спи, пиши
Про ранний рост его души», —
В глухой избе в ночной тиши
Чинила мне карандаши.*

*Но горе музу не берет.
И вот она пошла вперед.
Пошла вперед! Ее нельзя
Назвать красавицей, друзья.
Но крут бровей ее излом.
Но кудри медные узлом,
Откинутые, сплетены.
Но в мире нет такой стены,
Чтоб не могла пройти она.*

*Я сделал выбор издавна.
И буду верен ей и впредь.
Когда придется умереть,
Я ей отдам на сотни лет
Беречь мой партбилет,*

В ПЕРЕУЛКЕ ЗА АРБАТОМ

Поэма

Глава первая

Тебе, Москва, пережитое
За полстолетья отдаю,
Перед тобой без шапки стоя,
Слагаю летопись мою.
Я знаю счастье и несчастье,
Дни праздников и годы гроз.
Я был их незаметной частью
И только этим жил и рос.
Войди хозяйкой в эти строки
И услышать мне помоги
На дальней жизненной дороге
Самой истории шаги.
Скажи, что явственно, что смутно,
Что жизнью дышит, что мертво.
Будь мне и песнею попутной,
И правдой века моего.
Вчера и завтра ты сдружила.
Но дружба — это тоже спор:
Тут глубоко зменится жила,
Там широко открыт простор.
Ушел в глубинный грунт геолог.
Взошел строитель на леса.
И дальше, дальше в путь. Он долго.
Сейчас он только начался.

Москва! Ты помнишь рев орудий,
Нацеленных на юнкеров,
Шаг патрулей в ночном безлюдье,
Огонь малиповых костров.
Так выйдем вместе за ворота,
Пускай посмотрит нам в глаза
Октябрьского переворота

Животворящая гроза!
Пускай метет осенний ветер
Листву на улице пустой,
Пускай никто нам не ответил
И даже не окликнул: «Стой!»
Всмотрись, Москва! Вон тот с вокзала
Бредет куда глаза глядят.
Что ж ты пришельца не узнала?
Он твой строитель и солдат.

Так слушай! Где-то рос парнишка
У бедной матери в избе.
Лишь трехкопеечная книжка
Ему сказала о тебе.
В той книжке мало было толку,
Царь-колокол да буки-аз...
Но детство не дремало долго,
Оно и не смыкало глаз.
Оно старалось в даль взглядеться
И разглядеть Москву во сне, —
То смуглое, босое детство,
Вдруг повзрослевшее к весне.
Но мать-солдатка не смогла бы
Зеленый выходить росток.
И не расцвел бы цветик слабый, —
В ту пору климат был жесток.
И земский врач не дал бы хины
И процидил бы, морща нос:
«Кончины детские стихийны,
Да-с, тут бороться мудрено-с!» —
И сельский поп, на отпеванье
Смирешно господу моля,
Провозгласил бы, что для Вани
Легка, как пух, сыра земля...
Так быть могло. Но по-другому
Сложилась детская весна!
Уже тыщеголосый гомон
Будил губернию от сна.
Уже дороги запылали
От сотен яловых сапсг.
Уже и пушки запалили
На перепутье двух эпох.
Уже в осеннем лютном ветре

Во весь разгон, во весь размах
На каждом новом километре,
В сырых лощинах, на холмах
Сняли буквы красным цветом,
Написанные от руки,
Призывный клич —

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! —

Был ясен с первой же строки.
ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! —

Это значит,

В большой избе, где был трактор,
Гость-фронтовик переименит
И переделает весь мир.

И мальчуган о том услышал,
И все решил проверить сам,
И в тот же день из дома вышел
Навстречу вольным голосам.
Вошел в Совет, сказал солдату:
«Хочу в Москву».

Тот посмотрел,

Наверно, вспомнил, что когда-то
Был сам таким же.

«Ишь пострел!

Зачем в Москву?»

«Учиться».

«Важно!

Дойдешь?»

«Дойду».

«Одш?»

«Ага».

«Видать, ты паренек отважный,
Хоть и не выше сапога.
А есть родня в Москве?» —

«Откуда!

Родных нигде нет у меня». —
«Вот это, брат, конечно, худо!
Мы, впрочем, все теперь родня».

И, дела даром не мусоля,
Солдат отправил паренька,
Дал сухарей, щепотку соли
И молвил, каплянув слегка:

«В Москве ребята есть дурные.
Ты с этих не бери пример.
Они — наследье тирании.
А ты — рево-лю-ци-о-нер!»

Так разделил он с выраженьем
Все шесть слогов на шесть борозд
И, как штабист перед сраженьем,
Встал у стола во весь свой рост.

А мальчуган десятилетний,
Суров, отважен, одинок,
Не первый путник, не последний,
Дал ходу, не жалеет ног.
«Где, тетя, станция?» —

«Эй, милый!

Верст почитай что двадцать пять».
Хозяйка щами накормила,
На сеновал пустила спать.
А утром двинулись навстречу
Поля, дышавшие весной.
Встречались люди с бойкой речью,
Не деревенской, разбитной.
На станции — народу пекло,
Черно и грязно, как в хлеву.
«Шесть сорок пять, — прочел он бегло, —
Прямой почтовый на Москву».
Что ж, до рассвета ждать недолго.
И где-то на вторых путях
Он влез в вагон на третью полку.
А все дальнейшее — пустяк.
Сухарик каменный ломая,
Смотрел в окно, считал ворон.
Двадцатый год. Начало мая.
Выходит мальчик на перрон.

Москва, Москва! Как ты заметишь
Его в вокзальной толкотне,
Каким пайком его ты встретишь
И поручишь какой родне?
Все удивительно ребенку:
Столбы, заборы и дома

За ним бросаются вдогонку.
А в трубах — дым. А в окнах — тьма.
Вот дом, как пасть, раскрыл ворота.
В том лают шавки. В третьем — звон.
Четвертый встал вполоборота:
Катись, мол, попрошайка, вон!
И всюду камень, камень, камень.
И все в пыли. И все в дыму.
Но тянется из грязных ямин
Травинка чахлая к нему.
Да что дружить с травинкой чахлой!
Затоптана, исчезла с глаз.
Но где-то вдруг ржаным запахло —
Вот это хуже во сто раз.
Смеркается. Безлюдно. Звездно.
Зажглись окошки. Копчен день.
Всмотрись, Москва, пока не поздно,
Окликни маленькую тень!
Бежит парнишка, еле дышит.
Закрапал дождик. Гуще мгла.

И вдруг смолою жарко пышет
Из проржавевшего котла.
В котле, как черти черномазы,
Семь мальчиков сидят кружком,
Друг другу страшные рассказы
Рассказывают шепотком.
«Лезь ночевать! За вход не спросим.
Живем без крыши, да семья.
Семь плюс один выходит восемь.
Картошка — наша, соль — твоя».
Семь тощих ручек протянулись.
Семь пар настороженных глаз
Затеплились и улыбнулись.
И сразу дружба началась.
Он влез в котел и как волчонок
Глядел на сверстников своих,
На грязных, смелых и ученых,
И с робкой завистью притих,
И слушал страшную их повесть
Насчет базаров и облав,
С картошкой справился на совесть
И в крепкий сон упал стремглав,

Простились утром деловито.
Гость о себе не говорил.
Махнул рукою и для вида
Бычка свирепо закурил,
Откашлялся, расправил плечи,
Суров, отважен, одинок.
«Где, дядя, Кремль?» —

«А недалече,
Сыпь, не сворачивай, сынок!»

Играет солнышко, расплавясь,
Скользит по струйкам водяным.
И за рекою Кремль-красавец
Внезапно вырос перед ним,
Совсем как в сказке. Но не страшен,
Не древен видом, не тяжел.
И поглядев на зубья башен,
Он храбро к стенам подошел.
Вот он, вихрастый и глазастый,
В рубашке рваной мальчуган.
И кажется ему, что «здравствуй»
Сказала башня-великан.
А ветер флагами полощет.
Играют трубы впереди.
И вот выходит он на площадь
И очутился посреди
Бойцов и граждан. Шага на три
Лишь поглядел из-за плеча:
Вздувает ветер на театре
Полотнища из кумача.
Вокруг — бушлаты, гимнастерки.
И все шумней, тесней, плотней...
А наверху летит четверка.
Чугунных взмысленных коней.
Что за четверка, что за кони!
Не прозевай, гляди, лихач!
Сейчас рванутся — и в погоню
По крышам по московским вскачь!
Посторонитесь вправо, башни,
Левой шарахайся, пустырь!
Кто ж ими правит так бесстрашно,
Какой могучий богатырь?
И все, о чем мечтал он с детства,

Сбылось внезапно наяву.
Никак не мог он наглядеться
На ненаглядную Москву.
И под громадной круглой аркой
Застыл, как будто в камень врос.
Но тут его ладонью жаркой
Погладил бережно матрос.
«Где мамка?» —

«Нету».

«Батька?» — «Нету».

Писали, без вести пропал».
«Видать, прошел насквозь планету,
Шел, не считал шагов и шпал?
Чай, утомился?» —

«А писколько!»

«Гостить приехал?» —

«На всю жизнь!»

«Как звать тебя? Алешкой? Колькой?»

«Иваном». —

«Ну, Иван, держись! —

И, приподняв парнишку, с маху
Усаживает на плечо. —
Садись в седло, гляди без страха!»
А тот не разобрал еще:
Что там волнуется, что блещет,
Что за сердце его берет,
Кому вся площадь рукоплещет...
Тогда матрос шагнул вперед.
Волнение пробежало искрой
В глазах, блеснуло на штыках.
Вот человек поднялся быстро,
Снял кепку, мнет ее в руках,
Слова горячие бросает
И каждым словом горячей
Сближает, держит, потрясает
Всех слушающих москвичей.

И взмах руки его, и слово,
Толпе врученное сполна,
И камни площади Свердлова
(Так будет площадь названа) —
Все это в сердце сохранится,
Невытравимое навек,

И через годы ту страницу
Отыщет взрослый человек.
И, от страницы поднимая
Глаза, увидит наяву:
Двадцатый год. Начало мая.
Впервые он пришел в Москву
И видел Ленина впервые.
И, память светлую храня,
Он скажет: «Годы мировые
Прошли недаром для меня!»

«Сиди, не ерзай, слушай смирно!
А что не понял, не беда!»
Вдруг рядом грянуло: «...*всемирной,*
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право...»
И широко разросся хор.
Тогда матрос рукой корявой
Смахнул со лба лихой вихор
И подхватил припев. И снова
Гимн прокатился по Тверской.
До Моссовета, до Страстного
Росло: «*Воспрянет род людской...*»

Они до Брестского вокзала
Прошли рука в руке вдвоем.
Ненадолго же их связала
Москва на мигтинге своем.
Коротким было расставанье,
Как полагается в пути:
«Не поминай нас лихом, Ваня!
Нам — воевать, тебе — расти. —
И сунул мальчику краюху. —
Ломай. Когда-нибудь отдашь».
Тот сразу начал есть и глухо
Пробормотал: «А мне куда ж?»
«Все расскажу. Вот адрес точный.
Читай. Найдешь — входи смелей.
Там примут и накормят срочно.
Прощай, Ванюшка! Слез не лей!»
Заголосил гудок протяжно.
Прошли теплушки мимо глаз.
И в вышине вечерней влажной

Слезинка звездная зажглась.
И сразу тихо стало, скучно.
Он долго всматривался в тьму.
Какой-то малый равнодушно
Дал подзатыльника ему.
Он засопел, жалея очень,
Что слаб для драки. Но потом
Утерся и, сосредоточен,
Пошел с набитым хлебом ртом.
Достал матросскую записку,
Спросил у встречных, где Арбат,
Услышал, что не очень близко,
Но даже этому был рад.
И, проблуждав по переулку,
Нашел ворота номер семь.

И сердце вдруг забилося гулко:
Кто был ничем, тот станет всем!

Глава вторая

В былые годы за Арбатом
Стоял дворянский особняк,
Хранимый дворником горбатым
И множеством худых дворняг,
Там можно было подивиться
На врубелевское панно.
Там худосочные девпцы
Стремилась выйти замуж, — по
Склонялись к скрябинским ноктюнам,
Свое девичество храня,
Забутые в столетье бурном,
Как их соседи и родня...

Все пусто. Выветрился запах
Духов и свечек восковых
В комодах павловских пузатых,
В сырых и темных кладовых.
Лепные завитки барокко
Напрасно украшают зал.
Рояль, в котором мало проку,

Лет пять настройщика не знал.
Шкафы и кресла неуклюжи,
Одною дряхлостью горды...

Но почему в прихожей лужи
И детских валенок следы?
Но что за диво! Расколосась
Насторожившаяся тишь,
И сдавленный ребячий голос
Послышался: «Алешка, спишь?»
«Не...» — отвечал другой, баспстый.
И третий, явственно грозя:
«А ну, уймись-ка, не бесись ты,
Не то как дам тебе раза!»

Ребята в первые минуты,
Когда попали в этот дом,
Ворчали: «Ишь ты, фу-ты ну-ты!» —
И обживались тут с трудом.

Им долго не спалось на койках.
Им тошен был любой режим.
И не однажды самых бойких
Влекло безумное — *сбежим!*
И не однажды злой и храбрый,
Весь в ссадинах почетных драк,
Был милиционером забран
И все-таки скрывался в мрак.
Его видали вы подростком.
Вам плакал сорванный фальцет,
Что *позабыт и позаброшен*
Его мальчишеский расцвет.
Другие свыклись и притихли
И, просыпаясь чуть заря,
Науку первую постигли —
Мыть руки и не драться зря.

Из тех, кто в доме жил когда-то,
Теперь остался лишь один —
Студент-историк бородатый,
Андрей Григорьевич Бороздин.
С наукой университетской
Расставшись после Октября,
Одной застенчивостью детской

Силен, по чести говоря,
Он твердо знал, что очень молод,
Что никаких не кончил школ,
И, перенесши тиф и голод,
Был тощ как волк, гол как сокол.
В ту пору понял он впервые,
Что вправду «посетил сей мир
В его минуты роковые»,
И Тютчев был его кумир.
Он в Горно ходил всю зиму,
Заведующей досаждал,
Отважно и неотразимо
О воспитанье рассуждал.
Был выслушан, переименован
И, кем-то понятый с трудом,
Не без опаски был назначен
Руководителем в детдом.

Дом был запущен и нетоплен.
Ребята мерзли. Но сперва
Они довольствовались воплем:
«Андрей Григорьич, дай дрова!»
Потом поставили печурки
И трубы ржавые нашли.
Жгли мусор, тряпки, щепки, чурки —
Все, что могли поднять с земли.
И стал их быт в разгар мороза
Не так ужасен, хоть суров.
Потом пришел из Откомхоза
Наряд — полкубометра дров.

Все сами сделали ребята,
Никто им слова не сказал.
Ватага двинулась с Арбата
Пешком на Северный вокзал.
Незабываемые годы!
Москва сурова и ясна.
Во всем нехватки и невзгоды.
Не до веселья, не до сна!
В огне труда, в жару тифозном,
В густом махорочном дыму,
Под куполом тысячезвездным
Москва глядит в ночную тьму.

И в первых ленинских декретах,
В просторах, видимых едва,
В домах, дыханьем обогретых,
Уже звучит: «Живи, Москва!»
И в тот субботник, в ту субботу
Шли юноши и старики,
Устали до седьмого пота,
Но, непогоде вопреки,
Шли бескорыстно, шли без хлеба,
Стянувши пояс патоцк.
Сначала, сгорбившись нелепо,
Тащили бревна на плечах,
Потом согрелись и не дрогли,
Шутили крепко, но не зло
Над отстающим и над рохлей,
Которому не повезло.
И наши мальчнки, отведав
Толику общего тепла,
Запели вдруг: «За власть Советов!» —
И песня общая росла
Не слишком слаженно, но грозно.
И вторил ей что было сил
Гудок охрипший паровозный
И дальше в поле уносил.
Пришли домой. В бивачном быте
Возникли дружба и тепло.
Отсюда множество событий
И перемен простекло.

Был на дворе сарай дощатый,
В те годы пропадавший зря,
Забытый угол, непочатый
Склад лома, хлама и старья.
Рассохлась барская карета.
Под рваной сбруей мышь скреблась.
Зияли щели. Нет секрета
Для любопытных детских глаз.
Давно детей влекло к сараю.
Бывало, дерзкий следопыт,
От нетерпения сгорая,
Весь день старается, сопит,
Бьет колуном замок, чтоб сдвинуть
Щеколду хоть на полвершка,

Из-под земли кубышку вынуть,
Клад отыскать паверняка.
Андрей Григорыч в этом деле
Ценил мальчишескую прыть.
Он колебался полнедели,
Но разрешил сарай открыть.
С кривых гвоздей сорвали сбрую,
Спугнули мышь, вошли во мглу.
И, храм лопатами шуруя,
Клад обнаружили в углу.
Он не был сундучком железным
И не был ведьмами заклят,
Но оказался все ж полезным
Тот найденный в сарае клад!
То был верстак и целый ящик
Стамесок, молотков и пил,
Зубастых, острых, настоящих!
Как упоенно завопил
Ребячий хор! Как в это утро,
За верстаком едва дыша,
Свирепо, весело и мудро
Взрослела детская душа!
О, ранний возраст человечий,
Рост, рвущихся из всех одежд,
Мир безболезненных увечий
И бессознательных надежд!
Ты в слаженном оркестре пашем —
Удар тарелок, медный звон.
А мы руками скучно машем,
Кричим: «Не лезь!» и «Выйди вон!»
И ты ютишься на задворках,
Ты заперт в клетки этажей,
Но и в твоих обидах горьких
Есть капля мужества уже.
Могучий возраст! Как посмею
Равняться силами с тобой!
Пожалуй, было бы честнее
И не вступать в открытый бой,
А где-нибудь в журнальной прозе
Долбить гуманные азы...
Но, признаюсь, твое предгрозые
Дороже мне иной грозы!

И я служил в детдоме этом,
Ребятам Пушкина читал,
Не смел считать себя поэтом,
Но о поэзии мечтал.
Я видел рвенье их и вялость.
Застенчивость и легкий нрав.
Все это детством называлось
И требовало взрослых прав.
Мне нужен весь мой прошлый опыт:
Жить беспредельно, жить вперед.
Жизнь коротка, спешит, торопит,
И ничего в запас не копит,
И в путь запаса не берет.
Но в дерзости ее беспечной,
И в грозной мудрости ее,
И в неуверенности вечной
Царит не быт, а бытие.

А день открытий и находок
Был пережит и позабыт.
Ребята знали труд и отдых,
Налаживали трудный быт.
И стал сарай подобьем клуба.
По вечерам пустеет двор.
По вечерам ребятам любо
Послушать дельный разговор
Об угнетенных странах мира,
Где скован пролетариат.
И вот от Андов до Памира
Мечтанья детскпе парят.
Угломонились балагуры.
Рисует кто-то на стене
Буржуев мрачные фигуры,
Свирепо рвущихся к войне.
Вот папа Пий кадиллом машет,
Вот чванится зубастый лорд.
А рядом рисовальщик пляшет,
Своей карикатурой горд.

Уборка! Снять двойные рамы!
До блеска вымыть стекла все!
Над улпцами, над дворами

Царит весна во всей красе.
Царит весна и зиму рушит,
Лед на ледышки расколов.
Гуляет ветренница, кружит
Немало встренных голов.

В размывах снега черно-рыжих,
На перикаянных дворах,
На заржавелых, рваных крышах —
Везде и всюду тлен и прах.
Но так светло синее небо,
Такая даль открылась там,
Где ни один мечтатель не был,
Так жадно верится мечтам;
Так явно начался в те годы
Наш повый, наш великий век!
Мы знали: крепче непогоды,
Прочнее стали человек!

И он действительно был рядом,
Стучался храбро в нашу дверь,
Смотрел на нас недетским взглядом,
Как будто требовал: поверь!
Вот и вернулся я к рассказу.
Иван Егоров быстро рос.
В детдом он был зачислен сразу,
Как предсказал ему матрос.
Но почему весь день молчит он,
Как ни старайся, ни зови?..
Или вчера тайком прочитай,
Верней сказать — проглочен «Вий»?
Иль в самодеятельном хоре
К нему дошло издалека
Им не испытанное горе,
Глухое «ухнем» бурлака?
На наш вопрос он отмолчится,
По-прежнему уйдет в себя,
Еще сильнее начнет дичиться,
Без всяких поводов грубя.
Остынет злость, исчезнет горечь,
И скажет этот дикобраз
Отрывисто:

«Андрей Григорыч!

Простите! Я на этот раз
За дело взялся. Поглядите,
Пожалуйста. Вот чертежи!»

И замолчит еще сердитей...
«А ну, Егоров, покажи!»

И не робея перед риском,
Сжав зубы и едва дыша,
Он чертит целый день огрызком
Чернильного карандаша.
Пусть замысел его нескладен,
Но дело прочно начато.
Все переделав трижды за день,
Придумал он бог знает что:
Винт, чтобы землю пробуравить!
Чертеж полета на Луну!
«Да ты не спал всю ночь!» —

«Да я ведь

Не кончил. Завтра отдохну».
Нет, землю незачем буравить,
Не пустишь на Луну ракет...
«Да ты опять не спал!» —

«Да я ведь

Кончаю все-таки макет!»

Андрей Григорьич взгляд вонзает
В способного ученика.
Но, как помочь ему, не знает,
Его задача нелегка.
А ученик стоит бок о бок
С Андрей Григорьичем самим.
Конечно, он смущен и робок,
Но страшной гордостью томим.
И если плач его неясен,
Он водит грязным пальцем:

«Тут

Речною лентой опоясан
Московский Кремль. А там пойдут
Театры, памятники, арки,
Трибуны, парки...»

Наяву

Он видит этот образ яркий,

Им выстроенную Москву!
Он сразу стал взрослей и суше.
Его «строителем» зовут.
А руки в цыпках, в пятнах туши,
В порезах — к свадьбе заживут!

Апрель двадцать второго года.
Снег стаял. Ветер. Синева.
Ждут не дождутся ледохода.
На набережных вся Москва.
Спешат с Ордынки и с Арбата,
Делам домашним вопреки,
Как будто слышат гул набата
С верховья вздувшейся реки.
И мальчишки детдома тут же,
Весь день на Каменном мосту.
Они ремни стянули туже,
Забыли чижик и лапту.

Знакомец паш, Иван Егоров,
Ждет ледохода, как и мы,
Он смотрит на великий город.
Прошло два лета, две зимы,
С тех пор как с Курского вокзала
Он шел впервые и Москва
Ему дорогу показала,
Не затолкав едва-едва.
Что там снопами света пышет?
Как длинен день, как он тяжел!
И обернулся он, и слышит:
«Глянь, Ванька! Вот он! Лед пошел!» .

В два пополудни, расшибая
Лбы о покатые быки,
Пошла отара голубая
По стержню вздувшейся реки.
Лед ноздреват, непрочен, зыбок.
Он тает на глазах у вас,
В коловороте мелких шибок
Весенней брагой становясь.
Обласкан солнцем, пьян от ветра,
Зеленый, синий, ломкий лед
За каждые полкилометра

Дерется — только бы вперед!
Плыть за Оку, на Волгу, в Каспий,
Вновь испаряться, литься вновь
В мельчайших каплях, в беглой пляске
На зеленеющую новь!
Жить беспредельно и бессмертно!

И мальчики кричат: «Ура!»,
Уставшие немплосердно,
Так и не евшие с утра.
Они домой вернутся поздно,
Улягутся на койки в ряд.
Тревогой разною, но грозной
Их сны короткие горят.

А где-нибудь на верхотурке,
Сняв запотевшее пенсне,
Андрей Григорьевич мнет окурки.
Он тоже позабыл о сне.
В поступках явно непохвальных
Он мог бы упрекнуть ребят,
Но думает о готовальнях,
Мечтой о ватмане объят,
О будущем, о близком завтра,
Вступающем в свои права.

О том же размышлялся автор.
Но здесь кончается глава.

Глава третья

Вокзал. В последнюю секунду
Протяжно стонет сжатый пар,
И теплится под ветром скудно
Печаль прощающихся пар.
Но вот уже в вагоне жестком
Смолкает говор, гуще мрак,
И теноровым подголоском
Подхвачен истоно «Ермак».
И весь вагон в восторге замер,
Едва услышав в полутьме,
Как песня катится низами:
«Ревела буря, дождь шуме-е...»

Но это первый час дороги.
Хор не соединил пока
Неразговорчивых и строгих,
Да и дорога далека.
Все будет! Спор о Маяковском,
И длинный шахматный турнир, —
Как в дыме компактном, московском,
В любом купе возникнет мир.
Так вслушайся в обрывки споров,
Вглядишься в попутчиков черты,
Знакомься с едущими. Скоро
Со мной перепесешь ты
На двадцать лет назад. Возникнет
Тридцатый переломный год.
И снова партия воздвигнет
Перед страной план работ.
Темп, темп! Нефтяник ли бакинский
Иль харьковчанин-агроном —
Страна всей ширью исполинской
Летит пред ними за окном.
Все темпом тем живет и дышит,
Все полустапки им полны.
Им точка паровоза нышет.
Он, как товарищ, входит в сны.
И пережитой яви ключья
В мозгу проносятся опять.
Все спят. Все спит. Все тихо ночью.
И проводник собрался спать.

И только юной комсомолке,
Далеко едущей впервой,
Не дремлется на верхней полке:
Всем существом она с Москвой.
Подольск, и Серпухов, и Тула
Уже остались позади.
А пассажирка не уснула.
В окне вагонном, погляди, —
Ведь это же твоя Россия!
Там сжали хлеб. Там в избах спят.
Там ножки детские босые
Разворошили листопад.
Нет, ты ее совсем не знала!
А если знала, то из книг.

Иль в мраморных колоннах зала
Перед тобою он возник —
Тот образ дальний, образ древний,
Золото-синий, расписной...
Там лебедь делалась царевной,
Снегурка таяла весной...

Все ускоряется движенье,
Летят столбы и провода.
Скажи, куда ты едешь, Женя,
Скажи — куда, скажи — куда?..
Как ты легко простилась с мамой,
Как ей грубила день-деньской,
Гордясь ужимкою той самой,
Подумать совестно какой!
Как бабушка тебя крестила,
Чтоб ты в пути побереглась,
А ты лицо отвортила,
Не подняла на бабку глаз.
Как нестерпимо надоели
Тебе домашние твои.

Ты выдержала еле-еле
Последний натиск их любви.
При царском, может быть, режиме
Так заедали женский век.

А ты нашла себя с чужими,
Ты не дитя, ты человек!
И снова вспоминаешь милых,
Смешных, безропотных старух.
Как спутал, как ошеломил их
Впервые высказанный вслух,
Как назло, поданный к обеду,
Почти военный твой приказ:
«Ни слова! Я во вторник еду». —
«Куда, Женюрка?» —

«На Кавказ!»

«Играть на сцене?» —

«Да, на сцене!»

И все в слезах. И перед ней
Маячили две скорбных тени
И становились все бледней.
Какой отпор отменно колкий
Придуман был на ихний вздор!

И, ловко спрыгнув с верхней полки,
Выходит Женя в коридор.

«Вам тоже, видимо, не спится?»

«Да, душно...» —

«Через два часа

В Орле сойдем воды напиться».

Так разговор их начался

И тут же оборвался сразу.

Попутчик Жени проглотил

Невыразительную фразу,

Девичий взгляд его смутил.

В потертой клетчатой ковбойке,

Молчит, глядит в упор, чудак,

Совсем нескладный и небожий.

С минутой постоял он так

И вдруг склонился к ней, как старший,

На Женю храбро поглядел

И «разворачивайтесь в марше»

Свирепым басом прогудел.

Потом о паспорте советском

Он продолжает, горячась.

И в ритме слаженном и веском

Прошел, по крайней мере, час.

Сказавши имя «Маяковский»,

Дар слова парень приобрел.

Но тут в окне огни, киоски —

Большой вокзал, перрон, Орел.

Они прошли платформу молча,

Как дети, за руки держась.

Прошли, как два луча, сквозь толщу

Чужих, нелюбопытных глаз.

По кружке пива с желтой пеной

Смущенно выпили. Потом

Вернулись к поезду степенно,

Стояли в тамбуре пустом,

Но рук сплетенных не разжали.

А между тем опять, опять

Огни вокзала побежали...

И проводник прогнал их спать.

Спать? Невозможно! Ночь такая

Бывает в жизни только раз...

И втайне сердце упрекая,
С окна не сводит Жёня глаз.
Что там клубится в лунных пятнах,
Что длится в лилии столбов,
Как в недомолвках полувнятных
Накапливается любовь?
Любовь?.. Она еще в тумане,
Как огонек сторожевой, —
Едва возникшее вниманье
Живой души к другой живой.
Да и любовь ли это, полно!
Но жаждет молодость чудес,
И Жёня чувствует безмолвно,
Что важное решится здесь.

О молодость моя! Ты тоже
Так чувствуешь, пока я жив.
Но я тебя не подытожу
В рассказе о сердцах чужих.
Я не хочу с тобой проститься.
Лети же, милая, лети
И взвейся доброй вещью птицей
На чьем-нибудь чужом пути!
И я любил, еще не веря,
Что это движется она,
Срывающая с петель двери,
Неотвратимая волна.
И я любил, а ты молчала,
Не отвечая, не любя,
Но синяя волна Начала
Куда-то мчала и тебя.

Ты помнишь день февральский, яркий,
Начало счастья и невзгод,
Свиданье наше в снежном парке,
И нашу дружбу в первый год,
И стоны скрипок отдаленных,
Предчувствующих ход весны,
И отклик скрипкам в миллионах
Звонящих капель тишины —

Всю эту музыку вселенной,
Которая из века в век
Пребудет чистой и нетленной,
Чтоб радовался человек...

На Женю смотрит смуглый, складный
Двадцатилетний человек.
Пожалуй, смотрит слишком жадно,
Не опуская дерзких век.

Иван Егоров, — но не просто
Ребенка в юноше узнать:
Помимо возраста и роста,
Совсем другая суть и статья.
Пускай он будет вами узнан
И заинтересует вас:
Студент технического вуза
Спешит на практику в Донбасс.
Как многих подраставших граждан
В решающие те года,
Его обуревала жажда
Рыть землю, строить города.
Он знал, что есть поля, и веси,
И звон военных медных труб,
Сто факультетов, сто профессий,
Ланцет, лекало, ледоруб.
Так подошла возмужалость.
Но сила в сотни киловатт
Пред девушкой невольно сжалась
И сразу стал он угловат.
Да, он, конечно, не чета ей,
Не пара ей, какой там черт!
И ночь, так странно начатая,
Свое начало зачеркнет.

Что ж привлекло его? Какое
Движение смелое или взгляд,
Так смутно сердце беспокоя,
Так ясно в памяти стоят?
Кудрей ли россыпь золотая,
Или руки случайный взмах,
Иль, блеском лунным залитая,
Вся Женя светится впотьмах?

Он сам на это не ответит
И вдруг припомнит невзначай,
Что только сутки рядом едет.
А что потом? Потом — прощай!

Несется поезд полуночный.
И разве что летящий дым
Покажется опорой мощной
Двум этим людям молодым.
Все ускоряется движенье.
Посапывают тормоза.
Когда же ты согласишься, Женья,
Ночному спутнику в глаза?
Да будет ночь длинна! Да будет
Благословен короткий путь!
И, зная сам, что не забудет,
Он шепчет робко:

«Не забудь!»

И Женья трезво и жестоко
Читает отповедь ему:
«Влюбились вы в мгновенье ока.
Я вашей спешки не пойму.
О чем гадать? Простимся честно,
Я в октябре вернусь домой.
А будущее неизвестно
И непонятно мне самой.
Мне целый год еще учиться.
Вы позабудете меня.
Вам и в Москве быть не случится, —
Она прибавила, дразня,
Слегка рисуясь: — Ведь актерство —
Моя дорога и удел!»
Но в этой отповеди черствой
Он обещанье разглядел!

И опрометчиво и твердо
Звучат два шепота в тиши,
И в третий раз, и в раз четвертый,
И в пятый раз: «Прощай, пиши!»

Несется поезд, мчится скорый,
Трубит, поет во все рога.

Навстречу — реки, косогоры,
Рвы, буераки, берега,
Цистерны с нефтью, башни станций,
Блокпостов беглые огни,
И всюду робкий зов:

«Останься!»

И смелый отзыв:

«Догони!»

Не эстафета ли сквозная
Несется в говоре колес?
И, взявшись за руки и зная,
Что им недаром не спалось,
Притихли двое.

О, как мудро,
Их встречу выдумала жизнь!
Как быстро наступило утро!
А утром хоть и не ложись.
Огромный день в дороге полон
Бездельем, пылью, сотней встреч,
Но как не вовремя пришел он,
Как от попутчиков сберечь
Свою нехитрую тревогу,
Как много в мире зорких глаз!
И кажется им всю дорогу,
Что выставлены напоказ.
А люди спорят, курят, тратят
Бесцельно время...

А часы,
Как и колеса, дальше катят.
И снова, полная красы,
Ночь благовонным югом дышит,
И свищут где-то соловьи.
И юность все на свете слышит
И говорит:

«Останови

Хоть на короткое мгновенье,
Земля, безумный свой полет,
Послушай, как в самозабвенье
Душа влюбленная поет!»

А в Харькове они прощались.
Он грустно поезд проводил,

Поехал дальше опечалясь
И бормотал:

«Опять один...»

Весь день в тумане законном
Шли степи, маревом клубясь,
Плыл террикон за терриконом,
Встал пред Егоровым Донбасс.

Глава четвертая

«Вам пишет в пыльном котловане,
Планшет на камень положив,
Попутчик Ваш, Егоров Ваня.
Устал, не спал три ночи, жив,
Здоров как черт и счастлив страшно,
Откуда счастье, не пойму.
Деремся в схватке рукопашной
С нагой землей, в пыли, в дыму.
Породу рвем и шахты роем.
Живем в вагончике, в степи.
Здесь можешь сделаться героем.
Но прежде стань звеном в цепи.
Мне это удастся слабо.
Вчера, в степи остановясь,
Со скифской каменной бабой
Делился я мечтой о вас.
Молчала страшная старуха.
Но я прочел в ее глазах
Два слова, повторенных глухо:
«Терпи, казак! Терпи, казак!»
И я стараюсь, но едва ли
Удастся: больно срок зловещ.
Меня вчера премировали
Пиджачной парой. Это вещь.
Шлю свой портрет. Спокойной ночи!
Мой адрес: город Эн. Вокзал.
Я мог бы написать короче,
Но главного вам не сказал.
Прощайте. Кланяюсь вам низко.
Привет и прочие слова».
И поперек листа приписка
Огромная:

«Ау, Москва!»

Изображен на снимке парень,
Широкоплеч и невысок,
Стоит в пиджачной серой паре
И в кепке, сбитой на висок.
Он смотрит напряженным взглядом,
Нисколько, впрочем, не смущен,
Что с каменной бабой рядом
На карточке он помещен.
Наверно, парню жарко очень.
На нем пиджак сидит колом.
Но он одним лишь озабочен:
Казаться девушке орлом.
И это парню удается,
Как будто врублен он в гранит.

И Женя смотрит и смеется
И свято карточку хранит.
Она в тетрадь ее положит,
Дневник в тетради заведет.
Одна лишь мысль ее тревожит
Что время медленно идет.
Но дни бегут, недели мчатся.
И письма Вани мчатся к ней
И беспокоят домочадцев.

И вот прошло немало дней, —
Большая роль в тетради Жени
Вся выучена назубок.
Ей скоро предстоит сраженье,
А режиссер отнюдь не бог!
Она готова к катастрофе.
Ей следует себя забыть
И грибоедовскою Софьей,
Коварной ветреницей быть.
Как это трудно! В юбке длинной
Ни встать, ни охнуть, ни присесть,
Она знакома с дисциплиной
И пылко защищает честь
Театрика, в котором служит.
Она проста, робка, тиха.
И снова голову ей кружит
Великолепие стиха.

На сцене мрачно, пыльно, грязно.
А репетиции идут
Порой толково, чаще праздно.
Проходят месяцы.

И тут,
Как раз пред самым Новым годом,
Когда расщедрилась зима
И повернула к непогодам,
Узнала Женя из письма,
Что скоро друг в Москву приедет,
Пробудет только день, чудак,
Но Новый год он с нею встретит, —
О, если б это было так!

А в жизни все бывает сразу!
Был вне себя актерский круг,
Когда решающую фразу
Внезапно выпалил худрук:
«Спектакль, конечно, грязен адски
И не доделан нами, но
Пускай завидует Завадский!
Ждем корабли. Все решено!»
Да, тридцать первого, под праздник,
Решеньем собственным прижат,
Он всю Москву премьерой дразнит.
А исполнители дрожат
И ждут суровых приговоров.

В такой-то вот недобрый час
С вокзала налегке Егоров,
Смиренно в двери постучась,
Ждал, что появится Отрада,
Та самая, что в терему...
«Ах, Ваня, я вам очень рада», —
Сердечно вымолвит ему.
...Она ушла с утра. Качнулся
В глазах приезжего весь дом.
Но, взяв записку, он очнулся
И буквы разобрал с трудом:
«В театре в левой кассе пропуск
Мне страшно приходи я жду».
И он бросается, как в пропасть,
В прицеп трамвайный на ходу.

Театрик маленький, районный,
Смпренный пасынок Москвы,
Еще никак не ободренный,
Провозгласил: *иду на вы!*
Премьера. Запах краски, клея.
На сцене — свет. В партере — тьма.
Актеры, млея и шалея,
Играют «Горе от ума».
Толст Фамусов и подл Молчалин.
И так же, как сто лет назад,
Как Чацкий, пылок и печален,
Егоров близкой встрече рад.
Он сел в седьмом ряду, не дышит,
Ждет не дождется: где ж она?
Классические ямбы слышит...
И вдруг — нарядна и нежна,
Совсем другая и все та же,
Что и в вагоне той весной.
А рядом с ним в зловещем раже
Ценитель шепчет записной:
«Какая ж это Софья! Просто
Сплошной, простите, Моссельпром!
Ей не хватает даже роста!» —
И вечным чиркает пером.

Но что-то юное дохнуло,
Плеснуло ветром и весной,
Она ресницами взмахнула,
Глазами синими блеснула —
И смолк ценитель записной.
«Ах, Чацкий, я вам очень рада!» —
И смотрит мимо, не любя.
«Так вот за подвиги награда!» —
Егоров шепчет про себя.
Нет, Чацкого он не играет.
Не жметя тенью у колонн,
Но, как и Чацкий, он сгорает,
Подавлен, сумрачен, влюблен.

Меж тем худрук Руслан Людмилаин
(По паспорту Степан Блинов)
Исправить что-либо бессилен.
Он знал, что замысел не нов,

Что исполнители моложе,
Чем полагается им быть,
И, сидя сбоку в темной ложе,
Он трясся: быть или не быть!
И сразу дернулся наш Гамлет,
Вонзив на сцену острый взор:
Что там за чушь Молчалин мямлит?
Что Софья вертится? Позор!
Как он поверить мог злодеям!
Увы! В такие вечера,
В такие ночи и седеем
Мы, молодые мастера!
Москва и хочет и не хочет
Признать неопытных птенцов,
И щурится, и перья точит.
А между тем в конце концов
Дан занавес раз двадцать кряду,
Отхлопали семь сотен рук.
Мрачнеет, словно выпил яду,
Соперничающий худрук.

Решила труппа, что сегодня
Домой немислимо, нельзя!
«Встречаем праздник новогодний
На сцене!» —
«Правильно, друзья!»

Читатель-резвенок, будь чуток,
Повеселись и погрусти
Насчет коловращения суток
Трехсот шестидесяти пяти.
Двенадцать бьет на Спасской башне,
И на твоих часах сейчас
Две стрелки с точностью всегдашней
Сойдутся, фосфором лучась.
Что это значит? — Это значит,
Что постарели мы с тобой.
Пусть Новый год еще не начат,
Но в непогоде голубой,
В декабрьской лютой непогоде,
Трубящей в трубы за окном,
Звучит печаль о прошлом годе,
О времени, о нем одном.

Вздохнем и мы, хоть и украдкой,
О том, что жизнь летит вперед,
Что даже этой ночи краткой
Придется согнуть в свой черед...

И вот раздвинут стол дощатый,
За коим час тому назад
Трудилась сплетня без пощады
И Чацкого низвергла в ад.
Горят софиты. Пляшут тени.
Дым папиросный. Толкотня.
Содом. Нескладица. Смятенье.
Стаканы сдвинуты, звеня.
Пьют за победу молодежи,
За первый проблеск мастерства,
За то, чтобы судила строже
Виды выдавшая Москва,
Чтобы среди ее сокровищ
Театрик юный не завял,
Чтобы однажды Немирович
Его праправнуком назвал.
И за фанерною колонной,
Усевшись прямо на холсты,
Какой-то критик благосклонный
Пьет с Репетиловым на «ты».
Пока параболами пробок
Шампанское летит во мглу,
Подавлен, сумрачен и робок,
Егоров прячется в углу.
Но за столом он рядом с Женей!
Но в общем шуме и дыму
Он тоже выиграл сражение:
«Я рада», — сказано ему.
А Женя, гордая успехом,
С увядшей розой на груди
Оборвала соседа смехом
И шепчет Ване: «Погоди!»
И в этом шепоте шутивом
Он услышал победный гимн.
Но, смыта вальсом, как отливом,
Она проносится с другим.
И ясно чувствуют товарки:
Пренебрегла она чужим...

Но он услышал шепот жаркий:
«Мы через полчаса сбежим!»
Одна лишь ночь у них. Как много,
Чтобы людские тени две
Прошли походкой легкой в ногу
По снежной праздничной Москве!

Метель поет, слепя глаза им:
«Что подарить вам? Чем помочь?»
«Мы сами этого не знаем.
Так не стихай, метель, всю ночь!»
Метель поет:

«В каком веселье
Я встречу раннюю зарю,
Когда на близком новоселье
Все окна вам осеребрю!»
Они в ответ:

«Еще далеко
До новоселья нам идти.
Мы и не ждем дороги легкой.
Так не стихай, метель, мети».

И на безлюдном перекрестке,
Где в звездном нимбе фонаря
Лишь бертолетовые блестки
Сшибаются и меркнут зря,
Там новогодние скитальцы
Прощаются на долгий срок,
Глаза в глаза и пальцы в пальцы.
А мир по-прежнему широк,
И кубок снежной бури плещет
И пенится для них одних.
Но девушка еще трепещет:
«Так это вправду мой жених?»

«Да, милая. Не бойся счастья.
Жди. Будь спокойна и тверда.
Мы входим в жизнь и будем частью
Ее великого труда.
Я напишу тебе оттуда,
И ты ответишь мне туда.
А через год случится чудо.
Да или нет?» —

«Конечно, да!»

И опрометчиво и твердо
Звучат два шепота в тиши,
И в третий раз, и в раз четвертый,
И в пятый раз:

«Прощай! Пиши!»

• • • • •

«Лесная глушь. Речная глина.
Мхи. Папоротник. Дым костров.
Но я писать не буду длинно,
Тем более что нездоров,
Весь день валяюсь в малярии.
От хины звон в ушах и гул.
И сутки вот уже вторые
Мой продолжается прогул.
Я вижу вас за синей дымкой
Сквозь эту мокрую листву.
Лечу под шапкой-невидимкой
За вами в знойную Москву...
И может быть, чем черт не шутит...
Простите, сердца не сдержал.
Сейчас меня ознобом скрутит,
Согнет в дугу и бросит в жар...

Прошло три дня. Я продолжаю.
Работы уйма. Но, увы,
Со мною рядом ты, чужая,
Верней сказать — чужая вы.
Читаю много книг. Ответа
Ищу и в книгах и в себе:
Как это мать жила без света
Одна со мной в сырой избе?
Как это в Пруссии Восточной
Отец мой без вести пропал?
Как это я в тиши полночной
Метался на печи, не спал?
Как вырос? — Если я не сгинул,
То не от жизненных щедрот
И не особый жребий вынул,
А просто жил, как весь народ.

Читаю Ленина. И знаю,
Что эти красные тома
Мне завещала мать родная,
Мне подарила ты сама,

Крепчал мороз. Январским утром
В Колонный зал ребята шли
И перед человеком мудрым
Склонили знамя до земли.
Шел каждый со своим отрядом.
Но я отбился от своих
И, может быть, с тобою рядом
В слезах ребяческих притих.
И может быть, в седой метели
Рыдала с нами тишина.
И может быть, слезами теми
Вся паша юность решена.

Еще один кусок былого:
Совсем малыш, я сжат толпой,
Стою на площади Свердлова.
А Ленин провожает в бой
Красноармейцев. Женья, Женья!
Я ничего не понимал.
Но этот день — мое рождение.
И если был я слишком мал,
То с той поры окрепли нити
Меж сиротою и людьми.
Поверьте, Женья, мне, поймите,
Верней сказать — поверь, пойми!

Поселок наш построен спешно,
И уютен наш барак.
Гудок осипший безутешно
Вопит в дожди, в промозглый мрак,
За Ладогу. Но этот холод
Могучей полон доброты.
Он очень чист и очень молод.
Он полон будущим. А ты?..»

«А я? — она себя спросила,
Не дочитав еще письма. —
Так что ж это? Какая сила
Мне помешала? Я сама!»

Не надо было долгих сборов,
И через сутки, встав от сна,
Разбужен «молнией» Егоров:
«Сегодня еду. Жди. Жена».
Так на московском телеграфе
Из «Жени» сделали «жену».

Но ради полных биографий
Рассказа я не затаю,
Как стали жить они в поселке;
Как не вникал бумкомбинат
В людские домыслы и толки,
Давно ли инженер женат;
Как первый их ребенок не жил
На белом свете двух недель;
Как белый день не часто брезжил,
Как пела по ночам метель;
Как Женя плакала, томилась,
Искала дело и нашла,
И вдруг сама же умилилась,
И в школу в ранний час вошла
И робким голосом спросила,
Кто сказки Пушкина читал.
И целый класс — большая сила! —
Пред нею лесом рук восстал.

В январский день в морозном дыме
Звучали бодро голоса,
Казались очень молодыми
Седые хвойные леса.
На крохотной дощатой сцене
Звенел до сумерек топор.
И Женя в страхе и в смятенье
Вела со школьниками спор:
«Не смеет смеяться! Вон из клуба!
Молчать! Не трогать ничего!»
Но как же было Жене любо
Готовить это торжество!

Сто лет назад на Черной речке
Дуэльный черный пистолет
Ударил в сердце без осечки, —
Нам слышен выстрел за сто лет.

И человек упал. И ветер
Запел о том, что Пушкин жив.

Поселок годовщину встретил,
Цветы к портрету положив.
На сцену вышла Женя. Строго,
Не видя лиц перед собой,
Читала «Зимнюю дорогу»,
Татьяну и Полтавский бой
И под баян романс пропела.
А рядом тесною гурьбой
Дрожала школьная капелла,
Чтоб ринуться за Женей в бой.
И слушатели «бис» кричали,
Оттопав валенки свои,
Во славу пушкинской печали,
Во славу пушкинской любви.
И среди них Иван Егоров
Ногами топал, как и все.
Он обомлел от разговоров
О милой для него красе.
Так юность кончилась. Так мерно
Шли годы, полные трудом.

И вот снесен барак фанерный,
Построен двухэтажный дом.
То было время их расцвета,
Хороших встреч, полезных книг.
Зимой суровой веря в лето,
Оно работало на них.

Встречая день обыкновенный
И проводив его уход,
Летело время над вселенной.
Был близок сорок первый год.

Глава пятая

Война, война! Смешалось с кровью
Декабрьской вьюги серебро,
Оцененело Подмосковье
Пред сводками Информбюро.

Война! На тихом полустанке,
Так нам знакомом с детских лет,
Гудериановские танки
Вдавили гусеничный след.

И вот, незримо и упорно,
Как рост озимых в снежной мгле,
Как жар, раздутый в сердце горна,
Вставал, намеченный в Кремле,
Час перелома.

Шли составы
Сибирские через Казань.
Щетинились в ежах заставы.
Сбирались группы партизан
По подмосковным перелескам.
И Зоя, может быть, уже
Последней спичкой, беглым блеском
Лес озарив на рубеже,
Шла по нетоптаному снегу.
И снег осколками стекла
Казался ей. А вдоль по небу
Ракета каплею текла.

Спокоен город, сдержан город.
Не спит ночей рабочий люд.
Но вот прожектором распорот
Полночный мрак. Зенитки бьют.
В ответ на зов сирен натужных
Ревут бризантные басы.
В слепящих вспышках, хлопьях вьюжных,
Полна невиданной красы,
Восьмисотлетняя, седая,
В канун борьбы и торжества —
Такой запомню навсегда я
Тебя, военная Москва.
Ты с каждым часом молодеда,
В своей решимости тверда,
И правое, простое дело
Ты делала, как и всегда.
И кажется, что по привычке,
Которая древней Москвы,
Копали стойкие москвички
Противотанковые рвы.

Андрей Григорьич как-то вышел
По черной лестнице во двор
И неожиданно услышал
Ночных дежурных разговор,
Что в переулке Трехколенном
Взрывной волной снесен на днях
Стоявший сотню лет нетленно
Дворянский ветхий особняк.
«Как вы сказали? В Трехколенном?»
Учитель обмер и обмяк.
И побежал по переулкам,
Мотая космами седин,
С горящим взглядом, с сердцем гулким
Андрей Григорьич Бороздин.
Так молодость его и память
Взрывной волною снесены!
Решил он боль переупрямить
И посмотреть в лицо войны.

Он долго рылся в пепле, в щебне
И в кучах битого стекла,
Нашел потрепанный учебник
И бросил в снег его со зла...
Но, горькой жалостью ужален,
Учитель старый вздрогнул вдруг,
Когда нашел среди развалин
Произведенье детских рук,
Когда в измятой бедной глине,
Упавшей в грязь и вмерзшей в лед,
Заметил точность ясных линий,
Отважной выдумки полет.
Он вспомнил, как Егоров Ваня
В год двадцать первый иль второй,
Парнишка не без дарованья,
Занятой тешился игрой —
Лепил, строгал, клеил, корежил,
На всех и все ожесточась,
Одних смешил, других тревожил...
Но как он жизнь в дальнейшем прожил?
Как след его найти сейчас?
Андрей Григорьич вспомнил смутно
Того смешного паренька,

Он вспомнил молодость попутно
И затуманился слегка.

...А старший лейтенант Егоров
Шел по нетоптаной тропе
Вдоль заметенных косогоров,
По направлению к КП.
Все было тихо, — чист и чуток
Метели медленный полет,
Не потревожен первопуток,
Не заметен стеклянный лед,
Не пуганы в кустах вороны..
А там река, за ней леса —
Кольцо московской обороны,
Прифронтная полоса.
А к западу, в полях открытых,
В туманной, мертвенной дали,
В траншеях, только что прорытых,
К земле фашисты приросли.

Егоров веником лохматым
Снег с полушубка отряхнул,
В избу ввалился с автоматом
И комиссару козырнул.
«Заледевели, друг? Откуда?»
«С передовой». —

«Как там дела?»

«Идут ни хорошо, ни худо.
Погодка, видно, подвела.
С той стороны молчат, не лезут —
Пригрелись, может быть, в снегу,
Примерзли, может быть, к железу,
За них ручаться не могу».
«А наши?» —

«Доложу, что, в общем,
Приказа действовать мы ждем,
На положение не ропщем
И в нужный час не подведем».

И сразу оба замолчали.
И, чтоб молчанью их помочь,
Торжественно к снегам причалив,

Декабрьская притихла ночь.
И сразу вспомнился обоим
Ненастный мрак, промозглый дождь,
Тишь деревень, спаленных боем,
Скелеты облетевших роц,
Тяготы маршей бесконечных,
Несчетных беженцев беда,
Фанерных звезд пятиконечных
Сиротство в поле навсегда...
Но не унынье, не усталость,
Лишь равнодушие к себе
Да совесть чистая осталась
У двух людей в пустой избе.
И только правдой, только жаждой
Правдивым быть перед собой
Мог в эту ночь держаться каждый,
Кто выходил на смертный бой.
А рядом лес метался хвойный.
Казалось, гибель он таит,
Казалось, войны, только войны
Идут с тех пор, что мир стоит.

Со стен избы, со снимков тусклых,
Глядели, выправку храня,
Солдаты войн недавних русских,
Хозяев ближняя родня.
Тот в бескозырке и со скаткой,
Или в буденовке другой,
Иль третий с тульской трехрядкой,
Красавец статный, грудь дугой...
Как много их, мужей и братьев,
Отцов, зятьев и сыновей,
Вставало, часу не потратив,
В защиту родины своей!
Они пришли из Подмосковья
В Маньчжурию иль на Стоход,
Поили землю жаркой кровью, —
И вот уже который год,
Под стеклами, в цветах бумажных,
В зеленых веточках хвои,
Бессмертны в дружестве отважных,
Россия, первенцы твои!

И грустно было, что нельзя их
Позвать к солдатскому столу,
Что рядом нету их хозяев,
Которые сейчас в тылу,
Что только дед, сухой и хворый,
Покряхтывает на печи,
Не вмешиваясь в разговоры,
Пока толкуют москвичи.
Но комиссар окликнул деда,
И, приосанясь хоть куда,
Тот стоя выпил за победу,
Еще не близкую тогда.
Вошел связной. И брови сдвинул
Над извещеньем комиссар,
И карту из планшета вынул,
И план в блокноте набросал.
«Как видно, дела дождались мы!
Сегодня утром — наш черед.
Что ж, лейтенант, напишем письма
В тыл недалекий — и вперед».
Они ремни стянули туже,
В дорогу тут же собрались,
Сошли с крыльца и в лютой стуже
По-братски молча обнялись.

А между тем во мраке звездном,
За далью дымно-голубой,
В лесу притихшем, в поле грозном
Все выжидало: скоро — бой.
В торжественно настороженных,
А для иных — в последних снах
Солдаты помнили о женах
И знали: это добрый знак.
В землянках, в избах, по окопам,
На дальние десятки верст,
Молчали, пели, сбившись скопом,
Тот балагурил, этот мерз.

Егоров дверь толкнул в блиндажик.
Там смолкнул говор, стихнул смех.
Все встали. Ждут, что старший скажет.
Он начал, оглядев всех:
«Мы наступаем на рассвете.

Как настроение, друзья?»
И кто-то коротко ответил:
«Порядок».

И, плотней нельзя,
Бойцы столпились в жарком круге.
Он ясно видел их черты,
Большие жилистые руки,
Спокойные глаза и рты.
Так вырастила их природа
Для созиданья и труда,
Детей великого народа,
Не дрогнувшего никогда...

Однако было все гораздо
Скромней и проще в этот миг.
Какой-то паренек вихрастый
Сказал начальству напрямик:
«Мать только мной живет и дышит.
Так в случае беды какой
Пускай толково ей напишут,
Поберегут ее покой».
В ответ Егоров осторожно
Погладил парня по плечу.
А парень (тихо, сколько можно):
«Я в партию вступить хочу».
Тогда бойцы переглянулись,
И расступился тесный круг,
И к коммунисту потянулись
Семь или восемь жестких рук.
Он молча припаял заявленья
И руки жесткие пожал...
Цвет молодого поколенья,
Ты слово данное сдержал!
И под Москвой, и в Сталинграде
Был вехою в твоей судьбе
Листок заветный из тетради:
«Встаю в ряды ВКП(б)».

Егоров вывел роту. Плечи
Свел утренний ему озноб.
И где-то далеко, далече
Взвился ракет немецких сноп.

Обрисовались еле-еле,
Глаза бессонные слезя,
Дымки, воронки, лапы елей...
Но их узнать еще нельзя.
И вот в окопах слышен смутный,
Нескладный, слитный говорок.
Все дело в паузе мимолетной.
Еще не день. Еще не срок.
Слегка дрожат стереотрубы,
Нацелив к западу рога.
В стекле двоится контур грубый,
Дымятся линии врага.

Часы сверяя по вселенной,
Как будто время сжав в горсти,
Пошло по всей семье военной:
«Без четверти».

«Без десяти».

«Без четырех».

«Без двух».

Как сухо

Во рту у сотен человек.
Какое напряжение слуха.
Как жутко трепетанье век.
Как ты прекрасна в предрассветный,
В неповторимый этот час,
Душа всей армии несметной,
Единая у всех у нас!

И вот, ни далеко, ни близко,
За синим лесом, за бугром
По первой линии фашистской
С размаху бьет уральский гром!
Светает. Вспыхнул шар багровый.
Проснулась, ждет вестей Москва,
Всей правотой своей суровой
Ждет в это утро торжества!

В трапезях смолкли все. Впезапно
Рванул Егоров кобуру,
Скомандовал:

«Вперед, на запад!» —

И на пронзительном ветру,
Окинув поле быстрым взглядом,
По насту плотному скользя,
Пошел вперед. А сзади, рядом,
Дыша всей грудью, шли друзья.
И расступился сумрак мгlistый.
Просвет открылся голубой.
Колхозники и металлисты
Вступили в бой. И ГРЯНУЛ БОЙ.

По всей равнине белоснежной
Шли пехотинцы напролом.
Метель их прикрывала нежно
Своим сверкающим крылом.
То были дети поколенья,
Единственного на века,
Которому товарищ Ленин
Путь указал с броневика.
И, в точном цейсовском прицеле
Всю дальность охватив зараз,
Враг наудачу, по метели
Прицеливаться дал приказ.
Но цепи русских шли в метели,
Не шли, а наплывали в ней,
Не папывали, а летели,
Все неотступней и грозней.
Иные вскидывали руки,
Как будто вспыхнув изнутри,
И затихали в смертной муке
В неясных отсветах зари.
Другие пробивались молча,
В крови, в поту, в снегу, в дыму,
Под пулями, под стужей волчьей,
С лица земли сметая тьму, —
Туда, где в муке и в печали
На черных горах кирпичей
Из пепла черного торчали
Столбы обрушенных печей,
Туда, к ступенькам сельсовета,
Дрожа от счастья и слез,
Они дошли снопами света!

Так наступленье началось.

...Мать! Погляди! Вон твой сыночек
Подкошен пулею пальной.
Ты помпшишь, сколько зимних ночек,
Пока метался он больной,
Ты перед образом молилась,
Чтобы очнулся он, ждала.
Ты все надеялась на милость,
Потом сама в жару слегла.
Сыпняк скрутил тебя в неделю...
И взрослый сын твой в забытыи
Припомнил, как похолодели
Худые рученьки твои.

Сейчас он спит. Над ним другая
Склонилась женщина сейчас.
...Все расстояния сдвигая,
То погасая, то лучась,
Бред продолжается. Как странно!
И время кончилось, и жизнь.
Сплошная тьма. Сквозная рана.
Прощай. Прости. Нет! Продержись!

...Он чувствует одно: не сгину.
Пробьюсь вперед, не пропаду.
Так вот зачем, сгибая спину,
Привыкший к страшному труду,
Жил мой отец, и дед, и прадед,
Зачем я сам дышал и рос,
Зачем меня тихонько гладит
Ладонью жаркою матрос.

Матрос убит, но тоже должен
Подняться, яростно дыша.
Где? Под Москвою, за Поволжьем,
Или у берега Иртыша,
Или на Куликовском поле,
Или на озере Чудском,
Полузадохшийся от боли,
В передовой цепи, ползком,
Он снег жует. И реет знамя
Багряное... И он встает.
РЕБЯТА, НЕ МОСКВА ЛЬ ЗА НАМИ! —
Еще в мозгу его поет.

И снова рухнул наземь, сиюсь
Не позабыть, не задремать...

...Века над спящим проносились.
Склонялась над младенцем мать.
Менялась тьма в своих оттенках.
Смерть не смыкала жадных глаз.
В сырых гестаповских застенках
Боль улеглась, кровь запеклась.

...И вновь захлебывался кровью
Упавший зауртво матрос.
И все огромней, все багровей
Бред разворачивался, рос.
Кровь била колоколом в уши,
Долбила долотом в виски.
Всплывали очертанья суши,
Рождались вновь материки.
А Океан плескался в чаше,
Мелел в убожестве своем, —
Тот величайший и тишайший,
Который смертью мы зовем.

Три раза смерклося и светало,
Был полон стопами санбат.

Хирург протер глаза устало.
«Ну как дела? Очнулся, брат?»

И медленно открылись веки.
Еще не слыша, не дыша,
В простертом навзничь человеке
Опять затеплилась душа.

Он приподнялся еле-еле,
Пытаясь громко зауртвить.
Но час прошел, пока с постели
Прошелестело:

«Дайте пить!»

Глава шестая

Он пробыл месяц в лазарете,
И снова дрался, снова жил,
А в сорок третьем орден третий
Под Белгородом заслужил.
И на одном из трудных маршей
Впервые понял он сполна,
Что стал на полстолетья старше,
Таким же старым, как война.
Но так оброс дубленой кожей,
В таком обуглился огне...
Нет! Он не старше стал — моложе
В конечном счете на войне!

Он дома побывал однажды.
И быстро отпуск промелькнул.
И, как задохшийся от жажды,
Он к милой женщине прильнул,
К хлебнувшей горя в эти годы,
К осунувшейся и худой
И, несмотря на все невзгоды,
Для мужа вечно молодой.
Когда кончалась в напряженье
Отечественная война,
Узнал он из посланья Жени,
Что маленького ждет она.

Сливались месяцы и числа
Под гул военных непогод.
На ледяную выйдя Вислу,
Он встретил сорок пятый год.

Одна из многих биографий.
Нет резких поворотов в ней.
Я украшать ее не вправе.
Но тем правдивей и ясней
Пускай она живет в поэме.
Пускай ее неслышный рост
По главам движется, как время, —
Где прямо вброд, где через мост,

Прошло вчера. Приходит завтра.
Мне представляется порой,
Что Время — славный мой соавтор,
Что Время — главный мой герой.
Оно и спорщик, и советчик,
И будний день, и торжество,
Враг приблизительных словечек,
Друг вдохновенья моего.
И я, прислушиваясь к взмахам
Его широких, шумных крыл,
Покончил с леностью и страхом
И книгу Времени раскрыл.

Москва, Москва! Расти и стройся
В рубинах звезд, в алмазах льда,
Зеленой порослью покройся,
Останься вечно молода!
Мы пред тобой, пред всей державой
Присягу выполним свою,
Держа равнение направо,
Как полагается в строю.
Мы трудимся, и это значит,
Что в мире кончилась война.
Наш мирный праздник только начат.
Земля зазеленеть должна.
Жена должна родить ребенка.
Ребенок должен подрасти.
Он завтра засмеется звонко,
Как будто держит мир в горсти.

Еще не демобилизован,
Узнал советский человек,
В каком огне горит грозовом
Неразминированный век.
Егоров в боевых походах
О возрасте позабывал
И права на короткий отдых,
Как все мы, не завоевал.
Он комендантом был два года
В австрийском сонном городке.
Гудела ночью непогода.
Черпел на вымершей реке
Моста обрушенного остов.

Мещане дрогли на ветру
Среди развалин и погостов.
Преступник прятался в нору
И вылезал с гримасой брюзглой
На перекошенном лице.
Какой-то патер заскорузлый
Вопил о мировом конце.
Встречались личности и хуже:
Дельцы международных сфер
Выпытывали неуклюже,
Простак ли русский офицер.
Он видел также и другую
Европу — горя и труда,
Когда, открыто митингуя,
Перекликались города,
А на плакатах и знаменах
Сияли русские слова,
На языках разноплеменных
Звучало рядом: «Мир», «Москва».
Так миновала эта вежа, —
Сорок шестой, седьмой, восьмой.
Все ближе середина века.
Пора Егорову домой!

И вот, согласно расписанью
Кончая скоростной транзит,
Машина по небу как сани
В сугробах облачных скользит.
И обозначились пред спуском
Природы северной куски,
И на шоссе, прямом и узком,
Ползущие грузовики,
И мелкий ельник Подмосковья,
И даль в тумане, и поля,
И отвоеванная кровью,
Трудом вспоенная земля.
Он должен был себе признаться,
Что гулко бьется под ребром,
Когда снижался ИЛ-12
На Внуковский аэродром.

Егоров знал, что сын и Женя
Живут на Пресне у родни,

И шаг по мере приближенья
Замедлил, как в былые дни.
Он прошагал по всем Садовым
По меньшей мере два часа.
Меж тем, как назло заколдован,
Рассвет еще не начался.
И не жилая, не живая,
Не городская тишь вокруг.
Ни пешеходов, ни трамвая...
Он вышел к Кудрину.

И вдруг

Читает на большой афише:
Е. Н. Егорова — она!
Видать, взбирается все выше,
И все, чем жизнь была красна,
И все, что прожито за годы,
Чем женщина крепит семью,
Все радости и все невзгоды
Она вложила в роль свою...

И вдруг опомнился он: «Странно!
Один по городу брожу,
Как холостяк. Нет, слишком рано,
Сейчас се не разбуду...»
Но сердце нежно и отважно
Уже колотится в груди.
Но липы уличные влажно
Прошелестели: «Разбуди!»
Гудок, донесшийся с окраин,
Пропел: «Пора, давно пора!»
Решили тучи, что пора им
Одеться в золото с утра.

Светало трепетно и нежно.
Казалось, новый день встает
И вглядывается прилежно —
И города не узнает.
Светало медленно и мглисто.
Казалось, время вышло в путь
И перед кручею скалистой
Оно должно передохнуть.
И воробьи, чирикнув дружно,
Слетели с липовых ветвей.

И кирпичи стены наружной
Сейчас же стали розовой.
И дом, и двор, и дверь, и серость
Пролетов лестничных под ним —
Все словно надвое расселось
И стало легким и сквозным.

Не задохнуться только, не за...
...Дохнуть только бы сейчас!
«Простите, кажется, я лезу
В чужую дверь, не постучась?
Квартиры... Сбиться так легко в них.
Я их забыл в краю чужом».
«Ах, что вы! Здравствуйте, полковник!
Вам надо выше этажом».
Не задохнуться только в этом
Пробеге по ступенькам вверх!
И вот он светом, только светом
Сердцебиенье опроверг.
Вошел. Столкнулся с кем-то. Скинул
Фуражку. И увидел вдруг
И всем существованьем сгинул
В кольце ее горячих рук.
А мальчик маленький проснулся
И, что-то быстро лопоча,
Встал, потянулся и коснулся
Рукой отцовского плеча.

Страх и восторг в ребячьем взгляде —
Как два прожекторных снопа.
Ремни на гимнастерке глядя,
Он засмеялся, крикнул: «Па...»
И что-то лепетал простое,
Но непонятное другим,
Пел, на прямых ножонках стоя,
Свой бессловесный длинный гимн,

И оба взрослых замолчали.
Пришла для счастья череда.
И счастье их трудней печали,
Труднее всякого труда.
Но тем полнее и свободней
Необходимо им вздохнуть,

Что все в их комнате сегодня
Напоминает прошлый путь.
Вот он, двадцатилетний парень,
Широкоплеч и невысок,
Стоит в пиджачной серой паре
И в кепке, сбитой на висок.
Она, актриса-героиня,
С увядшей розой на груди,
В широком, шумном кринолине.
А жизнь, как прежде, впереди...
Как потускнели снимки эти,
Как пожелтели на свету
В течение двух десятилетий...
Но как похожа ТЫ на ТУ!

И обнял он ее за плечи,
Не прячет мокрого лица
И ждет. И нет конца их встрече.
Да и в поэме нет конца.

Глава седьмая

Лист ватмана на стол наколот.
Очинены карандаши.
В окно стучится резкий холод,
Необходимый для души.
На перекур в домашнем круге
Достаточно пяти минут.
И снова к делу рвутся руки,
Кромсают, ладят, чертят, мнут.
Что годы! Канули, и нет их —
Ни одного. Прошли, как дым.
Над человеком в зрелых летах,
Почти седым, но молодым,
Одна простая страсть, навеки
Неутоленная, царит,
Один сквозь сомкнутые веки
Заветный замысел горит:
Сжать до предела мысль. Представить
Ее точней, прочней, ясней.
«Да ты не спал еще!» —
«Да я ведь
Сегодня утром справлюсь с ней!»

И вспомнил он, как в детстве раннем
Увался к решенью напролом,
С каким безудержным стараньем
Корпел ночами за столом.
То было творчество! И ясно
Он вспомнил все до точки:

...тут

Речною лентой опоясан
Московский Кремль. А там идут
Театры, памятники, арки,
Трибуны, башни, корпуса
Жилых домов, большие парки,
Лесных массивов полоса...
А надо всей Москвой, нетленен,
Наполовину в облаках,
В лучах зари изваян Ленин,
Снял кепку, мнет ее в руках, —
Как будто вновь слова бросает
И каждым словом горячей
Сближает, держит, потрясает
Милльоны новых москвичей.
Как Ленина ясней представить?
Как выразить любовь свою?
«Да ты опять не спал!» —

«Да я ведь

Еще в строю, еще в бою.
Затем и дрался под Москвою,
Был ранен, но остался жить,
Чтоб в это утро снеговое
Москве на совесть послужить».

Но он прервет в смущенье фразу,
Проглотит громкие слова
И распахнет окно, и сразу
Пред ним откроется Москва.
Вот, вот они — театры, арки,
Трибуны, башни, корпуса
Жилых домов, большие парки,
Лесных массивов полоса;
Вот, выгнув сомкнутые дуги,
Восстали в каменной красе
Стремительные виадуки
Над лентами прямых шоссе;

Вот в пятнах зелени и света,
Раздвинув два больших крыла,
Постройка университета
Холмистый берег заняла.

И вновь, прерывистый и яркий,
Сквозь черно-синюю листву
Зеленый свет электросварки
Внезапно озарит Москву —
Всю, до подробностей. Отпрянув,
Замрет на полсекунды он.
Суставчатые руки кранов
Поднимутся со всех сторон.
Во рвах, что следует прорыть ей,
Движенье за день задержав,
В стальных квадратах перекрытий
На двадцать пятых этажах —
Везде, во всем он прочитает
Работу сверстников своих,
Ту, о которой сам мечтает...

Егоров сел за стол, притих...

Другими, стало быть, добыто
Сегодняшнее торжество,
Прообраз завтрашнего быта,
Мечта заветная его.
Чертили, стало быть, другие
И, пробивая грудь земли,
И в сказках и в металлургии
Решенье верное нашли.
Как много детских рук корявых
Рвалось к труду и знало труд, —
Вот он, неукротимый нрав их,
Его столетья не сотрут.

А он? Он разве не был тут же?
В любом краю, в любой стране,
Под лютым зноем, в зверской стуже
Стоял он с ними наравне.

И трезво, весело и просто
Он скажет: «Как там ни крути,
Мне, может, не хватает роста,
Но предстоит еще расти».
Отвергнув все, что отвлекало,
Все, что тревожило, убрав,
Возьмет линейку и лекало,
Начнет с азов и будет прав.

...В том переулке за Арбатом,
Где столько раз встречались мы,
Открылось зрелище ребятам
К исходу нынешней зимы.
На месте вытоптанном, чистом
Исчезло все за десять лет —
След бомбы, брошенной фашистом,
И дома рухнувшего след.
И вот пустырь, глухой и голый,
Забором срочно обнесен.
Постройка новой средней школы
Начнет строительный сезон.
Подтаял рыхлый снег, и тут же
Его трехтонки увезли.
И тяжело дышит после стужи
Сырой и терпкий пар земли.

Пришел Егоров. Это было
В апрельский день. Уже весна
Во все рога свои трубила,
Не знала отдыха и сна.
Успех Егорова был скромен:
Он спроектировал с трудом
Взамен театров и хоромин
Пятиэтажный школьный дом.

Ну что ж! Лиха беда начало.
Он ликовал недели две:
Постройка школы означала,
Что служит он родной Москве.

Проснувшись нынче спозаранку,
Побрился, как пред боем, он,

Почистил орденскую планку
На гимнастерке без погон
И вышел утром, глядя в лица
Людей, теснящихся вокруг!
И думал: «Выручай, столица!
Ты тоже выросла не вдруг».

Конечно, не кирпич, не цемент
Привлек внимание детворы,
Когда еще в глухую темень
Молчали ближние дворы.
Ребята встали у забора,
Невероятных ждут чудес.
И слышатся обрывки спора,
С утра начавшегося здесь:
«Кино!» —

«Да нет же!» —

«Да смотри же,

Вот это главный их актер,
Вон замахал руками, рыжий!»
«Да не актер, а репортер!»
«Не репортер — киномеханик!»
«Да никакое не кино!»
И двадцати ребят дыханье
Тревожно и учащено.

Действительно, еще до света
Увидел милиционер,
Что старцы университета
На стройке делают обмер.
И среди них, как мы заметим,
Знакомец давний наш один, —
Весь поглощен занятьем этим
Андрей Григорьевич Бороздин.
Тут археологи сегодня
Поставят временный редут,
Разроют грунт, положат сходни,
На кости дедов набредут.
Читатель знает: так бывало
На многих стройках, на метро —
Все возвращалось из обвала,
Что время прятало хитро.

Но надо рыть смелей и глубже
И одолеть культурный слой.
Тогда земля по давней дружбе
Откроет клад заветный свой.
И в перегоне поколений
Тогда нащупает смельчак
Полуистлевших свай крепленья,
Полуобрушенный очаг;
В обжиге черной ломкой глины
Узнает вещие следы
И по складам прочтет былины
Чернорабочей слободы.
Как под землею залежалась
Свистулька глиняная та,
Какая грусть, какая жалость!
Какая тьма и немота!
Здесь гончары всю жизнь ютились
И клали печь у мерзлых ям,
Трудились, плакали, крестились,
Грозили обухом царям.
Здесь медленно и неизбежно,
Сквозь толщу векового сна,
Копилась в ярости мятежной
Неотвратимая весна.

И вот на белый свет выходит
Сам великан-мастеровой,
С Москвы горящих глаз не сводит,
Касаясь тучи головой.
В Твери, в Рязани или в Коломне
Погиб он триста лет назад.
Всмотрись в него, Москва, и вспомни:
Он твой строитель и солдат.
Он лил mortarы, плел рогожу,
Чеканил гривну, щебень бил.
Ему тавро клеймило кожу,
И смертный пот ее дубил.
Когда же в затхлой тьме ночлежки,
Под кучей смрадного тряпья,
Таясь от полицейской слежки,
Сложил он песню про тебя;
Когда, от муки хорошея,
Неподнимал он грозных глаз

И дико на мужицкой шее
Тугая жила напряглась;
Когда без паспорта он выбыл
За сотни верст, на сотни лет
В Сибирь, на каторжную гибель,
Когда опять нашелся след, —
Как ты узнала, как сумела
Вглядеться в суженого ты,
В его лицо, белее мела,
В изнеможенные черты,
Как ты звала его!..

И снова

Рос материнский сын в избе,
Праправнук деда крепостного,
Чтоб молодость отдать тебе.
Быть может, встретил юный Горький
Его на Волге майским днем,
Быть может, старый ткач с Трехгорки
Расскажет многое о нем.
И с баррикад декабрьской Пресни
Кричал он:

«Жди меня, Москва!

Когда-нибудь ты вспомнишь в песне
Мои последние слова!»

Так говорил Андрей Григорьич,
Затеяв с мрачным прошлым спор.
Любил он воздух людных сборищ,
Любил и пафос с давних пор.
Склонясь над вырытою глиной,
Косясь на ямины и рвы,
Он делал истово и длинно
Ученый экскурс в глубь Москвы,
Все слушали, и дети тоже
Притихли, очень удивясь.
Он кончил:

«Я не подытожу

Короткой повести для вас.
Но вы простите выступленье
Стареющего москвича.
Пусть молодое поколение
Меня не судит сгоряча».

И вот Егоров обернулся,
Подносит руку к козырьку,
Едва заметно улыбнулся
И кланяется старику.
Но сомневаться начинает.
Потерян в прошлом зыбкий след...
Узнает он иль не узнает
Бороздина чрез тридцать лет?
Старик в измятой рыжей шляпе,
Во мненье общем вознесен,
Смеется, мальчика облапил...

Егоров вспомнил обо всем!
«Вы живы. Вы такой, как были.
Таких других не может быть,
Конечно, вы меня забыли,
Должны были меня забыть...
Я Ванька! Я к вам постучался
В дом для голодной детворы.
Не жизнь прошла, а век промчался
Для нас обоих с той поры».

Они глядят в глаза друг другу.
Им нелегко найти слова.
Над ними простирает руку
Виды видавшая Москва.

Они прошли с десяток улиц
Рука в руке, плечом к плечу,
На автора не обернулись
(Я обижаться не хочу).
Им впору по коленкам хлопать,
И похохатывать слегка,
И все, что было, что могло быть,
Оценивать издалека.
Иль осушить по кружке пива,
Присев за столик где-нибудь,
И, помолчав, неторопливо
Опять пуститься в разный путь...
Была случайностью их встреча,
А жизнь полна случайных встреч,
И, жизни не противореча,
Дальнейшим можно пренебречь!

Я сам их встретил ненароком.
Так время властное велит
И шумом слитным и широким
Нам ум и сердце веселит.
На полуслове кончив повесть,
Оно помчится напролом
И, к повороту не готовясь,
Взмахнет сверкающим крылом.

И ринутся навстречу книги,
Постройки, площади и рвы.
Смотри! В любом коротком миге
Живет история Москвы.

Каким бы ни был миг и сколько
По совести ни значил он,
Как он ни крохотен, — он долька
В огромном грохоте времен.

Ну так пойдем, товарищ старый,
Полюбоваться в час ночной,
Как черным лаком тротуары
Блестят под мокрою весной.

Вон тот с вокзала, тот приезжий,
Или приезжая вон та
Полны одной любовью свежей.
Их юность только начата.
Могло бы многое случиться
В такую сказочную ночь.
Но время мчится, время мчится,
И скоро ночь умчится прочь.

Ну так пойдем, товарищ старый,
Смотреть, как первый день весны
Высушивает тротуары
И гонит снящиеся сны.

Смотри, как сон метнулся жалкий
И наземь лег, от ветра пьян,
Как жадно голуби и галки
Ныряют в синий океан,

Как резко очертанья веток
Рисуются на синеве...
Ну, так простимся напоследок,
Читатель, в утренней Москве!

Над Пушкиным, над Моссоветом —
Безоблачная вышина.
И значит, светом, только светом
Моя задача решена.

В его струении лучистом,
Былое с будущим сдружив,
Я буду пристальным, и чистым,
И молодым, пока я жив!

ОКЕАН

Поэма

ВСТУПЛЕНИЕ

Еще вокруг ничто не ясно.
Не начат пир. Не создан мир.
Морской пучиной опоясан
Чуть обозначенный Памир,

Крошится остов динозавра,
Зеленым илом занесен.
Что впереди, что будет завтра?
Когда прервется смутный сон?

Всплывают туши ластоногих
Из юных волн, как валуны,
Лежат на скалах одиноких
И лоснятся в лучах луны,

Земля, нагая и пустая,
Глядит в безмерный водоем.
В земле железо спит, мечтая
О грозном будущем своем.

В ней камни спят, чтобы в соборах
Лечь полукружьем гладких плит.
В селитре спит гремящий порох,
В шумящих соснах мачта спит,

Все бессловесно и безмозгло, —
Пучина, берег, облака.
Ничей не слышен дерзкий возглас,
Даль неоглядно далека,

Дымится зной. Века влачатся
И, ненавидя свой покой,
Ждут не дождутся дня и часа,
Чтоб стать историей людской.

*

Здесь будет Азия. Прихлынет
На запад смуглая орда,
И вновь свои кочевья кинет,
Забвеньем прадедов горда.

И в упоительном дыханье
Полыни, в песенке цикад
Потухнет быль о Чингис-хане,
Как тухнет вечером закат.

Земли несытая утроба
За костяком сожрет костяк.
Здесь будет юная Европа
Гулять у времени в гостях,

Она придет, огнем багрима,
Под скучный звон колоколов,
Наследье мертвенного Рима
На государства расколов.

Потом взовьется дым косматый
Сквозь черный башенный пролом.
Последний рухнет рыцарь, смятый
Тяжелым мельничным крылом.

...В последнем рыцарском романе
Осел у стойла заревел.
Видна Америка в тумане,
За парусами каравелл.

И — люди верят, что целебен,
Что вечной полон доброты, —
Седой, соленый, пенный гребень
Бьет в европейские порты,

ГОВОРIT ЖЕЛЕЗО

Люди!

Я жду вас в глубинных пластах.
Я лежу неподвижно и сплю бездыханно
В педрах, спрессованных намертво,
В ломаных трещинах тысячелетних пород.

Люди!

Я жду кузнеца и охотника,

Жду Ганнибала,

Жду Цезаря,

Жду Чингис-хана.

Дайте мне вырваться только на волю!

Проснуться!

Родиться!

Войти в мировой оборот!

Рвать и кромсать!

Иступиться в могучих руках!

Одряхлеть от могучих зазубрин!

Слышите, люди!

Мне хочется встретиться с вами.

Рожайте детей.

Высекайте огонь из кремня.

Рано иль поздно, когда бы то ни было,

В бешеный пурпур пожара разубран,

Вырастет он, мой Хозяин,

Похожий лицом, опаленным в огне, на меня!

(Железо вырвалось из-под земли и продолжает.)

Ты, может быть, сначала и оглохнешь

От грохота кузнечного и лязга.

Ты, может быть, сначала и ослепнешь

От красных искр, секущих, как пурга.

Ты, может быть, сначала и отступишь.

Но как потом зубами ты ни ляскай,

Меня сожмешь ты потными руками,

Взмахнешь клинком

И выйдешь на врага!

(И, уже ржавое от крови, одряхлевшее от зазубрин, оно продолжает.)

Но разве это все, чем я владею?

Но разве ты не весел и не молод,

Хозяин, разве ты не прост, как волны,

Не быстр, как свет,

Не прочен, как руда?
Возьми, Хозяин! Вот мои подарки.
Возьми топор, мотыгу, серп и молот.
Я стану лучшим из твоих подручных.
Я буду петь на знамени труда.
Не извращай моей природы доброй,
Не приучай меня к смертельным ранам.
Остерегись!
Не становись тираном!
Ты кончишь Лиром в рубище худом.
Я кликну младших братьев —
Мы восстанем!
Придем к тебе!
Пробьем врата тараном,
Ворвемся с вилами и топорами
В твой башенный, в твой корслевский дом.
Найди меня среди пахоты весенней,
В дремучем сердце северного леса,
На крутобедрых волнах океана,
За отголоском песни ветровой,
Всмотрись, Хозяин, в добрый блеск Железа.
Услышь, Хозяин, добрый звон Железа.
В твоей крови я окисью возникну, —
Я твой слуга.
Я исцелитель твой.

РОЖДЕНИЕ КЛАССА

Косматая зыбь ложится коврами.
Атлантика мерно бьет в берега.
Встает в трехсотлетней тяжелой раме
Картина рожденья класса-врага.

Встает лицо в густой светотени:
Купецкий сын, разодетый в шелк,
Скрывая алчность, пряча смятенье,
На карте мира точку нашел.

Сервантеса иль Шекспира сверстник,
Едва поверив насытым глазам,
Он водит пальцем в рубиновом перстне:
Вот моя Индия! Вот мой Сезам!

На рыжем бархате кровь незаметна,
На черной совести пятен нет.
Да будет во веки веков бессмертна
Любая пригоршня звонких монет!

В торговом деле, признанном всеми,
Участвуют верные псы короля.
Мы вышли в путь. Мы посеем семя,
Пускай от крови тучнеет земля.

Взойдут на земле кабак и контора,
Бойни, и биржи, и банки взойдут,
И ради открытого настежь простора
Большой пожар еще будет раздут.

Торопясь до земли безвестной добраться,
Перережут глотку любому, кто жив,
Ни могил.
Ни свадеб.
Ни веры.
Ни братства.
Вырастай, кривая легких нажив!

Так плыли и гибли,
Плыли и гибли —
Герои, жулики, священники, рабы.
Давали клятву на шпаге, на Библии,
Писали вдоль борта:
«Не убий».

Причаливали новые.
Дробили глыбы.
Вырубали чащобы.
Расшибали лбы.

Куда ни осели,
Где ни залегли бы,
Вколачивая столбы,
Писали:
«Не убий».

Писали *«Не убий»* на скалах, на стенах,
На ядрах, летящих из пушечного жерла.
Но шло убийство за ними, как тень их,
И тень их самих понемногу жрала.

Свирепые идола царя Монтесумы
Глядели с ужасом на белых гостей,
На их прибылей шестизначные суммы,
На черные груды обгорелых костей,

За племенем племя,
За легендой легенду
Выжигали дотла,
Заметали след,
Чтоб платному их разъездному агенту
Вольготно жилось через триста лет,

Ацтеки,
Гуроны,
Ирокезы,
Инки
Отступали в дебри, в расселины скал, —
Так жадно на жирном всемирном рынке
На них оскаливался белый шакал.

Молодой материк Америго Веспуччи
Обрастал частоколом усадеб кулачья.
А меж тем новоселов мучил
Липучий
Страх, что земля останется ничья.

Не хватало кофейных и каучуковых плантаций.
Не хватало сучьев и виселичных столбов.
Не из жаркой ли Африки им попытаться
Импортировать партию черных рабов?

И вот уже в чадных, раскаленных трюмах
Последний выпит кислородный глоток,
Уже тысячи мускулистых, рослых, угрюмых
В последний раз поглядели на восток.

Уже в каком-то из следующих столетий
Фабричный гудок на заре кричал,
Что больно хлещут по спинам плети
Добытых дедами демократических начал;

Что много существует названий разных,
Прикрывших подлое званье раба;
Что, словно грибы, в предместьях грязных
Растут не дети, а детские гроба...

Вот чей-то юный мозг парализован
Смертельным током в тысячи вольт.
Вот белый дьявол в воздухе грозовом
Из-за пояса рвет шестизарядный кольт.

И взмыли желтые и синие ракеты
Над свалками и пустырями,
Когда
Сошлись к заводским проходным пикеты
Проснувшихся взрослых людей труда.

То был Океан небывалой мощи.
Но то не Атлантика с цепи рвалась.
Мы скажем прямее, скажем проще:
Рождался рабочий класс.

Штрейкбрехеры жали стачечников с флангов.
Шпики окружали их плотным кольцом.
Надесмотрщики угощали кшпятком из шлангов,
Полисмены укрощали бесплатным свинцом.

Так взамен открытого настужь простора
Незаметно выросли бойня и кабак,
Валютная биржа и банкирская контора,
И как пуп вселенной — большой бензобак.

И расселся идиолом биржевой воротила,
Волосатые ноги задрав на стол.
Ненасытная пасть разжевала и проглотила
Весь океанский простор.

КОНЧЕНА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

Вильсон в Версале был бодр и восторжен.
Только почувствовал вкус дележа,
Вырос он пред Клемансо и Ллойд-Джорджем,
Как первоклассный и третий ханжа.

Высказал все. Замолчал.
И как будто
То не заморский молчит джентльмен,
То шестирукий щурится Будда,
Ныне и присно,
Вне перемен.

А Клемансо, облизнув под усами
Пену улыбки, отдельно сказал:
— Сударь! Мы очень чувствительны сами,
Но не за чувством пришли в этот зал.

Мы европейцы. Мы дряхлая раса,
Полная прихотей, кривд и химер.
Но, —
Клемансо вдохновенно затрясся, —
Заокеанский нам нужен пример!

Ибо, —
И сдвинул косматые брови,
Старый, четырежды стрелянный тигр, —
Жаждет земля человеческой крови,
Жаждет Нерон гладиаторских игр.

Ибо, —
Оратор, слегка задыхаясь
И захрипев, продолжал горячо, —
Если Россия низвергнута в хаос,
Значит, война неизбежна еще!

Ваш океан — это мелкая лужа
Там, где решаются судьбы веков.
Слушайте! —
Кровь престарелого мужа
Лихо взыграла. —
План мой таков!
Нужен кордон санитарный и стужа,
И за стеной европейских штыков
Голод и холод блокады все туже
Против, —
Он выкрикнул, —
Большевиков!

Впрочем, я выдвинул общую тезу,
Завтра в подробности план облеку,
Я для начала выбрал Одессу.
— Нет, —
Процедил англичанин, —
Баку!

Вильсон заерзал и дернулся в кресле,
К влажным очам прижимая платок:
— Дело существенно двинется, если
Мы упомянем про Дальний Восток.
Где-то на запад от нашего Фриско
Дальний Восток помещается,
Но,
Будь он далеко от нас или близко,
Действовать нам сообща суждено.
Не пожалеем издержек и риска,
Раз мы решили стоять заодно.

Я созерцаю пространства России.
Это решительно стоит труда:
В землю уйдут детишки босые —
Вылезут кверху нефть и руда!

Честный и чопорный,
Черствый и чинный,
Вильсон воздел указательный перст.
— Знайте, что мрак океанской пучины
Для христиан милосердно отверст.

Вы обозвали меня фантазером,
Прозвищем худшим меня нарекли.
Знайте, что вижу я внутренним взором
Ныне и присно,
Вблизи и вдали:
Два океана, подобно озерам,
Бережно нежат мои корабли!

Тут европейские политиканы
Крякнули,
Но, продолжая молчать,
Встали и сдвинули молча стаканы.
И разгласила немедля печать,

Что властелины друг другом довольны,
Что своих карт ни один не таит,
Что на земле не предвидятся войны,
Что человечеству мир предстоит.

За полночь трое в старинном Версале,
Сверив счета, подводили итог.
Кротко упреки друг другу бросали.
Смачивал Вильсон слезами платок.
Краткие реплики их потрясали
Мертвенный зал, королевский чертог.
Каждый впивался в блокнотный листок.
Тусклый рассвет разливался в Версале...

Днем интервенты пошли на восток.

КОНЧЕНА ВТОРАЯ МИРОВАЯ

Только что над Волгой и над Сеной
Стихнули военные шторма,
Где-то на Атлантике осенней
Пенный хвост оставила корма.
Чист и солон океанский воздух.
Вьются флаги в полосах и звездах.
Выкатив свинцовые глаза,
Джентльмен на запад смотрит зорко:
Там за дымом, за дождями, за
Доками — громадина Нью-Йорка.
Все подробней, бешеней, крупней
Свистопляс неоновых огней.

Джентльмен своим коллегам втайне,
Но весьма усердно, подчеркнул,
Что не ждет ни чинопочитанья,
Ни команды бравой «на краул».
Звон литавр? Салют из пушек? Бросьте!
Он причалил к родственникам в гости,

Джентльмен садится в лимузин,
Зыркнув глазом, замечает сухо:
— Что это за сборище разинь?
Слишком много у людей досуга,

Как пробиться нам сквозь толкотню?
Нет! Я выступленье отменю!

Цепи полисменов прорывая,
Люди пляшут, плачут и орут:
— Кончена вторая мировая!
Здравствуй, праздник!
Здравствуй, мирный труд! —
Но навстречу, контуры смывая,
Двигается завеса дымовая.
Дымную завесу прорывая,
Тут же песня кем-то сложена:
— Кончена вторая мировая!
Здравствуй, мама!
Обними, жена!

Джентльмен спокоен,
Уповая
На завесу дыма, на свинец:
— Кончена вторая мировая?
Будет третья!
Это не конец!

Джентльмен доволен:
Мистер Фрумэн
Благосклонен и благоразумен.
Джентльмен смеется:
Мистер Ферст
Свояка поддерживает мощно.
Джентльмен хохочет:
Вновь отверст
Грешный бар с танцующей полунощной.
Джентльмен ликует:
Час настал,
Чтобы влезть ему на пьедестал.

Кто же он?
Пигмей иль великан?
Воротила партии иль треста?
Всех монет подделает чекан.
Переменит подданство и место.

В водочный уместится стакан.
Над опарой вылезет, как тесто.
Свой в Египте. Дома у Балкан.
Он посеет бурю у Триеста,
Чтобы замутился океан.

Толстенский,
Поджарый,
Многоликий,
Как асфальт, обкатан он и сер.
Вот уже на нем скрестились блики
Сильных фар.
Под бешеные клики
Вылезает на трибуну сэр.
— Джентльмены! Я собрал улики,
Что на свете есть СССР!

Слушает заокеанский зал.
Джентльмен с улыбкою любезной
Продолжает:
— Я не все сказал.
Дело в том, что мы стоим над бездной.
Дело в том, что думать бесполезно.
Дело в том, что только первый залп
Продырявит занавес железный!
Гром оваций,
Под свистки и вой
Некий капп с видом окаянным,
Поджигатель третьей мировой,
Произносит речь за океаном...

Разве важно, сколько лет назад
Океан шумел, играя люто?
Был на биржах, в банках суций ад.
Всюду насмерть падала валюта.
Гангстеры глядели из засад.
И под гром победного салюта,
В праздник мировой внося разлад,
Джентльмены попытались круто
Повернуть историю назад.

С той поры они нам и грозят.

КТО Ж ОН ТАКОЙ?

Рассказ о человеке будет сух,
Не выверен на музыкальный слух,
Но точно вычислен до цента,
Сменяйтесь же, неумолимо мчась,
Дни и года!
Не за горами час —
Всему придет переоценка.

Рассказ о человеке будет сжат.
Смотрите!
В нем, как штабеля, лежат
Года, прошедшие недавно.
И человек, проживший те года,
Проснется ночью,
А над ним вода, —
Все затопившая бесславно.

Идут года.
Растет кумир семьи,
Любимец деда, мальчик лет семи.
Есть у него картинки в книжке,
Футбольный мяч и самодельный лук.
Вся жизнь, весь мир —
Большой цветущий луг,
По мнению этого парнишки.

Идут года.
Прочел он десять книг.
Лихой спортсмен, отличный ученик...
И чем отличней, чем скорее
Закончит курс наук в семнадцать лет,
Тем он удачней вытянет билет
В любой житейской лотерее.

Идут года.
Он пережил Дюнкерк.
В его мозгу значительно померк
Кровавый ад войны последней.
Живет на белом свете ветеран.
Он знает жизнь, он видел много стран,
Игрок двадцатисемилетний.

Идут года.
Широк земной простор.
И вот заправлен скоростной мотор,
И чем безумней, чем скорее
Летит убийца, — тем ясней обман,
Ни океан, ни ливень, ни туман
Не смоют след его в Корею.

Кто ж он такой?
Нет имени ему,
Ушедшему в безвременную тьму,
Разбившемуся бесполезно.
На жизнь и смерть он потерял права,
Шумит сухая, пыльная трава
Над этой каскою железной.

Но не о нем рассказ.
Нет, не о нем!
Не он герой. Не он шутил с огнем.
Песчинка в бушеванье шторма,
Он не несет ответственности всей
За то, что бомба «Мейд ин ю Эс Эй»
За океаном ищет корма.

Иная, злая, хитрая карга
Взывает в рупора, трубит в рога,
Жизнь и свободу ненавидит,
Блаженствует за счет смертей и ран.
...В документальном фильме на экран
Ее синклит зловещий выйдет,

ГИБЕЛЬ КЛАССА

Косматая зыбь ложится коврами.
Седая Атлантика бьет в берега.
Встает перед нами в тяжелой раме
Картина гибели класса-врага.

Горят в хрустале цветные коктейли,
Сидят за круглым столом старики,
Слегка побрякали и побряхтели.
Однако время терять не с руки.

Дельцы не нуждаются в разговорах,
Да жгучих тем накопился ворох.

Они говорят про атом урана,
Но знают притом, что атом опознан.
Они говорят, что действовать рано,
Но знают притом, что действовать поздно.

На карту взгляд завидуший кидая,
Шипят про утрату рынков Китая.
И комкают карту и временами
Тоскливо шепчутся о Вьетнаме.

И кто-то пепел сигарный сыплет
На древний, смуглый, грозный Египет.

За ними на книжных полках пылятся
Легенд фолианты, папки реляций.

У них вольфрам, уран, алюминий.
Лишь выхода нет у них и в помине.

У них растущая круто прибыль,
А дальше гибель, одна только гибель.

Они признанья сквозь зубы цедят,
Они о прошлом безумно бредят.

Им снится: для их броневых эскадр
Нашелся где-то живой конквистадор.

Им снится: этот выродок тощий
Действительно полон ума и мощи.

Им снится: на парусах каравеллы
Сверкают брызги крутой волны.
И скалится чей-то лик помертвельный:
«Еще мы в хозяйстве нашем вольны!

Еще мы в хозяйстве нашем пираты!
И чем мы богаты, тем мы и рады.

У нас в руках ключи Ватикана
И весь запас золотого чекана.

Владельцы нефти, разносчики ваксы,
Британцы иль янки — мы англосаксы!»

Сидят за круглым столом джентльмены,
Как смерть мертвы,
Как боги надменны.
Жуют зловещие, веские фразы
Про авианосцы и авиабазы.

Но уже приближается к ним постепенно,
Нарастает двенадцатибалльный шторм.
Заливает вода безработной пеной
Их зеркальные окна и сукна штор.

И уже качается паркет, как шалапда,
Парусами хлопает трехсотлетний уют.
И под хохот шторма прозвучала команда:
Джентльмены сигнал воякам дают.

Есть у них новинки вроде хлопущек,
Есть хирургов и психиатров орда,
Чтоб гноить детей, от страха распухших,
Заражать любым столбняком города.

Есть у них про запас такие микробы,
Есть такой рассадник кусачих блох,
Что мерещится им — на могилах Европы
Зашумит некошеный чертополох.

Есть у них тренированные в массовых драках
Циркачи и поэты в лакейских фраках.
Есть у них философ, домашний дурак их,
На труды которого студенты плюют.
Наконец, в конурах, в лачугах, в бараках
Есть у них безработный люд!..

Как же им напоследок не учесть векселей!
Как не справиться гибель свою веселей!

И когда буги-вуги идет на эстраде —
Танки движутся по автостраде.

И когда для хозяев старается джаз —
Загудел истребитель кружась.

И когда саксофон задыхается, бляя, —
Настораживается Ассамблея.

А когда плясуны попадают в такт —
Это их Атлантический пакт!

У РАДИОПРИЕМНИКА

Вечный гул Океана!
С тобою
Я знаком на короткой волне.
Но не лунпой сонатой прибоя,
Канонадой ты кажешься мне.

Так работает кривда тупая,
Все тупей, все кривей и мертвей
Рекрутирует, оптом скупая
Где попало чужих сыновей.

Так гуляет подвыпивший янки —
Что ни шаг, то нелепей зигзаг,
И двоится лицо корейнки
У него в ошалевших глазах...

И в бессоннице лабораторий
Над отравленной колбой не спит
И, любым шизофреникам вторя,
О погибельных планах вопит.

Расщепляет урановый атом,
Оцепляет рыбацкий атолл
И, прикрученный к смерти канатом,
К черту валится, как Форестолл.

А над ним тишина грозовая.
И в зарницах слепых небосвод.
И сигналил ракета взмывая.
И в атаку бросается взвод..

Но за треском ракетной шумихи
Не Атлантика слышится мне.
Я услышал Великий, иль Тихий,
Океан на короткой волне!

ГИМН

Вечный блеск этих гребней солевых,
Вечный гул, вечный ритм
Говорит о живых миллионах,
О земле говорит.

Разноцветное марево полдня
Открывается мне.
Я ответную здравицу поднял
На короткой волне.

Сколько было вовек незабвенных,
Героических тризны!
Но пульсирует в огненных венах
Победившая жизнь.

И повсюду, от Ганга до Конго,
От Днепра до Янцзы,
За ударами медного гонга —
Шум толпы, гул грозы!

Люди! Дайте же руки друг другу!
Ждет вселенная вся!
Мы пройдем по планетному кругу,
Знамя правды неся!

Мы велим океанам соленым,
Чтоб, вздымая валы,
Они юношам пели влюбленным
Песню вечной хвалы!

Чтобы ластился с нежною лаской
Белопенный венчик
У экватора иль за Аляской
У девических ног!

Чтобы волны всегда голубели
Для рыбачьих сетей
И учились качать колыбели
И баюкать детей!

Пусть откликнутся волны эфира
Тут и там, там и тут!
Пусть отныне владыкою мира
Будет труд, только труд!

Вековая мечта человека
Жадно ждет торжества.
Каждый день — это новая веха,
К новой песне слова.

Середина двадцатого века.
Существует Москва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пять Океанов — три лазурных чаши,
Две чаши, скованные льдом.
Пристанище пожизненное наше,
Веками выстраданный дом.

Отсюда человечество впервые
Упорно всматривалось в тьму,
Меж тем как все раскаты штормовые
Грозили гибелью ему.

Здесь звал Колумб ораву бесшабашных,
Бесштаных, бешеных бродяг:
— Рвань! Надоело гнить в тюремных башнях,
Ворочать камни за медяк!

Что расставанья, что «Титаник» хрупкий,
Идущий замертво на дно,
Когда на каждой капитанской рубке
Венчанье с вечностью дано!

Один предел у страннической жажды —
Планета, зримая для глаз.
Но, сброшенная с трех китов однажды,
Она в Галактику рвалась.

И вырвалась! И Млечный Путь над нею,
За непостижной высотой,
Был все доступней людям и виднее,
Как океан ее шестой.

И в ультрафиолетовом сиянье,
Испепеляющем глаза,
Всем мальчуганам спились марсиане,
Их водных станций бирюза.

План самый дальний, самый дерзновенный
Едва намечен был в умах.
И кровь стучала, раздувая вены.
Был страшен крыльев первый взмах.

И цели хрипло петухи спросонок
В тот ранний час на всей Руси.
...Земля, земля, вся в дамбах и кессонах,
Ты за шеломенем еси!

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ ВТОРОЙ

БАЛЛАДА-РЕПОРТАЖ

Мы были в доме художника,
В бельгийском городе Дамме,
В том самом, где с Уленшигелем
Бродяжил Ламме Гудзак,
Где некогда перед ратушей,
Каналами и садами
Шли гезы, борцы за Фландрию,
С голодным блеском в глазах.

Четыре века покоятся
В земле солдатские кости.
Забыты распри и пиршества.
Лишь сказка живет о них.
Мы были в доме художника,
Поэты, русские гости.
Контакт сосуществования
Меж нами быстро возник.

Хозяин — парень насмешливый,
Изящный и расторопный,
В рубахе желтей подсолнуха,
Со шрамом косым на лбу —
Открыл холостое логово,
Показывал нам подробно
Холсты на старых подрамниках,
Свой труд и свою борьбу.

Свисали с балок обугленных
В плащах со шпагами куклы,
Мерцала лампа, запаяна
В охотничий карабин.

Мерцали багряным отблеском
В холодном камине угли,
А может, то были карлики
В ночи подземных глубин.

«Хотите взглянуть на Брюгге? —
Прервал хозяин молчанье. —
Но, чур, не спешить осматривать
Собор и старый музей.
Заедем сначала в госпиталь.
Там лечится англичанин:
Тоскует бедный приятель мой
Без виски и без друзей».

Монашки в крахмальных чепчиках
Надменно и кислото
Следили, как шли мы четверо,
Бутыль с бургундским неся.
Был воздух насыщен святостью,
Как йодоформом вата.
Казалось, что злобно щерится
На нас обстановка вся.
Обняв худыми ручищами
Худые свои колени,
На койке сидел хворающий,
Простуженный великан.
Конечно, не ждал он нашего
Внезапного появления,
Он ждал одного бургундского
И сдвинул с нами стакан.

Потом легонько откашлялся
И, запахнув свой ворот,
Смешал согласные с гласными
И выплюнул их, чудак,
Прибавив для полной ясности:
«Я есмь разрушенный город»,
И мы воскликнули:
«Ковентри?»
«О йес, совершенно так!».

Разрушенный город выглядел
Как Гамлет, чуть поседевший.
Наивный, с глазами светлыми,
Он пил спокойно вино.
Минут пятнадцать, не более,
У койки его отсидевши,
«Гуд найт!» —
Сказали мы четверо,
И стали прощаться... Но...

Вот тут нам в глаза и бросилась
На стуле у койки узкой
Истрепанная та книжица,
Заметная птица та.
Мы смотрим: что за диковина!
Язык-то, кажется, русский —
Ведь это повести Пушкина
Без титульного листа!

И вот уже мистер Ковентри
Блаженно смотрит в лицо нам.
И мы на него уставились,
Изрядно поражены.
Итак, с неплохим учителем —
Смотрителем Станционным —
Он эти ночи беседовал
По повеленью жены.

У фермера Дигби Ковентри
Жена, представьте, волжанка.
Решили они воспитывать
По-русски своих ребят.

Бьет полночь.
Сиделка гонит нас.
А нам расставаться жалко.
Нам Трубы Русской Поэзии
Вдогонку бурно трубят.

Машина летит стремительно
По старой земле Европы.
Горят рекламные зарева,
В каналах блики дробят.

Иль впрямь это гномы трудятся
В ночи подземной утробы?
Но Трубы Русской Поэзии
За нами бурно трубят.

Трубят нам на узких улицах,
Где все товаром забито.
И Симонов ищет в Бельгии
Того бельгийца-борца,
Что спас татарскую рукопись
Из камеры Моабита, —
Пусть помнят Джалптя-смертника
Читательские сердца!

Мы ищем друзей.
Мы веруем
Свято и без оговорок
В содружество человеческих
Искусств, ремесел, наук.
Еще мы не знаем адреса,
Но он нам заранее дорог,
Он здравствует, этот старенький,
Почтенный пушкинский внук!

Но славный старец хоронится
От русских гостей в Брюсселе,
Трясется над старым ларчиком,
Забился в жалкий уют.
А Трубы Русской Поэзии
Поют в бессмертном веселье,
О братстве между народами
В Европе они поют.

Поют нам Трубы Поэзии
В прохладных музейных залах,
Где пляшет старая Фландрия
На брейгелевском холсте,
Поют в номерах гостиницы
И на многолюдных вокзалах,
В разреженном синем воздухе
На нужной нам высоте.

БАЛЛАДА О ПРОПАГАНДЕ

В соборе в Брюгге, в городе старом,
Пречистые девы и короли,
К алтарным вратам прильнув недаром,
Безбожный век надменно кляли.

В киоске рядом, в обложках разных,
Пестро раскрашенных под лубок,
Лежали книжки, которые в праздник
Ребятам плет милосердный бог.

Здесь были легенды и описанья
Творимых римской верой чудес,
И предсказанья и предписанья
Валялись не раскуплены здесь.

Наш спутник, грешной жизни сторонник,
Пред тем как дальше нас повести,
Сказал, полистав одну из хроник,
Одно из этих дивных житий:

«Вот вам предсмертный лепет гиганта,
Последний всплеск обмелевших волн,
Вот вам монашеская пропаганда,
Наш город этим издавна полн.

Но мы не верим, скажу по чести,
Ни богу, ни дьяволу — ничему,
Ни крепкой брани, ни цепкой лести,
Ни верным женам в нашем дому.

Недавно немцы, клыки оскалья,
На нас поставили грубый сапог,
Одних убили, других ласкали,
Трубили: «Хайль Гитлер!» и «Хенде хох!»

А мы на свастику ноль вшманья.
Пускай убийцы у нас в гостях!
Мы им показали фигу в кармане
И выжили. Разве это пустяк?

Явились американцы — гости
Открытой жадности, явной злости,
Без околичностей, без прикрас.
Но разве мы им поверим? Бросьте!
За все нам платят на этот раз.

Народ наш с десяток жизней прожил.
Прошел сквозь сотню узких ворот,
Он все запомнил, все подытожил,
Все цифры сложил или перемножил, —
Он очень опытен, наш народ!

Мы верим в ценности средних качеств,
Не карлики, не гиганты, но
Живем зажиточно, не артачась,
Разводим розы и пьем вино.

Пускай на рынках давка и гонка,
Божба и ругань, и гул и гам,
Удары в морду и пенье гонга,
Богини Ганга, идолы Конго, —
Мы служим обедни всем богам.

Скажу о самом себе напоследок!
В порядке дело свое держа,
С любимым дружка, хотя и брюзжа,
Я должен нажиться так или эдак,
Я — Старый Скептик и Буржуа.

Пусть кровь стучится в живые вены,
Дымится трубка, греет жилет!»
...И расхохотался он, откровенный,
В конечном счете — обыкновенный,
Пузатый, низенький, средних лет.

БАЛЛАДА О ПОЭЗИИ

Поэт пригласил нас в гости.
Его кабинет сверкал
Отливом слоновой кости
И блеском пустых зеркал.
Лишь магнитофон отменный,
Слуга его и кумир
Конструкции современной,
Вмещал в себе целый мир.
Стоял этот новый Будда
На столике небольшом,
Протертый до блеска, будто
Реальных качеств лишен.

Бока его нежно глядя,
Изящным торсом клонясь,
В глаза нам любезно глядя,
Поэт приветствовал нас.
И, с важностью чародея
И с ловкостью циркача
Вниманьем нашим владея,
Воскликнул он, хохоча:
«Чтоб запись мою прослушать,
Закроем дверь на засов,
Забудем и спать и кушать
В течение многих часов.

Пускай убегают сутки,
Летит Земля по кривой, —
Сдадимся, мутясь в рассудке,
Поэзии мировой!»

Так он предложил, и тотчас
Мы сели, крикнув «ура»,
Чтоб слушать, сосредоточась,
Как действуют мастера.
Хозяин выбрал бобины,
Включил вращенье — и вот
Послышался рев глубинный
Каких-то подземных вод.

И сразу же, как ни странно,
На дальнем краю Земли
Под шумный джаз ресторанный
Седые дожди пошли.
Там женщина неживая
Для спутников неживых
Картавила, завывая
Под пенье струй дождевых,
И каркала, что погибла,
И кажется, сам Верлен
Отчаянно, жадно, хрипло
Рыдал у ее колен.

Нам скучно стало, но тут же
Раздался победный гик:
«Не бойтесь посмертной стужи,
Послушайте и других!
Раздвину для вас не в меру
Магический кабинет,
И слово даю Гомеру!»
Но мы отвечали: «Нет!
Гомера назад отправьте!
Гоните бессмертных вон!
Не нравится нам, по правде,
Загробный магнитофон!»

Поэзия! Где ты? Кто ты?
Зачем твой день отсверкал?
Немедля покинь пустоты
Волшебных этих зеркал!
Разбей у него посуду
И адрес его забудь!

Беги, бедняжка, отсюда
На улицу, в добрый путь!
Оденься звездным сияньем,
С полночной слейся толпой,
Осмелся жить подаяньем.
И смейся. И плачь. И пой!

БАЛЛАДА СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ

Потерять дорогу в Брюсселе
Было мне легко в эту ночь.
Слишком низко дожди висели
И любезно взялись помочь.

Вот в зеркальном окне тумана,
Как в свеченье морского дна,
Завязалась глава романа,
Показались Он и Она.

Впрочем, что ж глазеть и дивиться,
Если в центре чужой страны
Элегантный хлыщ и девица
Так нарядны и так стройны,

Если взгляд ее влажный томен
Из-под загнутых вверх ресниц,
Если жест его важный скромн,
В соблюденье должных границ.

Но ошиблась моя баллада!
Он внезапно к ней подошел
И сорвал — о, исчадь ада! —
С нежных плеч золотистый шелк.

И пока несчастная робко
К наготы привыкла своей,
Отвинтил, как винную пробку,
Белокурую голову ей,

А красавица промолчала,
Не кричала: «Как смели вы!»
Лишь торчала пучком мочала
У нее взамен головы.

Растоптав па полу окурок,
За туманом он скрылся вдруг
С головой ее белокурой
И с ветвями обеих рук.

Я спросил сквозь стекло у торса:
«Что случилось, мадемуазель,
Как он в ваше доверье втерся,
Не посажен на цепь досель?»

Потерпевшая отвечала,
Золотой мочалкой тряся:
«Завтра днем я начнусь сначала,
Освещенная солнцем вся.

Даст он голову мне другую
И в другой разоденет шелк,
Ибо, модным блеском торгуя,
Конкурентов он превзошел.

Да и мне менять не впервые
Цвет волос, и глаза, и честь.
Зеркала у нас не кривые,
Отразят меня всю как есть.

И приказчики и агенты
Зарубежных торговых фирм
Раструбят обо мне легенды
Завтра днем в мировой эфир!»

Замолчала она. И зданья
В ожерельях цветных огней
Заменяли ей мирозданье
И раздвинулись перед ней.

А затем и зданья осели,
Затопили асфальт моря.
От Брюсселя вплоть до Марселя
Водарилась кукла моя.

Так надменна, так неизменна,
Так доступна страсти мужской,
Родилась Анадюмепа
Из кипящей пены морской.

Вся под стать Безрукой Милосской,
Лишь она осталась в живых
За стеклом, отразившим плоско
Испаренья луж дождевых.

ЗАПАД — ВОСТОК

О, запад есть запад, восток — восток.

Киплинг

Да, запад есть запад, восток — восток,
Прочна жежевая вежа.
Недаром британец подвел итог
В конце минувшего века.

Недаром шторм изгрыз берега
В Гонконге и в Ливерпуле.
И желтый в белом видел врага
И в джунгли бежал от пули.

А белый видел сплетенье жил,
Костей и мускулов крепость.
И он в предприятие свое вложил
Расчетливость и свирепость.

Но наша Земля недаром кругла,
Летит она не напрасно,
И нет на Земле такого угла,
Где кровь не была бы красной.

И желтый кули, и черный бой,
И белый докер при встрече
Легко находят между собой
Понятное им наречье.

Встречаются люди в дальнем пути,
Как волны света и тока.
И если прямо на запад идти,
Вернешься домой с востока!

НА ТРОПИКЕ РАКА

Как он короток, этот вечер;
Как бесшумно и как внезапно
Девяносто процентов влаги
Навалились на землю тьмой;
Как бесшумно и как нещадно
Солнце двигается на запад,
Чтоб нырнуть в открытое море,
В первозданный хаос, домой!

Как неистово прорастают
Узловатые эти корни;
Как сработана ювелирно
Этих тонких пальм прямота;
Как сцепляет природа пары,
Как сплавляет породы в горне,
Как выдумывает новинки,
То причудлива, то проста!

Только люди повсюду люди,
Веселы они иль печальны,
Золотая у них смекалка,
Золотые руки у них.
Вот кончается ровно в полночь
Для кого-то обряд венчальный.
Запевает песню о жизни
Не желающий спать жених.

Мать-Земля! Мы тебя узнаем
На любой твоей параллели, —
Небоскреб, иль хижину в джунглях,
Иль раскопки на месте битв.
Сколько сказок тебе сложили,
Сколько песен в тебе сгорели,
Ибо каждое поколение
Благодарность тебе трубит!

Сколько раз тебя оцепляли
Ржавой проволокой колючей;
Сколько раз напалмом сжигали
Каждый акр и любой вершок;
Сколько раз границы кроили;
А недавно случился случай —
Превратить тебя собирались
Всю в космический порошок.

Только ты не даешься в руки
Этим хищникам, как бывало, —
Охранительница и нянька
Колыбелей и птичьих гнезд,
Наших свадеб и хороводов
Заводила и запевала,
В пестрых бабочках, в ярких розах,
С ниткой жемчуга, с горстью звезд!

Мы идем по твоим дорогам,
Безоглядно молодость тратя.
Мы твоим урожаям служим,
Бережем твою красоту, —
Мы, добытчики руд несметных,
Мы, соратники и собратья,
В рваных робах и гимнастерках,
В пятнах нефти, в седьмом поту.

СОРОК ТРЕТИЙ ГОД

Он шел по руслам высохших речек,
Карабкался, полз, пробивался в джунгли,
Безвестный подпольщик, смелый разведчик
С глазами, тлевшими, будто угли.

Ни звезд, ни огня. Только пляска зарев
Да пепел и дым, свисающий плотно,
Взрывная волна, внезапно ударив,
Швыряла его на ил болотный.

Японцы по нем из дотов били,
Гнались на бредущем, как за дичью.
Серее пепла и мельче пыли,
Он сам не знал о своем величье.

И снова шел, невзрачный и гибкий,
И дважды погиб, и воспрянул дважды,
И скалил зубы, но не улыбкой,
Нет, это было оскалом жажды.

Онпил захлеб из коричневых лужиц
И песни пел о подругах смуглых,
Качался от голода, знал, что служит
Последним связным с подпольем в джунглях,

Он знал, что где-то сзади иль рядом —
Сегодня двадцать, а завтра двести —
Его двойники с недвижимым взглядом,
С женой, с ребенком, с буйволом вместе

Идут все ближе, дышат все чаще,
Растут безмерно, шепчут бессонно,
Как шелест листьев в пальмовой чаще,
Как пенье ливня, как свист муссона,

Качаясь, теснясь, дрожа, лихорадя,
Идут на север, на север с юга.
...В тот самый день и час в Сталинграде
Трубила победу волжская вьюга.

И русский солдат в маскхалате белом
Дождался яркого снежного полдня.
Фон Паулюс швырнул на стол парабеллум
И вялые руки, как кукла, поднял.

Тогда солдат с усмешкою горькой
Сказал «камрад» ему для приличья
И поделился с пленным махоркой.
Он сам не знал о своем величье.

...Разведчик шел, пробивался в джунгли,
Карабкался, полз, повинуюсь долгу.
С глазами, тлевшими, будто угли,
Еще не знал он про русскую Волгу.

Но Красной реки широкая пойма
Была рыжа и мутна от крови.
Разведчик полз, не узнан, не пойман,
Он рос, казалось, с тучами вровень.

На сжатых губах его и на скулах
Синела тень и алело пламя.
Меж тем вверху в исполинских гулах
Летело время, ширяя крылами.

И вот перед ним в шоссейном кювете
Простерт, с огнестрельною раной в ребрах,
Француз-пехотинец. Не он в ответе
За сотни тысяч деяний недобрых.

Вьетнамец с земли приподнял беднягу,
Сказал «камрад» ему для приличья
И приложил к губам его флягу.
Он сам не знал о своем величье.

А ранних зорь золотое убранство
Всем небом над ним уже владело.
На двух концах земного пространства
Одно творилось правое дело.

Ничтожны все расстоянья пред этим!
И если мы землю сегодня пашем,
И если мы песни поем и пляшем,
И если друг друга сегодня встретим, —
Мы знаем все о величье напем.

В ГОСПИТАЛЕ

7 ноября 1958 года я был в советском госпитале Красного Креста в Ханое и поздравил с праздником Великого Октября двадцатидевятилетнюю героиню Южного Вьетнама Чен Тхи Ли.

Так вот ты какая, калачиком сжалась
На койке больничной, ребенок слабый,
Так вот ты какая — смотреть-то жалость.
Сама не знаешь своей завтрашней славы.

Позволь мне к ножкам твоим прикоснуться,
Поверить в тебя, в твое грозное чудо,
Себе самой позволь улыбнуться,
Ты, бывшая мертвой, вернись оттуда!

«Прости, товарищ, я еще не вернулась.
Прости, мне еще возвращаться рано.
Ты видишь сам: искалечена юность,
Все тело мое — горящая рана.

На крюк повешена, током ошарашена,
В петле задушена, на землю брошена,
Была я, как стебель, железом скошена,
Пять раз палачом-собакой допрошена.

Когда ж он заметил, что дышу я снова,
Затрясся палач и завыл по-волчьи.
Но он не дождался ни единого слова,
Не вырвал стога — умерла я молча.

Соседи-узники одели в лохмотья
Мое недвижимое, мертвое тело.
На голом полу в тупой дремоте
Я двадцать суток в пропасть летела.

Потом умирала от жгучей жажды,
От тошной боли и сильного тока.
Потом воскресала я не однажды,
Когда заря вставала с востока.

Советский товарищ, кто бы ты ни был,
Прости, прощай, меня время торопит.
Я жить останусь, несмотря на гибель.
Пожалуйста, расскажи обо мне в Европе!..»

СКАЗКА О ДРАКОНАХ И ТИГРАХ

Не ради каких-нибудь мирных идиллий
Свирепые тигры по джунглям бродили.
Шло время. Эпоха сменялась эпохой,
И голодно тиграм бывало и плохо.
Недаром коты эти рыжие хрипло
Рычали, что вся их порода погибла,
А в сказках вертели хвостом умышленно
При встрече с любой девчонкой влюбленной.
И люди слышали, как тигры мурлычут,
Когда их ласкают и кисонькой кличут.

От века драконы ширяли крылами,
Пустив из поздрей разноцветное пламя.
Тела моряков, что просолены штормом,
Казались им попросту лакомым кормом,
Но, выбрав скалу зеленой и уютней,
Дракон опускался с певучею лютней
И, встав маяком на граните отвесном,
Фарватер давал кораблям неизвестным,
Потом, юбилейную дату отстукав,
Кончал биографию сказкой для внуков.

Давно дрессирована злобная стая.
Живут инвалиды, ничем не блистая,
Кряхтят иждивенцы с глазами навыкат
Поблизости пагод, подальше от выгод.
А тут иностранцы, пе веря и веря,
Слоняются около древнего зверя.
И целятся пейсом, и судя по снимку,
Им лестно сниматься с драконом в обнимку.

Вчера я в заброшенной пагоде встретил
Старуху, усердно жевавшую бетель.
Совсем окосев от жеванья такого,
Старуха глядела на нас бестолково,
Качала в ответ на приветствие наше
Головкой, наголо бритой, монашьей,
И, кончив качать, завопила фальцетом
На всех сорванцов, хохотавших при этом.

Но я, к сожаленью, почувствовал поздно,
Что странная та старушечья — бонза,
И твердо обеими ножками встала
Пред Буддой, опершись о край пьедестала,
И тайну любого бессмертья постигла
Правнучка Дракона, племянница Тигра.

Но сказка моя означает иное
В тропическом зное, в осеннем Ханое.
Старуха почтеннейшая, не обидься,
Я сверстник тебе, не судья, не убийца.
Поверь моей легкой и доброй науке:
Не предки у нас знамениты, а внуки!

Вот лезет на пальму и смотрит оттуда
Лихой драконенок, глазастое чудо.
Комочек из мускулов и сухожилий,
Он стоит всех сказок, что люди сложили!
Не веришь, старуха, молчишь, растерялась?
В пронзительных глазах смятенье и ярость
И что-то мистическое напоследок?

Но вот поднимается бронзовый Предок,
Кладет он на мальчика мягкую лапу:
«Я Деда знал твоего. Да и Папу
Спасал от французской разведки. И, щеря
Стальные клыки, его прятал в пещере,
Где Мама твоя пеленала когда-то
Праправнука Тигра, сынишку Солдата,

Всмотрись в эту даль, хорошенько всмотрися
В кудрявый бамбук и в амбары для риса,
В немые озера, в прямые дороги,
И в синие горные эти отроги,
И в морево зноя, и в небо над нами.
Расти, мое семечко, в новом Вьетнаме!»

КЛАДБИЩЕ МОРЯКОВ

Весь океан в теснине залива,
Словно в зеркале, смят и уменьшен,
Дышит бережно и терпеливо
Рядом с землею — лучшей из женщин.

Названный Тихим, или Великим,
Первое имя он выбирает
И, присмирив, с просветленным ликом,
Волны, как струны, перебирает.

Скал гряда — дракон над пучиной.
Солнце — драконье медное око.
Все первозданно и беспричинно.
В недра вселенной вросло глубько.

А наверху, на круче отвесной,
Высится крест ничейной победы.
Крепко спит Моряк Неизвестный,
Шедший ко дну от морской торпеды.

Все они, сжав напоследок пальцы,
В известняковых скалах зарыты,
Южных широт пираты-скитальцы,
Словно сгоревшие метеориты.

Чьи ж это кости? Какая раса
Бросила в бездну якорь свой ржавый?
Чей это крейсер взрывом потрясся?
Чьи это флаги? Какой державы?

Было иль не было?
Полдень ярок.
Пышет и пляшет око драконье.
Там, у предела радужных арок,
Нет правосудья, нет беззаконья,

Нет ни Азии, ни Европы.
Нет ни разума, ни безумья.
Нет десантников, слугавших стропы,
Грудь распоровших об эти зубья.

Нет ни паруса, ни кормила,
Как ни гляди в ту сторону зорко.
Там, у самой границы мира,
Только одна полнота! Восторга!

БРОНЗА В ДЖУНГЛЯХ

В мастерской художницы Нгуэн Тхи Ким я видел ее работу — отлитую из бронзы голову Хо Ши Мина. До 1954 года это изваяние было зарыто в джунглях.

До срока партизанка Нгуэн Тхи Ким
Зарыла бронзу в джунглях. И как будто
На пей горел, невидимый другим,
След глубины подземной, сходство с Буддой.

А может быть, кровавых зарев след.
А может быть, след пули рикошетной.
Иль это просто с юношеских лет
Ничто из глаз не исчезало тщетно, —

Когда он видел зверский мордобой
На палубах французских пакетботов,
Когда ночей не спал тщедушный бой,
Десяток жалких франков заработав,

И вглядывался на сыром молу,
Блестевшем, как спина ихтиозавра,
В пустыню Гавра, в дождь, в ночную мглу,
В чужую жизнь, в неведомое завтра;

Когда в Париж впервые он пришел
И думал, за какое дело взяться,
И кто он сам — фотограф-ретушер
Иль воин древней расы азиатской;

Когда впервые вычитал из книг
Пароль «Социализм» и отзыв «Будет»,
И к роднику прозрачному припик,
И понял, что тысячелетья судит;

Когда — события в памяти скользят —
В году двадцать четвертом, в нашей вьюге
Узнал, что Ленин умер день назад,
И зарыдал... А где-нибудь на юге,

А где-нибудь... Все круче путь! Трубит
О нем разведка, стервенеет гонка...
«Агент Москвы», — он схвачен, скручен, сбит,
Опознапный ищейками Гонконга.

Но мистер Икс или мосьё Игрэк
Еще добычу не удержат цепко.
А может быть, в разливе мутных рек
И потонула крохотная щепка.

А может быть, всплывет еще... Гляди,
Надейся, жди, что рано или поздно
Мелькнет в толпе и сгинет впереди
Сиамский пицций, молчаливый бонза,

Батрак, иль бой, иль рикша — кто-нибудь,
Хотя бы схожий с ним в ночном Сайгоне.
И снова путь. Все круче темный путь.
Все ближе свист отчаянной погони.

У сыщиков еще в глазах рябит,
В ногах зудит от службы их усердной.
Вот наконец-то схвачен, скручен, сбит
Тот самый — безымянный и бессмертный!

В ошейнике железном, на цепи,
Глотка воды он у конвойных просит.
Надежда, спи! Отчаянье, терпи!
Пусть на висках безвременная проседеь,

Но рисовые влажные поля
В воронках бомб, в тяжелой влаге зноя
Напомнят человеку, что Земля —
Планета, а не что-нибудь иное,

Напомнят, что она летит сквозь вихрь,
Что будущее делается рядом,
И он найдет товарищей своих
И выйдет в битву с крохотным отрядом.

И будет десть — и сотни тысяч рук
Дотянутся до цоколя трибуны.
И Хо Ши Мин тебя заметит вдруг,
Седой как лунь, и uznанный, и юный,

Ты вспомнишь, как тапшественным резцом
Прошла по лбу высокому и скулам,
И снова назовешь его отцом,
И снова бронза отзовется гулом.

И кажется, что он ободрит сам
Подпольщицу и верного солдата.
И ты приникнешь к милым волосам,
Твоей рукой изваянным когда-то,

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я летел из климата в климат,
Из Европы к тропику Рака.
Как я ждал, что меня поднимут
Руки воздуха выше мрака!

И они, подхватив машину,
Понесли ее как былинку,
И крутило нас и крушило,
Словно ветошь гнало по рынку.

Я видал драконов из бронзы,
И людей из плоти и крови,
И простор океана грозный,
И накат бамбуковых кровель,

И воронки бомбежек давних,
И раскопки сокровищ древних,
И лучи рассвета на ставнях,
И зарю коммуны в деревнях.

Я летел пад тобою в тучах,
Мать-Земля, седая царица,
Чтобы снова в толпах растущих
Стать прохожим и раствориться.

Я летел в воздушном пространстве,
Спутник, сверстник, соперник бога,
И вернулся из дальних странствий,
Благодарный жизни глубоко

Лишь за то, что на свете прожил
Многим более полувека.
Мать-Земля, что тебя дороже
Для летавшего человека!

И соседством звезд опаленный,
Грязь и пот по лицу размазав,
Я, как Чехов, шепчу влюбленно:
«Ты увидишь небо в алмазах!»

МАСТЕРСКАЯ ПЕРВАЯ

ЧТО НЕДОСКАЗАНО

Что там еще недосказано? Хватит!
Прожито. Мчится седая река,
Волны свои через голову катит,
К устью торопится, бьет в берега.

Там, у морского широкого устья,
Нет ни порогов, ни пены седой, —
Только немного оглядки и грусти.
Завтра ты станешь соленой водой.

Завтра? О, завтра простор без предела,
Ровная, вечная, сияя даль.
Что не доделала, не доглядела,
Не дождалась — ничего ей не жаль.

Радость любая и горе любое,
Все испаряется, в брызгах блестя.
А колыбель голубого прибой,
Снова баюкает чье-то дитя.

ТЫ НЕ ДРУЖИЛ

Ты не дружил с усталостью и ленью,
Весь в нетерпенье с головы до ног,
Принадлежал к такому поколенью,
С которым никогда не одинок.

Ты много видел, в том числе и счастье.
Жизнь прошумела в полыханье гроз.
Она была их незаметной частью.
Для этого ты, может быть, и рос.

Так отчего же в час веселых сборищ,
Глухого содроганья не сдержав,
С такой упорной спорщицей ты споришь,
С такой бесспорной правдой на ножах?

Со старостью? Со стертым этим словом?
Брось, человек! Грани, шлифуй, чекань.
Расшей узором пурпурно-лиловым
Растянутую в полстолетья ткань!

А дальше что? А дальше злей и круче
Вопит, метет, беснуется декабрь.
Хрустальный кубок полон влаги жгучей,
Неярок свет полночных канделябр.

Косматый черный пес не понимает
Твоей тревоги. Добрая жена
Молчит и руки слабые ломает, —
Какая боль ей завтра суждена!

А дальше что? Распасться в легкой пляске
Пылинок, сбитых в солнечном луче...
Вселенная не подлежит огласке
И прячется в шифрованном ключе,

Ни вы, ни я, никто из нас не слышит
Своей последней смертной немоты.
Но если человек живет и дышит,
Он и со смертью должен быть на ТЫ.

Напряжена и сжата до предела,
Вся в ссадинах, в следах почетных драк,
Живая жизнь, не дрогнув, поглядела
В лицо уничтоженья, в смертный мрак!

ДРУГУ

Владимиру Луговскому

В несчастный вечер или в ясный
Закат пылал в большом окне,
Когда в косоворотке краевой
Ты в первый раз пришел ко мне.

Не компактный, не гибкий голос,
Как ерпхонская труба,
Цыганский черный жесткий волос,
Упрямо счесанный со лба, —

Все было вылеплено крупно
Из сплава четырех стихий,
Все — даже этот голос трубный,
Раскачивающий стихи.

Казалось, что за далью синей,
В набатах, в сполохах ночных
Главу Истории России
Твердит прилежный ученик.

Когда же в пылкий амфибрахий
Вирягался движущий глагол,
Дымилась степь в огне и прахе,
Прошел пожарами монгол...

Но втоптан был зловещий недруг
В горячий пласт сухой земли.
Мечи и кости тлели в недрах.
Года прошли, века прошли.

Тогда — гораздо ближе, тут же,
В летящих строфах смельчака
Сквозь снегопад сибирской стужи
Пробился поезд ВЧК...

И непогода разрубала
Нетопленный полночный зал.
И шли курсанты прямо с бала
Пешком на Северный вокзал...

И зной, и нахота в пустыне,
И фары первых тракторов
Торжественней пной латыни
Вошли под твой домашний кров...

Я не об образах словесных
Припоминаю впопыхах,
Не о давным-давно известных
И переизданных стихах, —

Но о пройденном расстоянье,
О поэтической судьбе,
О юношеском обаянье
Во всем твоём, во всем тебе.

О дружестве, не омраченном
Любой печали вопреки...
Не знаю, сколько жить еще нам,
Но мы с тобой не старики!

На юбилейное собрание
Незримым гостем я приду
И тень твоей тревоги ранней
Как даму сердца приведу.

Вот, вот она светло и строго
Смеется, грусти не тая, —
Та девочка, та недотрога,
Володя, молодость твоя!

КОКТЕБЕЛЬ

1

Тогда казался этот дом форпостом
Мечтателей и чудаков Москвы.
Влекло их к спелым черноморским звездам,
К лохматой пене, к блеску сипевы,

К хозяину... А он не дожил века,
Не дописал стиха — и был таков!
Остался дом как праздничная вежа
В воспоминаньях многих чудаков.

Остался львиный облик киммерийца
С народнической русой бородой.
Остался тлен и прах, как говорится,
Да шум прибоя, да туман седой.

Осталась в доме голова царевны,
Умершей много тысяч лет назад.
Глаза ее младенчески безгневно
Поверх морей и мимо стран скользят.

С невольным страхом прикасались гости
К обломку древней сказочной кормы:
Впились в обшивку бронзовые гвозди,
Стих Одиссея волновал умы.

И раковины с берегов Гвинеи
Нас радовали радужной игрой,
И жизнь поэта, и века за пею
Как будто приближались к нам порой.

Так он остался в нашем мирозданье,
Дородный этот добрый бородач,
Отнюдь не классик в массовом изданье,
А только список спорных неудач.

И нам казалось, что за далью влажной
Глядит на тучи и на Чатырдаг
Какой-то профиль каменный и важный,
Хозяин дома, символист-чудак.

2

Сожженная земля в колючках дрока,
В колючках ржавой проволоки, в костях.
Бежит вдоль пенной кипени дорога.
На скалах развевается наш стяг.

Здесь пионерский лагерь. Но, пожалуй,
Видней отсюда прошлые века.
Земля не даром столько раз рожала,
Морская соль не даром не сладка.

Здесь были греки, гегуэзцы, турки.
Бетонный дот не позабыл других,
Консервные их банки и окурки,
Зловещую команду, зверский гик.

Запомнил дот, как выбили их к черту,
И с камнем сросся, мрачен и коряв,
Лишь трещинами накрест перечеркнут,
Военное значенье потеряв.

Бетонный дот в сравненье с морем хрупок.
Он выстоит еще лет пять иль шесть
И в мусор мокрых галек и скорлупок
Всей массой должен все-таки осесть.

Вал налетит, ища любого корма.
Вихрастый гребень выгнется вверху,
И ликованье праведного шторма
Спокойно смоем серую труху.

Природа, как наставница благая,
С учениками лучшими дружит,
Без сожаленья в землю отлагая
Все, что сырой земле принадлежит.

Ей не милы колчаны и кольчуги
И костяков изглоданных оскал.
Но у рыбацкой крохотной лачуги
Она поставит стражу верных скал;

Нагромоздит обветренные глыбы,
Как изваянья богатырских дней,
С таким расчетом, чтоб они могли бы
Свидетельствовать правнукам о ней;

Прибою отчеканивать поручит
Нефрит, и сердолик, и халцедон
И напоследок мальчика научит
Лепить из глины все, что видит он!

В БИБЛИОТЕКЕ

*Вере Николаевне
Наумовой-Широких*

...Но где ж тот переулок немощный,
Где суматоха ливня и листвы,
В каком окне над книжкой запрещенной
Впервые ночью замечались вы?

В седых ли хлопьях вьюжного тумана
Или под звон мазурки, не дыша,
Вы, героиня русского романа,
Почувствовали: юность хороша...

Когда, услышав спор народоволок,
Анапста некрасовского гнев,
Сорвали вы с окна кисейный полог,
От муки и восторга побледнев?

Все это было, было. Мчались годы.
Осенний вечер ваш не одинок.
Сибирские крутые непогоды
Ворча легли и ластятся у ног.

Жизнь далеко не промельк быстротечный.
Воистину она вам удалась.
Вот почему в тиши библиотечной
Не спит хозяйка, не смыкает глаз.

Лишь эхо отдается в гудящих сводах.
А там на полках, вплоть до потолка,
Преданья мира обретают отдых,
Архивной пыли реют облака.

Хозяйка знает цену многим теням,
И к многим обращается на ТЫ,
И с некоторой грустью и смятеньем
Рассматривает желтые листы.

Да, эта жизнь намного старше нашей!
Да, в переплетах из тисненых кож
Пир олимпийцев или мрак монаший,
Ложь, истина и снова чья-то ложь.

Но от жезла хранительницы-феи
Зашелестит столетний этот сад,
Былых веков нарядные трофеи
Попросят слова и заголосят.

Реляции сражений вновь зальются
Сигналами атаки и погонь.
В декретах отплывших революций
От буквы к букве пробежит огонь.

И кто-нибудь из гениев бездомных
Почувствует, что прошлое мертво,
И встанет из собраний многотомных
На штурм земли и неба самого.

И снова спят столетние трофеи...
Лишь тополя за окнами тесней
Сдвигаются, и шепчутся о фее,
И спорят за ровесничество с ней.

И кажется, что школьницей смущенной
Впервые с книжкой замечтались вы.
...Но где ж тот переулочек немощный,
Где суматоха ливня и листвы?

Где злые хлопья вьюжного тумана?
В какую даль вы смотрите, грустя,
Вы, героиня русского романа,
Семидесятилетнее дитя?

ГОГОЛЬ

Сто лет тому назад Москва дремала
В сугробах, как в перинах пуховых.
Выравнивал снежок мало-помалу
Колдобины на улицах кривых.

Так крепко спал семивековый город,
Так мирно он посапывал, дремля,
Так распахнул он домотканый ворот
От Земляного вала до Кремля,

Как будто этот сон столетья длится,
А троечный бубенчик под дугой
Умчался вдаль, звенит в другой столице,
В другой России, в юности другой...

Но до зари во флигеле господском
Не знали сна. И толстая свеча,
Оплавшая тяжелым желтым воском,
В одном из окон теплилась, треща.

И если бы увидел этот флигель
С Никитского бульвара кто-нибудь,
Не знал бы он, что в дом стучится гибель,
Что вышел Гоголь в свой последний путь,

Меж тем актеры, барыши, монахи
Стучали робко в темный кабинет,
И многие отшатывались в страхе,
Узнав, что улучшенья нет как нет.

А Гоголь умирал. Он был взъерошен,
Был остронос, как ворон, и небрит.
Воображал он, что, друзьями брошен,
Живой — в геенне огненной горит.

Но он был жив! И юношеской силой,
Поющей в сердце, бьющей из-под век,
Его, как половодьем, уносило
Из времени — вперед на целый век.

И то был Днепр. И волны чуть плескались
В дощатую обшивку челнока.
Над темным яром встал колдун, оскалясь,
Но шла, как жизнь, великая река.

И то был Петербург! И шедший рядом
В шинелишке худой совсем промерз,
Но шел вперед с остекленевшим взглядом
И видел все на много сотен верст.

И то был гром оваций в «Ревизоре»
И смех и ужас ветреной толпы.
Но, беззаботных зрителей позоря,
Таких лучей ударили снопы,

Что стало жутко обществу пустому...
И умиравший преклонился ниц
И вспомнил все, вплоть до второго тома,
Вплоть до его обугленных страниц.

Что было в этом томе для России?
Какая даль каких пных веков
Ему приоткрывалась в дымке сней,
Под звон церковей и ругань кабаков?

И не в жару, не в огненной геенне
Сгорело все, что было в нем мертво,
Но вышел в путь, встал на работу гений.
Так началось бессмертье для него!

С ним поколенья новые дружили.
Его читали дети в сотнях школ.
Ему актеры весело служили.
И годы шли. И целый век прошел.

И Хлестаков прошел по многим сценам,
Так неприметен, так вертляв и мал,
И все ж казался деятелем ценным,
Пока его угрозыск не поймал.

И Чичиков скупал на черном рынке
Любую ветошь, все, что продадут,
И гласности чуждаясь по старинке,
Копил деньгу, но погорел и тут.

И даже черт, — как водится, хвостатый, —
Ловил чины, совался в мастера
То с песенкой, то с громкою цитатой —
И тоже был разоблачен вчера.

Так продолжался Гоголь в наши годы.
И там, где Пошлость правила пиры,
Он не давал поблажки ей и льготы.
Он только слово дал ей до поры.

За ним, пред ним — открыто и воздушно
Сипела даль, вился знакомый путь,
И заливался бубенец поддужный...
Да разве ж он замрет когда-нибудь!

Нет, судя по степным и снежным верстам,
Последняя стоянка далека,
Последний лист не набран и не сверстан,
Последняя не вписана строка.

Там в Черноморье, за Лиманом, волны.
Там на Карпатах ветер верховой.
Там у Диканьки, умиленья полный,
Он встанет с непокрытой головой,

Старушку-мать обнимет у порога
И приласкает маленьких сестер.
И снова пыль пылит, бежит дорога.
И ветер бьет в лицо, и глаз остер.

Писатель, добрый труженик, который
Еще не все сказал, не все узнал,
Исколесил он русские просторы
И вот спешит на Киевский вокзал,

На Северный, Казанский, Белорусский, —
Наш старший друг, наш младший ученик.
Легчайшей ношей, а не перегрузкой
Пред ним возникли планы новых книг.

Кончается повествованье наше!
А между тем ждет отпеванья знать,
Спешит на вынос воинство монашье...
Куда их деть, зачем их вспоминать?

А катафалк? А дамы в черном крепе?
А вбитый в землю намертво гранит,
Который из всего великолепья
Ни черных лент, ни лавров не хранит?

А смерть? Зачем безносая на тризне
Присутствует, не слыша, не дыша?
Что знает смерть о бесконечной жизни,
О гоголевской — мертвая душа?

О ненависти, о негодованье,
О жалости, о жажде жить — о том,
Чему он сам подыскивал названье,
Когда писал незавершенный том...

Старуха не готовилась к ответу,
Молчит она. Молчит, мертвым-мертва,
И разве что литературоведу
Подсказывает мертвые слова.

МАЛЬЧИКИ

Александрю Межирову

Рыбацкий катер на причале
В течение двух часов дымил.
А рядом мальчики кричали:
«Ни с места — руки вверх — за мир!»
Вели осады, рыли ямы,
Ища осколки той войны,
Серьезны, искренни, упрямы,
Как черти, худы и черны.
Их жадное воображение,
Вертясь на холостом ходу,
Выигрывало все сраженья,
Всем вражьи́м силам на беду!

Но вот над бухтой черноморской
Взошла янтарная луна.
И мальчики, собравшись горсткой,
Решили: кончена война.
В их пугачи забился гравий.
И отсырели кобуры.

...Своих дальнейших биографий
Они не знают до поры.
На краткосрочных курсах лета
Они мужают каждый миг.
Они художники. И это
Непроизвольно в них самих.

Давным-давно, когда — не помню,
Я так же точно жил игрой
В заброшенной каменоломне,
И автор пьесы и герой.

Сухое лето было слито
С кусками сланца и кремня.
И целый век палеолита
Стал отрочеством для меня.
Сухое лето облегчало
Самосгоранье кратких гроз.
И это — всех начал начало,
Все, чем я жил потом и рос...
С тех пор прошли тысячелетий
Неисчислимые ряды.

...Смеркается. Сырые сети
Лежат у каменной гряды.

Уходят взрослые. А дети
Еще толпятся у воды.

Они вернутся в лагерь поздно,
Улягутся на койки в ряд.
Тревогой разною и грозной
Их сны короткие горят.
Но как бы ни был сон громоздок,
Он держится на крутизне.

Не забывайте, что подросток
Растет, когда летит во сне.

БАЛЛАДА ПРО ВЕРНОГО ПСА

Он входит как равный в землянку и в чум,
Ночной бродяга, старый драчун,
Служить человеку-другу.
И спит у огня, тихоцько храпя,
И гложет кость на куче тряпья,
И лижет детскую руку.

Не помню — когда. Забыл — почему.
Но знаю: он родич мой по уму,
По быстрой хватке решеннй.
А ясностью нрава, терпеньем в беде
И верностью в дружбе всегда и везде
Он всех зверей совершенней.

На этом при сказке старой — конец.
Скрежещет железо. Хлещет свинец.
Ракета красная блещет.
Несется гибель во весь опор.
Но спорит с гибелью старый сапер,
Идет вперед, не трепещет.

С ним рядом маленький рыжий друг.
И нет у друга оружия и рук.
Одно чутье и бесстрашье.
Почуял пес, что за кочкою той
Внезапно дым взовьется густой.
И пес застыл как на страже.

И сразу потом рванулся вперед.
Он молча риск на себя берет:
Ни шагу, хозяин, дескать!
Ты завтра пройдешь поля и леса,
Ты завтра найдешь еще лучше пса!
Прощай и прости за резкость!

Навеки с нами они дружны,
Порой суровы, порой нежны,
Порой совсем незаметны,
То, зыркнув глазом, во тьме следят,
То зычным лаем предупредят:
«Ни шагу! Там холод смертный!»

Охотник-сеттер иль пудель-циркач
По снежному насту несется вскачь,
Иль старый барбос скребется
В твое жилище в ненастную ночь —
Он добрый гость, он может помочь,
В нем сердце жаркое бьется.

Я это писал на старости лет,
Закутав ноги в мохнатый плед,
Дымя табаком под утро,
А черный пудель, по кличке «Дым»,
Не спал с хозяином, другом седым,
Глядел в глаза мои мудро.

Он, видно, думал: «Старайся, пиши!
Во славу моей собачьей души
Слагай хвалебную оду!
Оставь от меня рифмованный след.
А я за тебя на старости лет
Пойду и в огонь и в воду.

А впрочем, кончай поскорей, чужак!
И если что сочинил не так,
Не слишком горюй об этом.
Мы оба стоим у той полосы,
Когда пуделяют люди и псы...»
Так пес говорил с поэтом.

БАЛЛАДА О ЧУДНОМ МГНОВЕНИИ

...Она скончалась в бедности. По странной случайности гроб ее повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву.

Из старой энциклопедии

Ей давно не спалось в доме деревянном.
Подходила старуха как тень к фортепьянам.
Напевала романс о мгновенье чудном
Голоском еле слышным, дыханьем трудным.
А по чести сказать, о мгновенье чудном
Не осталось грусти в быту ее скудном,
Потому что барыня в глухой деревеньке
Проживала, как нищенка, на медные деньги.

Да и, господи боже, когда это было!
Да и вправду ли было, старуха забыла,
Как по лунной дорожке, в сверканье снега,
Приезжала к нему — вся томленье и нега.
Как в объятьях жарких, в молчанье ночи,
Он ее заклинал, целовал ей очи,
Как уснул на груди ее и дышал неровно,
Позабыла голубушка Анна Петровна...

А потом пришел ее час последний.
И всесветная слава, и светские сплетни
Отступили, потупясь, пред мирной копчиной.
Возгласил с волнением сам благочинный:
«Во блаженном успении вечный покой ей!»
Что в сравненье с этим счастье мирское!
Ничего не слыша, спала бездыханна
Раскрасавица Керн, болярыня Анна.

Отслужили службу, папихиду отпели.
По Тверскому тракту полозья скрипели.
И брели за гробом, колыхались в поле
Из родни и знакомцев десятков — не боле,
Не сановный люд, не знатные гости
Поспешали зарыть ее на погосте.
Да лошадка по грудь в сугробе завязла.
Да крещенский мороз крепчал как пазло.

Но пришлось процессии той сторониться.
Осадил, придержал правее возница,
Потому что в Москву, по воле народа,
Возвращался путник особого рода.
И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чем-то еще не забытом.
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чем-то навеки близком.

Вот он — отлит на диво из гулкой бронзы,
Шляпу снял, загляделся на день морозный.
Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде
Он стоит, кудрявый и смелый, как прежде.
Только страшно вырос, — прикиньте, смерьте,
Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно юн и странно спокоен, —
Поглядите, правнуки, — точно такой он!

Так в последний раз они повстречались,
Ничего не помня, ни о чем не печальсь.
Так метель крылом своим безрассудным
Осенила их во мгновенье чудном.
Так метель обвенчала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертной бронзой,
Двух любовников страстных, отпылавших розно,
Что простились рано, а встретились поздно.

ДВЕ ЖИЗНИ

К этому времени случилось страшное землетрясение, отчего была разрушена столица Гянджа. Обвалилась также гора Кяплз, и запрудила лощину, где протекал ручей, и образовала озеро, существующее по сей день.

Кирикос Гянджинский

Размалывая, разминая
Льды вековых высот,
Здесь треснула кора земная
Назад лет восемьсот.
Обломки каменной породы
Крошились и ползли
В кипящие водовороты,
В расселены земли.
Земля рожала двое суток.
Никто не мог помочь.
И сон роженицы был чуток
И чист на третью ночь.
Сияли звезды, будто в праздник,
В благоуханной мгле.

И в ту же ночь две жизни разных
Возникли на земле.
Одна из них качала смело
Родную колыбель
И горным озером синела
По имени Гей-Гель.
И сразу загляделись кручи
В зеркальный водоем,
И сразу ключ запел горячий
Об озере своем.
С тех пор красавицыны очи,
Как в первый день, горят.

Другая жизнь была короче
И горше во сто крат.
Остыл очаг. Подернут уголь
Предсмертной сединой.
В дом человека, в темный угол,
Бьет ветер ледяной.
Новорожденный горько плачет.
Ломают руки мать.
Нелегкий путь сегодня начат, —
Как руки не ломать!

Но мчатся годы, как мгновенья.
Вот молодость души
Зовет на подвиг вдохновенье:
«Дыши! Спеши! Пиши!»
Вот свиток сжат рукой отважной,
В нем повесть о Лейли.
Вот Ширваншах, владыка важный,
Склонился до земли:
«Мы в золото тебя оденем,
Твой плащ убог и рван...»
«Не надо, шах! Моим владеньем
Стал мир, а не Ширван!»

Но, как мгновенья, годы мчатся.
Жизнь, как вода, плывет.
Бессонный старец домочадца
Бессонного зовет:
«Скажи, о чем рыдает ветер,
Зачем остыл очаг?»
Затрясся тот и не ответил,
А был, видать, смельчак!

Но мчатся годы, мчатся мимо.
Вот озеро во сне
Тревожно и неутомимо
Готовится к весне.

На глыбах каменной породы
Поставлен пьедестал.
И человек седобородый
Бессмертной бронзой стал.

И мы сошлись к нему для тризны
В окрестностях Гянджи.
«Что понял ты в короткой жизни,
Что помнишь — расскажи!»

А Низами молчал, отвергнув
Тщету ненужных слов,
И небосвод над ним померкнув
Стал дымен и лилов.
И где-то там, за дымной далью,
Взвился под ветром прах.

Но в той дали — мы угадали —
Спит озеро в горах.
И синий взор воды озерной —
Все тот же синий взор.
Все то же за листвою узорной
Мерцанье звезд и зорь.

Там бродит юноша по кручам,
Синеющим вдали,
И говорит с ключом горячим
Про милую Лейли.

МАСТЕРСКАЯ

1

Я спросил у самого себя:
Для чего мне эта мастерская?
Стены, окна, пол и потолок,
Книжные захлампленные полки...

Для чего мне ветер в мастерской,
Для чего былых веков осколки,
Сердце, вечно бьющееся в лад
С музыкой седого мироздания?

Разве недостаточно я жил,
Разве не платил честнейшей данью,
Разве мало сумрачных ночей
Бодрствовал по собственной охоте?

Что мне дальше делать? Глину мять,
Сочинить роман о Дон-Кихоте,
Вырезать из дерева божка,
Напоследок в зеркало взглядеться?

В зеркале лицо отражено,
Хорошо знакомое мне с детства.
Ничего лицо не говорит,
Спрашивает молча: «Что мне делать?»

2

В мастерской со мной разговаривал
Доктор Фауст. За его плащом
Полыхало и плясало зарево.
В пуделе был дьявол воплощен.

Мчались годы. Горьким ремеслом они
Полнились. А в очень ранний год,
Ветряными мельницами сломанный,
Спал на этой койке Дон-Кихот.

И случалось — целыми столетьями
В мастерскую я не заходил,
С бражниками теми или этими
Грешную компанию водил.

Но случалось — молодость как треснется
Забубенной об стену башкой...
Но взлетала вверх крутая лестница,
Рапо рассветало в мастерской.

Сны мои там скапливались лучшие,
Зоркие не старились глаза,
Терпеливо ожидали случая,
Чтобы в них ударила гроза.

И тогда я выстроил театр свой,
Чтобы счеты с молодостью свести.
Это жизнь была, а не новаторство, —
Только правда жизни, вся как есть.

Это значило, что не пора еще,
Что и завтра тоже не пора.
Строящий, стареющий, сгорающий,
Жил я, как цари и мастера!

МАСТЕРСКАЯ ВТОРАЯ

ИСКУССТВО НЕ ЖДЕТ ПРИГЛАШЕНИЙ

Конечно, искусство не ждет приглашений
И тут же берется за дело,
Прищурившись зорче и выбрав мишени,
Вниманьем людей завладело.

И сразу — раскрашенный крупно и густо,
Весь мир потрясен и всклокочен.
Я стар, по, ей-богу, не старше искусства,
И мне это нравится очень.

Я видел миры на подрамниках старых
В запасниках старых музеев.
Я слышал, как стонет страданье в гитарах,
Мещанскую скуку развеяв.

Я знаю, как дешево критика ценит
И танец, и песню, и рифму.
Но пляшет девица на маленькой сцене
И вдруг превращается в нимфу.

И тянутся, тянутся смуглые руки,
Единственные в мирозданье.
И вся беспределность блаженства и муки
Знакома мне в первом изданье.

РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

Кто знал о мраморе том паросском,
Кто в камне услышал биенье сердца,
Кто встал как вкопанный перед наброском
Еще не изваянного громовержца?

Никто! Сам Фидий спал в колыбели,
Свистульку из глины сжимал ручонкой,
И веки его чуть голубели,
И сны очерчены были нечетко.

Едва забрезжившее пачало,
Исполненное смутных предчувствий,
Росло, молчало и означало
Нужду в человеке, в его искусстве.

И вот уже Фидий смуглый и сильный,
Кудрявый семнадцатилетний отрок.
Его достоянье — две-три маслины
Да козья шкура на узких бедрах.

Какая сила отрока гонит?
Где боги? Зачем он вчера искал их?
Смеялось эхо, что никого нет
В прохладных рощах, на голых скалах.

Лишь в радужном, яром пыланье полдня
Заметил он, как весь мир вселится,
Да гром свою чашу брагой наполнил,
И мрачных гор просветлели лица.

И отрок пошел с киркой на приступ,
Он высек искру из горной породы.
И где-то внутри, в изломах ребристых,
Проснулся гигант седебородый.

Проснулся — и нахмурились грозно
Скалистые брови, спутались кудри,
Как будто жить со скалою розно
Еще не умел подросток не мудрый.

Но он усмехнулся новому другу
И, выпростав торе из мертвых расселин,
Ему протянул огромную руку:
«Как поживаешь, маленький эллин?»

ДОН-КИХОТ

Встал однорукый Сервантес Сааведра,
В печку потухшую дует,
Свечку свою заслоняет от ветра
И завещанье диктует.

Кончилась молодость. Кончилась старость.
Да умирать еще рано!
Только одно напоследок осталось
Мужество у ветерана.

Будет герой бушевать, балаганить,
Странствовать, драться за правду.
Не разберутся три века в гиганте,
Кто он — герой или автор.

Вот он — последний в своем поколенье,
Смелый, осмеянный, милый.
Падайте ниц перед ним на колени
Вы, вековые кумиры!

Нравится вам эта честная проза?
Без отговорок ответьте!
Дюжая скотница, девка в Тобозо,
Лучше всех женщин на свете.

Валятся жалкие мельницы, капуг
Крыльями в низкое небо.
Только и гибнет что рать великанов,
Только и было что небыль.

Только и есть что бездомная старость,
Да умирать неохота!
Только одно напоследок осталось
Мужество у Дон-Кихота.

Только и есть! Заблуждайся, надейся,
Не дорога твоя шкура,
Цвет человечества, жертва злодейства,
Старая карикатура!

Сколько бы ни было драк и пощечин,
Сколько ты ни искалечен,
Рыцарь Печального Образа прочен,
Путь впереди бесконечен.

ИЕРОНИМ БОСХ

Я завещаю правнукам записки,
Где высказана будет без опаски
Вся правда об Иерониме Босхе.
Художник этот в давние года
Не бедствовал, был весел, благодушен,
Хотя и знал, что может быть повешен
На площади, перед любой из башен,
В знак приближенья Страшного Суда.

Однажды Босх привел меня в харчевню.
Едва мерцала толстая свеча в ней.
Горластые гуляли палачи в ней,
Бесстыжим похваляясь ремеслом.
Босх подмигнул мне: «Мы явились, дескать,
Не чаркой стукнуть, не служанку тискать,
А на доске грунтованной на плоскость
Всех расселить в засол или на слом».

Он сел в углу, прищурился и начал:
Носы приплюснул, уши увеличил,
Перекалечил каждого и скрючил,
Их низость обозначил навсегда.
А пир в харчевне был меж тем в разгаре.
Мерзавцы, хохоча и балагурия,
Не знали, что сулит им срам и горе
Сей живописец Страшного Суда.

Не догадалась дьяволова паства,
Что честное, веселое искусство
Карает воровство, казнит убийство.
Так это дело было начато.
Мы вышли из харчевни рано утром.
Над городом, озлобленным и хитрым,
Шли только тучи, согнанные ветром,
И загибались медленно в ничто.

Проснулись торгоши, монахи, судьи.
На улице калякали соседи.
А чертенята спереди и сзади
Вели себя меж них как господа.
Так, нагло раскорячась и не прячась,
На смену людям вылезала нечисть
И возвещала горькую им участь,
Сулила близость Страшного Суда.

Художник знал, что Страшный Суд напишет,
Пред общим разрушеньем не опешит,
Он чувствовал, что время перепашет
Все кладбища и пепелища все.
Он вглядывался в шабаш беспримерный
На черных рынках пошлости всемирной.
Над Рейном, и над Темзой, и над Марной
Он видел смерть во всей ее красе.

Я замечал в сочельник и на пасху,
Как у картин Иеронима Босха
Толпились люди, подходили близко
И в страхе разбегались кто куда,
Сбегались вновь, искали с ближним сходство,
Кричали: «Прочь! Бесстыдство! Святотатство!»
Так многие из них вершили суд свой
Во избежанье Страшного Суда.

ТРИЗНА

1

Нет, не отвага. Нет, не малодушье.
Ну так какой тысячевольтный ток
Ударил в глухоту его подушек?
Какой глоток огня, какой итог?
Что в прожитом он наспех подытожил,
Каким желаньем отдыха томим,
Двух-трех часов до старости не дожил,
Что он паделал сам с собой самим?

2

С глазу на глаз — иначе пельзя,
Потому что мы были друзья.
Что ж, простимся, товарищ, навеки!
Густо ляжет на бледные веки
Некрасивая, грубая тень.

Составляют врачи бюллетень.

...И встают из густого тумана
Черновые наброски романа,
Недописанных писем куски,
Да простор неоглядной тоски,
Да любимая песня, в которой
Только жажда тоски и простора.
И еще напоследок встает
Тот красавец, что песню поет,
Партизан, комиссар, краснодонец,
С юных дней, с первых майских бессонниц,

Вместе с партией большевиков
Взявший на плечи бремя веков, —
За туманом, за дымкою смутной,
Синеглазый, седой, бесприютный.

3

Ты еще разобьешь этот ящик сосновый,
Отряхнешь этот прах с твоих ног,
Ты очнешься, начнешься сначала и снова
Будешь голоден, чист, одинок.

Нет ни изданных книг, ни любовниц, ни славы,
Ни жилья, ни двора, ни кола.
Лишь бы молодость старостью не заросла бы,
Не смолчала бы, не солгала.

Вот встает он, с тобою отчаянно схожий,
На любое задание готов,
В гимнастерке и в брюках из чертовой кожи,
Как в начале двадцатых годов.

Вся редакция — в кипах направленных гранок,
Дым табачный, бессонная мгла,
А за ней — в грозových облаках спозаранок
Ни жилья, ни двора, ни кола.

А за ней и над ней — во всю ширь мироздания
Все мгновенно, ничто не навек.
Никогда не прощай, навсегда до свиданья,
Милый друг, золотой человек!

СНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Сны возвращаются из странствий.
Их сила только в постоянстве.
В том, что они уже нам снились
И с той поры не прояснились.

Из вечной ночи погребенных
Выходит юноша-ребенок.
Нет, с той поры не стал он старше,
Но, как тогда, устал на марше.

Пятнадцать лет не пять столетий.
И кровь на воинском билете
Еще не выцвела, не стерта.
Лишь обветшала гимнастерка.

Он не тревожится, не шутит,
О наших действиях не судит,
Не проявляет к нам участия,
Не предъявляет прав на счастье.

Он только помнит, смутно помнит
Расположение наших комбат,
И стол, и пыль на книжных полках,
И вечер в длинных кривотолках.

Он замечает временами
Свое родство и сходство с нами.
Свое сиротство он увидит,
Когда на вольный воздух выйдет,

РОМАНСЫ

Зое Бажановой

1

Приблизься на несколько станций
Хотя бы на Млечном Пути,
Прости мне, приблизься, останься,
Останься, приблизься, прости!

Зачем расставаться без толка
В тоскливом верченье планет?
Останься совсем ненадолго,
Хотя бы на тысячу лет!

А если в слепящем сиянье
Тебя не узнал звездочет,
Прости на таком расстоянье,
Где вечность сполна протечет!

2

Только так, только ты, только рядом,
Только около, только вдвоем.
Я служу у тебя шелкопрядом,
Работягой служу муравьем.

Я принес тебе яблок на ужин
Вдвое больше, чем на небе звезд.
Я пришел к тебе с горстью жемчужин,
Полвселенной на тачке привез.

Промолчишь иль ответишь — не знаю.
Отзовешься иль нет — все равно.
Нусть летит телеграмма ночная,
Она послана слишком давно.

Ты получишь ее не однажды —
Каждый день она вновь сложена.
И когда задохнусь я от жажды
И заплачешь ты горько, жена, —

Я вернусь к тебе с новою данью,
Обещаю, что снова приду
На последнее паше свиданье,
Может статься, что только в бреду.

3

День твоего рожденья — это значит,
Что настужь окна, что близка весна,
Что в почки набухающие прячет
Детенышей зеленых бузина.

День твоего рожденья — это значит,
Что мчится ветер, взморьем продышав,
Что новый день для всей природы начат,
Что возникает музыка в ушах.

День твоего рожденья — это значит,
Что мы пришли к нему, как к рубежу,
Который нашу жизнь переиначит.
И напоследок вот что я скажу:

«Ты как река влилась в меня, как пламя
Мою сырую глину обожгла,
Как воздух обняла меня крылами
И как дорога впереди легла.

И нет конца дороге той на диво!
Огонь горит. Волна о берег бьет.
И это значит — в повести правдивой
День твоего рожденья настает»,

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ

Земля колыбели могил укачала,
Покрылась травой и забыла о них.
Ну, что ж, перечту мою книгу сначала,
Одну из несчитанных читаемых книг.

Что было! Каких только не было песен,
Каких только осеней, весен и зим!
Их ворох отброшен, и ворот мне тесен,
И мир окончательно неотразим!

Зеленый, и красный, и желтый, и синий,
Как будто возникший в глазах дикаря,
Корабль трехмачтовый в сырой парусине
Из памяти выкорчевал якоря.

За ним! За несбыточным! Но за семижды
Обещанным! Только взглядеться — и в путь!
Былая удача, меня осенишь ты
Когда бы то ни было, что там ни будь.

Пусть горе ударами медного гонга
Уже окровавило сердце мое,
Но дело художника — вечная гонка,
Чеканка и ковка, резьба и литье.

И это есть голос грозы! Ликованье
Кремнистых дорог, океанов и гор!
Там прадеды каменный век вековали.
Там правнуков пламенный слышится хор.

Да будет! Да славится ныне и присно
Чеканка и ковка, резьба и литье!
Живою водой на могилы я прысну,
Земля возвратит мне богатство свое.

Земля колыбели могил укачала.
Смываются образы прожитых лет.
Срываются все очертанья с причала,
В открытое время выходит поэт.

Я РАССКАЗАЛ

Я рассказал о жизни, как умел, —
О всем, что знал, — о счастье, о несчастье,
О мертвецах, что выкрашены в мел,
Об их сердцах, разорванных на части

Я рассказал о том, как человек
Растет из глины, музыки и муки,
Как по следам его далеких вех
Проходят любознательные внуки.

О том, как каждой смерти суждено
Стать на земле строительной частицей.
И это было творчество. Оно
В моих стихах уже не уместится.

И это было юностью. Смотри —
Сперва она нас обступила немо,
Но проступила быстро изнутри
Сонатой, бронзой, пляскою, поэмой.

И это было радостью. Пора
Признаться в том, что радости хватало.
Мне часто снилась радость до утра.
Кончался сон, когда она светала.

Чем это было? Жизнью. Только так!
Рассказ о ней не выдуман. Он точен.
Вы скажете, что автор был чужак?
Вы, может быть, и правы, да не очень.

ПОЭЗИЯ

Слушай гул аудиторий!
Это юность сыновей
Входит в будущее, вторя
Ранней юности твоей.

Слушай зов родимой глуби —
Там, в другом конце страны,
Где-нибудь в колхозном клубе,
Еле слышный звон струны.

Слушай на волне короткой
Злобу дня в краю чужом,
Как вопит луженой глоткой
Черный враг за рубежом.

Слушай, слушай, — слышишь? — слушай,
Но не сбейся, не вопи,
Говори как можно суше,
Будь связным в большой цепи.

Чтобы в буре беспредельной
Сжатый отклик свой сберечь,
Чтоб была членораздельной
И отчетливую речь.

Чтобы врубленная в камень,
Не страшилась до конца
Никаких могильных ямин,
Ни тротпла, ни свинца.

УРОКИ ИСТОРИИ

ОКТЯБРЬСКИЙ ВИХРЬ

Октябрьский вихрь спящих будит
На бурных миттингах своих,
Не шутит он, а грозно судит
О всем, что было, есть и будет, —
Октябрьский вихрь, Октябрьский вихрь.

Он в корабельной свищет снасти,
Казнит последышей династий,
Сулит купечеству ненастье,
Банкротов губит биржевых,
Скликает пригороды в город
И, распахнув свой пыльный ворот,
С одною смертью насмерть спорит
И оставляет жизнь в живых.

С ним подружились мы однажды,
Когда на Кремль солдаты шли.
Рты запеклись от жгучей жажды.
Мы были голодны. Но каждый
Мечтал о счастье всей земли.

О, тусклый отблеск туч свинцовых
На ржавой жести крыш дворцовых,
О, грязь в домах, о, страх жильцов их
Пред благодушием солдат!
О, как нам весело бывало,
Когда рядам людского шквала
История передавала
Свой наспех писанный мандат!

Гнилым низинам нет пощады
Со стороны нагих крутизн.
Пуускай погибнет кров дощатый,
Пуускай бездомна и нища ты, —
Ты навсегда прекрасна, Жизнь!

Твой выбор прям без оговорок.
Твой взор навеки чист и зорок.
Пройдет и двадцать лет и сорок,
Немало будет горьких тризп.
Сегодня будем слушать речи,
Проветрим ум, расправим плечи,
Но знаешь — ради первой встречи
Дай нам твое бессмертье, Жизнь!

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Что было десять лет назад,
Не позабыл цветущий сад.
Не позабыл растущий дом,
Как он пылал в дыму густом.

Не позабыли дочь и мать,
Как руки им пришлось ломать,
Конверт бумажный надорвав...
Не замолчат в разрытых рвах
Полуистлевшие тела
О том, что их сожгли дотла
Испуганные палачи.

Бывает, до сих пор в ночи
Внезапно вскрикнет ветеран
Не от ожогов старых ран,
Но от приснившихся ему
Ночей в пожарах и в дыму.

И тот, кто старше стал сейчас,
Кто рос, у времени учась,
Кто этих лет не продремал,
И тот, кто стар, и тот, кто мал, —
Любой оглянется назад
И вспомнит дом, и вспомнит сад.
И среди некошеной травы
Глухие, брошенные рвы.

Забвенья нет ни для чего
У тех, чье сердце не мертво.
Встань, совесть, спутница живых,
На всех постах сторожевых.

Бей в барабан, труби в рога,
Опознавай в лицо врага.
Вниманьем общим овладей
На бурных митингах людей.
Чтобы торгаш с лицом лисы
Не клал их жизни на весы.
Чтобы мертвец с лицом как мел
Прервать работы их не смел.

Чтобы на каждый взлет ума
Природа косная сама
Открыла тысячи ворот.
Чтобы ураг и водород
Служили мирному труду.
Чтобы, из недр добыв руду,
Не опускался рудокоп
Глотнуть свинца в сырой окол.

Жизнь продолжается. Она
Проста, просторна и прочна.
Есть у нее свои права,
Свои сады, своя трава.
Дышите, верность ей храня,
Растите вверх день ото дня,
Вы, дети жизни, вы и я.
Вы, люди, вы, моя семья.

СТИХИ ПОД ЭПИГРАФОМ

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Тютчев

Пускай звучит в церквах последних
Глухой хорал, хвалебный гимн,
А я богам не собеседник,
Не сотрапезник всеблагим.

Я только трезвый виночерпий
На грозном пирушестве времен,
Когда вино не на ущербе,
А хлеб по чести поделен,

Я от лица солдат и граждан,
Собравшихся вокруг стола,
Свидетельствую: наша жажда
Все мирозданье создала.

Вот-вот она сшивает тучи
И рвет по швам их наверху,
Рассеивает дым летучий
И топчет косную труху.

Пока сверкает радость мира
В граненом нашем хрустале,
Не сотворим себе кумира
Ни в небесах, ни на земле

Мы сами делаем погоду,
Сдвигаем горные хребты
И никаким слепцам в угоду
Не прячем нашей правоты.

Мы — трудовое поколение.
Мы вовремя явились в мир.
Нам море было по колени,
По щиколотку был Памир.

Белее белого каленя
В победном пламени ума,
Нам горе было по колени,
По щиколотку — смерть сама.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Заправлена мощным горючим
И пущена в космос,
Лети, эстафета, лети!
Тебя мы скитаться приучим
По огненным кручам
На вечном, на Млечном Пути.

Тревожно и пезно пылает
Небесная пажить
Во всю ширину и длину,
И умная лайка не лает,
Не вое, как пращур,
На старую ведьму — лупу.

Сдавайтесь, пространство и время!
Куда вам тягаться
С отвагой в сердцах и умах!
Еще ни в одной теореме
Не вычислен был
Человеческих крыльев размах.

Пора! Раскрывается тайна.
За морем туманностей
Гавань маячит вдали.
По звездной вселенной Эйнштейна
Плывут корабли,
Смелчаки, работяги земли.

Ни стужи, ни зноя не зная,
В магнитную бурю,
На службу земных непогод
Летит эстафета сквозная!
И тут начинается
Геофизический год.

А дальше? — А дальше все ясно,
Весь труд человечества
В царстве станков и полей.
Наш глобус трудом опоясан.
Он все-таки вертится,
Все-таки прав Галилей!

Внизу обозначились тенью
Громада ангара,
Деревья, река и гора.
Сдавайся, закон тяготенья!
Мы люди, мы вольные птицы,
Пора, брат, пора!

ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ ГОД

1

Читатели двухтысячного года,
Живущие лет через пятьдесят!
Над вами отшумела непогода.
Угрозы войн над вами не висят.

Такой же точно ночью, как вот эта,
Встречаете вы двадцать первый век.
Прочтите книгу старого поэта:
Я тоже не смыкал сегодня век.

Я не один. Нас много, очень разных.
Мы злобе дня своей принадлежим.
Но к вам придем на повогодний праздник —
Казалось бы, к далеким и чужим.

Придем заветным чувством поделиться,
Повеселиться с вами на пиру.
Недаром резко вылеплены лица,
Пылавшие на ледяном ветру.

Недаром руки жилисты и сухи,
И ясен разговор, и легок шаг.
Прочтите нас еще раз на досуге,
Пускай наш стих звенит у вас в ушах!

2

Вы узнаете нас после долгой зимы,
Но еще до весны, по седым ураганам,
По работе, которая так дорога нам.
Высота — это мы. Быстрота — это мы.

И названия городов и даты
Той же мощной прелести полны.
И проходят прадеды-солдаты
В горных тучах, в отсветах луны.

И опять живые речи льются
В гулких залах горного дворца.
Гул далеких войн и революций
Потрясает юные сердца.

ПАМЯТИ ТЮТЧЕВА

Вы любите грозу в начале мая,
Когда в раскатах грозовых
Звучит, рабочих в битву поднимая,
АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ язык.

Вы любите грозу в начале мая,
Когда на сломанных крестах,
Гнездо фашизма черного ломая,
Войска врываются в рейхстаг.

Вы любите грозу в начале мая,
В начале юности своей —
Пускай зовет, внезапная, прямая,
На подвиг ваших сыновей!

Да будет так! Играй, избыток жизни!
Греми, весенняя гроза!
Ударь дождем и молниями брызги
В ненасытимые глаза!

Чтоб было что припомнить нам под старость
На празднике большевиков!
Чтоб только ЭТО в памяти осталось
На веки вечные веков!

СМЯТЕНЬЕ

В чужих городах, где мы не гостили,
Крошатся камни, мрут старики,
Меняются нравы, привычки, стили.
И снова волны большой реки
Легко и бесшумно катятся к устью.
Мы смотрим на волны и говорим
О прошлых веках с умиленной грустью.
Один вспоминает мраморный Рим,
Другой — Карфаген, а третий — Помпею.
Я вижу пляску беспечных толп...
Я слышу музыку, но не успею
Прорваться... вырос огненный столб.

Пузырится тесто юной вселенной.
Пророчь, Кассандра! Плачь, Илиоп!
Ахейцы снова плывут за Еленой,
Грядущий день добела раскален.

И снова, снова волны бесшумны.
Пока никто не чуял засад,
Испанцы жгли дворец Монтекумы.
И только семнадцать лет назад
В печах Освенцима пылал безумный,
Кудрявый, стройный и смуглый сад.
И только шестнадцать лет назад
Казнили янки детей Хиросимы...

Пора на старт, пилоты-орлы!
На приступ! Завтра исколесим мы
Междупланетных морей валы.
Мы ляжем на курс иных космогоний,
Войдем в открытое время само,
Швырнем на память о том перегоце
В смоленной бутылке наше письмо.

Пусть разбирают мудрые внуки
Каракули наших ранних побед.

Сверкай, многозвездная даль науки!
Сверкай ледниками, горный хребет!
Не спи, Человек — прирожденный спорщик!
Забудь о прошлом! Все впереди.

...Голубка мира перья топорщит,
Прижалась нежно к твоей груди.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Теза

В случайном столкновенье сил слепых,
В паденье молнии отвесной
Есть только то, что есть, — короткий вспых,
А что он значит, — неизвестно.

Хвостатый змей с косматой головой,
Осколок белого калепья —
Вот он летит по выгнутой кривой
От поколенья к поколенью.

Багряный отблеск пляшет на холмах,
На волсах и на женских лицах.
И топора палаческого взмах
Сверкает в гибнущих столицах.

И матери, прижав детей, бегут,
Кротки, безропотны, смиренны...
Но в их ушах навек остался гуд
Протяжно воющей сирены.

И в их чертах, застывших навсегда,
Ни осужденья, ни прощенья,
Ни жалобы, ни гнева, ни стыда, —
Одна гримаса отвращенья.

Антитеза

А ты, моя любовь, мой давний друг,
Ты, Муза, смолоду седая,
Следишь, как жизнь меняется вокруг,
Землею в землю оседая.

Залишешь ли в графе за упокой
Стволов поваленных колонны?
Осудишь ли? Забудешь ли, какой
Валил их вихорь раскаленный?

История! Ты все забудешь... Ты
Стоишь с лицом серее пепла
И собственной стыдишься слепоты.
Как! Ты стыдишься? Ты ослепла?

— Неправда! — отвечает мне она,
Полна презренья и восторга. —
Мне дальняя дорога суждена,
Я не слепая, а дальноторка.

Железный век зенита не достиг.
Бушуют волны революций.
Твоя тревога, и любовь, и стих
С их грозным праздником сольются.

И может быть, бесследно пропадут,
Вниманья моего не тронув.
Еще не взят решающий редут
Отрядом сильных циклотронов.

Не кончен день опасного труда!
В цепях созвездий, в арках радуг
Вселенная, как редкая руда,
Таится глубже всех отгадок.

Она свое инкогнито впряжет
В двояковогнутую липзу,
И даст оркестр, и факелы зажжет,
Чтоб справить свадьбу или тризну.

И, звездную матерню кроя,
Не пожалеет матерьяла,
И все распорет запово... А я —
Я головы не потеряла.

Я остаюсь на боевом посту,
Полна восторга иль презренья,
Слепа иль дальноторка, я расту.
Но не меняю точки зренья.

БУДЕТ НАПИСАНО В 2061 ГОДУ, ЕСЛИ...

1

Сто лет назад, кроша людские гнезда,
Тряслась земля, морской вздымался вал.
Продукт распада — стронций-90
Загадкой пред учеными вставал.

Но те, кто выжпл на море и суше,
Не ждали осужденья или похвал:
Они дряхлели в страшном равнодушье,
А если где-то раздавался гром,
На всякий случай затыкали уши
В прохладе прочно строенных хором,
Любим делам предпочитали отдых,
Ложились спать и принимали бром.

В их парках, в их садах и огородах
Росла плакун-трава и трын-трава.
В их детях, недоносах и уродах,
Безумье, незаметное сперва,
Накапливалось с неизбежной силой
И, предъявив родителям права,
Охрипшим горлом песни голосило,
На площадях безлюдных книги жгло
И пепел с грязной жижею месило.
И снова тесто на земле взошло.
Пузырилось в крутой и жирной сдобе
И оседало наземь тяжело.
То было жизни жалкое подобье,
Кончина углеродов и белка.
И только вихорь в непонятной злобе
Мял и вертел сырые облака...

Нет! Эта ложь написана не будет
Ни через век, ни в прочие века!

Встает заря и в краткий миг рассудит,
Кто жив, кто притворяется живым.
Она товарищ верный и не шутит.

Я верю всем кострам сторожевым,
Всем красным флагом, всем открытым ранам,
Смертельным, огнестрельным, пожевым.
Я верю знойным азиатским странам,
Их праведному тяжкому труду,
Их юности, их рубищам издранным.

Я, как паломник, в пагоды войду,
Как следопыт, пробьюсь в глухие джунгли,
Как ученик, смиренно припаду
К седому пеплу, тронувшему угли.
Здесь многолетних поисков итог, —
Едва зардевший, юношеский, смуглый,
Надежда мира, пламенный Восток!

А рядом с ним — во влажном блеске полдней —
Ты, черных братьев пищенский чертог,
Ты, Африка! Пускай разряды молний
Мешают разглядеть твои черты.
Встань во весь рост, великая, исполни
Все замыслы, что затаила ты,
Разбей оковы на запястьях юных
И в ликование черной наготы,
В цветочных ожерельях, в бликах лунных
Шуми, как полповодная река,
Пой и пляши, купай детей в лагунах,
Клади дороги в глубь материка,
Вся — от Дакара до Мадагаскара —
Сверкай, как взмах надежного клинка!

И да свершится праведная кара
Над палачами юности твоей.

О, ранний вылет дерзкого Икара...
О, безрассудство старших сыновей,
О, правота, исхлестанная плетью,
Истерзанная пыткой... Выше взвей
Свой алый стяг, суровое столетье,
Чтоб он пылал на празднике любом!
Живая жизнь не сгинет. Не истлеть ей
От лживых слов и водородных бомб.

Когда-то эта искра дорогая
Возникла в кислороде голубом
И озарила, смерть опровергая,
Мильонолетия перевальных вех.
С тех пор она все та же, не другая.
Ее избранник тот же — человек.

АПРЕЛЬ 1961 ГОДА

1

Наконец-то! Первое свиданье
Не в утопии, не в царстве грез.
Сильный человек и мирозданье
Встретились надолго и всерьез.

И глядят, глядят они друг другу
В зоркие, веселые глаза —
Там, где только звезды шли по кругу.
Там, где не гуляла и гроза,

Там, где только мгла и холод волчий,
Только черный бархат пустоты, —
Человек и мирозданье молча
Перешли, как равные, на ТЫ.

Сколько неизвестных и опасных
Перевалов сделано впотьмах!
Сколько честных проб и формул ясных
Прочно отчеканилось в умах!

Как мужали замыслы, как зрели...
Вот оно! Свершилось. Удалось.
И для нас двенадцатым апреля
Ранее то утро назвалось.

Наш народ за то вам благодарен
И за то полюбит вас навек,
Юрий Алексеевич Гагарин,
Необыкновенный человек,

Что вы шли в пространство мировое,
Как идут в атаку, в полный рост.
И когда, завидуя и воя,
Скорость звука поджимала хвост;

И когда земное тяготенье
Шло на убыль и сошло на нет,
И Земля, подернутая тенью,
Стала только ближней из планет;

И когда над Африкою утро
Резко вам ударило в глаза,
И звучал в кабине вашей утлой
Резкий пеленг: «Взять на тормоза», —

Вы не знали страха и унынья,
По-солдатски подвиг отслужив.
Будет ваше мужество отпыне
Эталоном жизни тем, кто жив.

2

Не рекламной напшпан кистью
В небоскребную высоту,
Не сухой пронизан корыстью,
На текущем не лег счету
Подвиг первого космонавта.
Отчего же он удался?
Оттого, что в нем дышит правда,
Сотням глаз открытая вся.

Эта правда прошита светом
На багряном шелку знамен.
Это правда — ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!
Больше нет у нее пмен.
Ее праведный путь не прерван.
На земле, куда ни взгляни,
Та же правда в шестьдесят первом,
Что и в наши юные дни.

Она рядом с Фиделем Кастро.
Больше ценности в мире нет
Ни у цента, ни у ппастра,
Ни в чеканке других монет.

Вот она в Анголе и в Конго,
Полноводная та река.
Бьется громче медного гонга
Сердце черного материка.

Ну так бейся же в лад с широким
Половодьем бурным ее,
Никаким не связано сроком,
Человечье сердце мое!
Не сдавай поста, моя старость...
У тебя еще столько дел,
Столько дней вперед осталось...
Вот и все, что сказать я хотел.

3.

Кто, с одною вольной волей дружен,
Не поверил в чур чура и в небьль?
Кто, космат, и гол, и безоружен,
Молнию вчера похитил с пеба?

Кто он, полубог или титан?
Чья мотыга, чей прядильный стан,
Чей гончарный круг или горп кузнечный,
Не в потустороннем, только здесь,
Славятся добычей бесконечной
Мятежей, гипотез и чудес?

Это мы — в соленых каплях пота,
В черной сажке, в черноземе, в глине,
Обжигатели горшков. Работа
Грязная для бога и богини.
А любой божественный их жест
Не для наших будней и торжеств.
Стрелы Громовержца и Перуна
Не загнали нас в тартарары.
Мы, Коперник и Джордано Бруно,
Разметали папские костры.

И когда анафемская пропасть
Под напором времени разверзлась —
Отступает старческая робость,
Действует мальчишеская дерзость!

Валится Бастилия. В багрец
Зимний одевается дворец.
Как архангелы, трубят плакаты
Революционные азы.
И АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ раскаты
Сжаты в политграмоте грозы.

Это мы! Смотрите же в глаза нам,
В зоркие, опасные смотрите!
В нашем первородстве первозданном
Угадайте крах на Уолл-стрите.

Но другим мы заняты трудом,
Обживаем завтрашний наш дом.
Вот он! Сквозь Галактику, сквозь сонмы
Новых солнц, у космоса в гостях,
Мчится дальше летчик невесомый
На предельных свету скоростях.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Напиши о свойствах времени отдельно
от геометрии.

Леонардо да Винчи

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

*С тобою, время неистовое,
Я жизнь мою перелистываю:*

*Как ты меня озадачивало,
Иной раз и наудачу вело,*

*Иной раз и переучивало,
Спиральный подъем раскручивало,*

*Познание раздвигая мое,
Осталось непостижимое,*

*Немеряное, нечитанное,
Оружием и защитой моей!*

*Останься и впредь, неведомое,
Свободою и победой моей!*

*Хоть оба с тобой не молоды мы,
Сердца наши бьют как молотами,*

*На крайнем своем пределе вися,
Не спи, торопись, пошевеливайся!*

*Не дай захиреть, взрываю мой стих
До полной неузнаваемости!*

*А сверхзвуковую скорость твою
По мере сил я наверстываю.*

БОЛГАРСКАЯ РАПСОДИЯ

...От град на град,
От бряг на бряг...

Лиляна Стефанова

ВСТУПЛЕНИЕ

Что дружба!
Тост заздравный, что ли?
Похмелья гаснущего гарь?
Нет, в нашей воле,
В нашей школе
У дружбы есть ипой словарь.

Иной словарь, иная слава,
Подземный гул иных корней.
И шапка Шипки двоеглава,
И вся поэзия над ней.

А если вдуматься нам глубже,
Закон поэзии таков,
Что для поэта дружба — служба
В погранохране языков.

Я с меньшим не хочу мириться,
Да будет речь моя тверда!
В моей крови шуми, Марица,
Окровавлена, как тогда.
В моей душе плаче вдовница,
Люто ранена и горда.

Есть час истории, в котором
Всей грудью дышит человек
И ясно видит над простором
Граицы перевальных вех:

Огни биваков, звезды ночи,
Костры родопских партизан...
Из дальней дали чьи-то очи
К его приблизились глазам.

И в млечном утреннем тумане,
Сквозь рассветающую тьму,
Вся — дружелюбное вниманье,
Близка Болгария ему.

И мы друг друга в песне кличем.
И, расстоянья вопреки,
Есть — я люблю
И аз обичам —
Два берега одной реки.

ШИПКА

Здесь Шипка.
Здесь Орлиное Гнездо.
Подземный склад костей, крестов, медалей.
Здесь кругозор высокогорный — до
Тысячелетних, неоглядных далей.
И зубья скал отвесных.
А вокруг,
Куда ни глянь,
Спешит родиться зелень,
Вытягивает сотни цепких рук
И вьется меж уступов и расселин.
О, как она упорна!
Как в любой
Травинке хилой беспредельна жажда!

Здесь Шипка,
Здесь пылал неравный бой.
И этот бой был выигран однажды.

История дышала тяжело,
Врубая в скалы шаг пехоты русской.
От хриплых «накраул!» ей глотку жгло.
Она глядела исподлобья тускло.
Но сразу выпрямлялась в полный рост
И молнией раскалывала камень.
Вот, вот они — следы ее борозд,
Ее биваков и могильных ямин.
Вот ложементов брошенных следы.
Вот мрамор с бедным золотом фамилий.

Шла армия. Без хлеба, без воды.
Рожки не пели. Кухни не дымили.
Когда же в серой пряже облаков
Луна мерцала, как свечной огарок, —

В солдатский сон из мглы иных веков
Глядели очи девушек-болгарок —
Тех, что в церквах сгорали,
Иль других,
Тех, что потом счастливые родятся...
Пуускай они забудут зверский гик
И саблю янычара-святотатца.

Болгары шли в порядках русских рот.
Шли ополченцы — с пикой, с карабином,
Шли в боевых отрядах, шли вразброд,
С лихою песней, с взглядом ястребиным, —
Красивый, смуглый, яростный народ,

Ну так вставай, горнист, и протруби нам
Сигнал тревоги!

Ибо там — огонь,
Чуть тлеющий, но тем прямей и краше
В почлах подполья, слежек и погонь
Там закалится чье-нибудь бесстрашье!
Там — по следам таинственных легенд,
По сказкам о гайдуках-великанах
В книжарницах найдет интеллигент
Впервые правду о родных Балканах.
Там — не прослежен в жилах горных руд,
Не нанесен пунктир его на карте,
Но он идет — подземный тяжкий труд
В разрозненных восстаньях, в спорах партий...

Там — будущее близится, едва
Глаза и руки из тумана выдрав.
Там потрясает мощной гривой льва
Бедняк-наборщик, молодой Димитров,
Соратники его наперечет.
Но, вскинув древко огненного стяга,
Сам Подсудимый следствие начнет
На горе поджигателям рейхстага,
И жирный Геринг рухнет, как мешок
Гнилой соломы, перед Подсудимым,
И Гитлера подернет нервный шок...

Но к будущему за бивачным дымом
Не так легко пробиться и пройти,
Еще родиться должно Человеку!
На Шипке четверть тяжкого пути
Осталась девятнадцатому веку.

Год на исходе семьдесят седьмой.
На Шипке снег от жаркой крови розов,
Никто отсюда не уйдет домой.
Один просвет за этой смертной тьмой:
 Болгария — пароль.
 Россия — отзыв.

Идут недели.
Тают словно дым
Людские силы.
Как в такую пору
Опасно и легко быть молодым
И погибать без стога и без спора!

На Шипке все спокойно.
В этот день
Снарядов нет, и на врага бросают
Порубанных, пострелянных людей.
Их тысячи. Они не воскресают.
На Шипке все спокойно.
В эту ночь
Хирурги ткань живую искромсают,
Распилят кости... Чем еще помочь?
Живая ткань и кость не воскресают.
На Шипке все спокойно.
Лишь заря,
Забыв свое огниво и кресало,
В ущельях горных проплутала зря.
До декабря заря не воскресала.

На Шипке все спокойно.
Вестовой,
На взмыленном коне, в косматой бурке,
Мчит наугад, — пускай стреляют турки,
Пускай смельчак рискует головой,
От горя и от счастья сам не свой:
Он видел сон — невесту в Петербурге.

Любимая!
На берегу Невы
Ваш синий взор ни весел, ни печален.
Меня отчаянным считали вы?
Нет, в армии я больше не отчаян.
Я только мертв, хотя и не убит,
И только жив, хоть и погиб навеки.
Но сколько злости, горечи, обид
Вмещается без пужды в человеке!
Загадки этой я не разрешу.
Я подвига для вас не совершу.
Я, может быть, письма не допишу.
Но звезды в черном небе не погасли.
Но я дышу.
И если я дышу,
То я люблю вас и хоть в этом счастлив.
Растаял снег, ложась на воротник
Нарядпой шубки вашей темно-синей,
Впотьмах я к вашим пальчикам приник —
К горячим пальцам плачущей России.

Не плачь, прощай!
Ведь это ты сама
Во всех церквах нас отпевала оптом.

...И вот клочок солдатского письма
Затлел, и задымился, и затоптан.

Сегодня он цветет пьянее роз
И ярче роз — и ни о чем не помнит.

Еще одну охапку свежих роз
На камни бросил истовый паломник.

Еще один рубильник дальних гроз
В лиловых тучах сомкнут и разомкнут.

История встает во весь свой рост
И смотрит в окна ваших светлых комнат.

АРХЕОЛОГИ И ШКОЛЬНИКИ

Золотые Пески знаменитого пляжа.

Черноморье в серебряной пене.

За гостиницей — кручи ребристого кряжа.

Белый камень. Крутые ступени.

Здесь Комедия, дерзкая киноактриса,

Крутит пленку и головы кружит,

С первым встречным дурачится, прячась от
бриза,

Ни о чем не горюет, не тужит.

Рядом с ней Детектив соблюдает обычай,

Наблюдает, сощурился, дьявол!

Он гнался за немалой, как видно, добычей,

По всему Средиземному плывал.

А Трагедия, дама еще не седая,

Повела на раскопки потомка,

Поднимается, пылью на грунт оседая,

Эта мраморная незнакомка.

Афродита она иль рыбачка в Несебре,

Только ради усмешки той крали

Люди добрые шли сквозь ущелья и дебри,

Церкви грабили, золото крали.

Рядом — всадник фракийский сражает дракона.

Он сквозь время галопом пронесся:

Загорится в Москве золотая икона,

Лик Георгия Победоносца.

Рядом — трагик, из Рима бежавший под старость.

Изменила ему Мельпомена.

Археологам маска из глины досталась,

Ухмыляется зло и падменно.

Торсы, профили и барельефы надгробий,
Ключья жизней, осколочный хаос —
Сколько тел истлевало в подземной утробе,
Сколько битых горшков рассыхалось!

И сбежала оттуда Поэзия мудро,
Предложила нам в первом изданье
Ярко-синее небо,
Сентябрьское утро,
Детский праздник у школьного зданья.

Рев «ура» — ураган над безбурным побережьем.
Входим в зал.
По местам!
Говор замер.

И — на важный президиум, в лица приедем
Все ребята уперлись глазами.

(Не педант, не педолог — я в скобках замечу,
Что смотрю очень трезво на встречу.
Вот один человечек в стихающем гаме,
Черт возьми, барабанит ногами,
А ближайший ко мне не зевает, хлопочет,
Карандаш незаточенный точит,
Зажимает, как пику, готовую к бою,
Между носом и верхней губою, —
Только девочки, наши болельщицы, млеют,
Гулко хлопают, рук не жалеют...)

В остальном репортаж протоколен и краток.
Здесь начало учебного года.
Свет ученья не цветик с ухоженных грядок,
Не случайность, не чудо, не льгота.
Это весь государственный строй и порядок,
Миллион разлинованных в клетку тетрадок.
Воздух времени.
Наша погода!

Так на воздух!
И сразу — неистовый приступ
Детских возгласов,
Этим не шутят.

И поэты -- не хуже заправских туристов --
Что поделаешь! --
Пленочку крутят.

Если даже мы старше их очень намного,
Скажем -- на полстолетия старше, --
Все равно прошагаем с мальчишками в ногу,
В ритме их пионерского марша!

Нет, Поэзия времени даром не тратит,
Но гуляет на празднике равных,
И пускай под землю покоится прадед,
На земле беспокоится правнук!

Так встречается Прошлое с Будущим. В этом --
Наша суть, а не прихоть пустая.
Распрощайся же, Юность, со старым поэтом,
Пролетай, журавлиная стая!

ОРФЕЙ ФРАКИЙСКИЙ

На пустой просцениум он вышел,
Взял кифару — и народ услышал
Безутешный стон Орфея-старца,
Что в родимой Фракии скитался
И в тысячелетьях звал все ту же
Эвридику из посмертной стужи:

— По всему гулял я миру,
Плыл как дым, никем не зрим,
Помню в пламени Пальмиру,
Взятый варварами Рим.
На границе вечной ночи,
У Геракловых Столбов,
Океан слепил мне очи,
Исцеляла их любовь.

Скрипки кавалера Глюка
Пронесли меня сквозь ад.
Возникла тень из люка
И звала меня назад.
И царицей мне казалась,
Шелком мертвенным шурша,
И руками звезд касалась
Эта лживая душа.

Там, у шатких скал картонных,
Среди пляшущих блудниц,
В злых корчмах, в ночных притонах,
Перед ней я падал ниц.
Полон гибельной отвагой,
Позабыл ее легко,
Разрывал могилу шпагой,
Хоронил Манон Леско.

Так повсюду, где бы ни был,
Я в самом себе носил
Гибель, гибель, только гибель
Да избыток тщетных сил.

Паруса мои вздувались,
Помогал Зевес-Перун,
Злые молнии сдавались,
Лишь бы я коснулся струн.

Облака, деревья, камни
Кланялись мне по пути.
Ноша тяжкая легка мне, —
Но зачем ее нести?

Милая! Зачем же в мирозданье
Нам одним нет места для свиданья,
Нет костра, нет очага, нет крова?
Вся Земля освещена багрово.
Вся жилая часть вселенной в дыме.
Стали мои сверстники седыми,
Разбрелись по кабакам и цедят
Мутный яд, о молодости бредят.
Все младенцы забнут в колыбели.
Все отцы от горя огрубели.
Корабли недвижно спят на верфи.
В тысячах могли роиться черви.

Только мы с тобой несемся в тучах —
Две звезды бездомных, две падучих,
Два разряда молнии ветвистой, —
Мы несем любовь, а не убийство.

Но опять с тобой мы разминулись
В сутолоке узких этих улиц.
Я искал тебя, а нахожу я
Не тебя, а Собственность Чужую.

И кричу тебе я глоткой хриплой
И ответа жду от немоты:
Милая! Еще не все погибло.
Дай мне знак. Откликнись. Где же ты?

СВАДЬБА НА ДОРОГЕ

Синий маленький автобус резво катит по дороге.

Вирази легки и круты, дымны горные отроги.

Мы, двенадцать пассажиров с нашей речью

трехъязычной,

Немцы, русские, болгары, разговариваем зычно:

— Приятелство, Freundschaft, дружба, —

небогат словарь, но складен.

Не нуждаясь в переводе, каждый высказался за день.

Впереди — ночлег и ужин в стольном городе Софии.

Позади, на рильских скалах, мощи мучениц сухие,

Черти резвые на фресках, колокольный звон кандалный.

Призрак смутный, отзвук дальний

Той эпохи феодальной.

А вокруг в осенней славе труд идет неутомимый.

Синий маленький автобус мчится мимо, мимо, мимо.

Стоп! Внезапно скрипнул тормоз.

Что за чудо на дороге?

Парни в праздничных рубашках и девицы-недотроги,

В лад раскачиваясь, пляшут на лужайке в тесном круге.

Вскинув на плечи друг дружке смуглые большие руки,

Трубачи надули щеки. Барабанщик шпарит рьяно.

От натуги он лиловый, от веселости багряный,

Вскинет палку, словит ловко, сам пьянеет в дробном

треске,

Хилый, жилистый и резкий,

Он похож на черта с фрески.

— Свадьба, други-приятели!

— Hochzeit, teurere Genosse! —

Трехъязычный шепот зычный по рядам у нас пронесся.

Сивоусый и красивый старикан встает навстречу.

К нам с короткою и кроткою обращается он речью:

Дескать, люди мы простые, сами видите какие!

Не побрезгайте отведать крепкой свадебной ракии.

Мы пошли к столу послушно, а старик продолжил веско!
— Не к болгарам обращаюсь, не о дружбе речь
советской.

Вам особое внимаанье, други немцы-демократы,
Потому что мы вам рады, — чем богаты, тем и рады.
Потому что не забыли, — раньше райхом вы гордились,

Но теперь вы потрудились,
И соседям пригодились,
И являетесь к нам в гости.
И в заздравном нашем госте
Нет ни каверзы, ни злости,
Дорогие наши гости!

Ибо люди мы простые, сами видите какие!
Предлагаю за невесту отхлебнуть глоток ракии.

Тут певеста к нам подходит, улыбается учтиво,
Рот платочком утирает, раздумянулась на диво,
Но уже гудит водитель, он рывком автобус двинул.
Призрак свадьбы деревенской за окном мгновенно

сгинул, —

Словно кто-то звездный кубок наклонил и опрокинул,

Словно он захлопнул дверцу
Золотой болгарской ночи.
Но зачем глядятся в сердце
Мне твои, другарка, очи?

Но зачем в софийских парках
Столько пляшет пар влюбленных,
Светофоров столько ярких —
Красных, желтых и зеленых?
Столько песен чужестранных
В этих людных ресторанах,
Что за пляшущие черти
В этой смутной крутоверти?
Что это за пантомима
Разыгралась, мчится мимо
Золотой болгарской ночи?

Но зачем глядели мимо
И твои, другарка, очи?

КАНТИЛЕНА

Я слышал гул далекого былого,
Тревожный стон тугой струны.
Так первое промолвила мне слово
История твоей страны.

Раздался топот легендарных конниц.
В Родопах среди острых скал
Твой дед, красивый, храбрый македонец,
Тропу к любимой отыскал.

Он козушок накпнул ей на плечи.
Слились две тени на мосту...
Все будет! Все молчанье их, все речи
Я у тебя в стихах прочту...

Все сказки гор, все лани, все олени
Пьют воду этого ручья...
Вся вереница новых поколений
Еще немая и пчья...

Все буквари твоей начальной школы,
Вся политграмма весны,
Всех ранних гроз наречья и глаголы,
Все недоснившиеся сны...

Все, что могло быть,
Все, что и не спилось,
Едва блеснуло на пути.
Прости мне робость,
Окажи мне милость,
Прощай, прости,
Прощай, прости...

НОЧЬ В СОФИИ

В эту ночь Хаммаршельд потерял свой скелет,
И была его гибель горька.

Знать, недаром он вытянул черный билет
В джунглях черного материка.

Был он сед, был корректен, да спутал счета!
Старый мир его честь оградит.

Его спорных заслуг нищета и тщета
Прочно врежется в шведский гранит.

В эту ночь, над бессонной Софией вися,
Млечный Путь раздвоил рукава.

И цвела и сияла Болгария вся.
Вот была эта ночь какова!

А вверху виноградины звезд и планет
И вино в бурдюках облаков.

Ни конца, ни начала у праздника нет,
Вот каков этот пир, вот каков!

Был неоновый лозунг: «Да здравствует мир!» —
Словно жемчуг в короне Балкан.

С ним аюкались Альпы, Кавказ и Памир.
Грохотал Эверест-великан.

Нам история пела во здравье свое,
Раздавала такие дары,

Что раскаркалось в древних веках воронье,
Троны рушились в тартарары.

В старом Тырнове, в башне, король Болдуин,
Крестоносец с душой игрока,

Завывал на цепи как собака один.
И была его гибель горька.

Погибали цари от предательских рук.
И фашисты со звоном в ушах
Убегали от пуль партизанских — и вдруг
Обрывался над бездной их шаг.

Пропади они пропадом, — разве по ним
Мы пришли панихиды служить?
Мы достоинство, совесть и честь сохраним,
Мы сто лет собираемся жить.

Мы, поэты и школьные учителя,
Виноградари и чабаны,
Самобранные скатерти людям стеля,
Посылаем им яркие сны.

И приснилась мне ранняя юность моя,
И седые, как время, моря,
И на Западе — злые, чужие края,
И над снежной Россией заря.

И высокую, чистую ноту внеся
В бесконечную музыку сна,
Расцвела и сияла Болгария вся —
Да и осень была как весна.

Так работает ритм. Пусть же он говорит
Горячее меня и точней.
О Болгария, так мое сердце горит
От огня твоих ярких очей!

Напоследок признаюсь, что встречу горд —
Нашей первой за тысячи лет.
Два мотора глушат прощальный привет,
В синей дымке расплылся аэропорт.
Сильный ветер аккордом взорвал аккорд.
И конца у расседии нет,

ПО ДОРОГАМ ЮГОСЛАВИИ

Пройдут мимо красны девки,
Так сплетут себе веночки.
Пройдут мимо стары люди,
Так воды себе зачерпнут.

Пушкин—Караджич

АДРИАТИКА ВПЕРВЫЕ

Адриатика — Ядран —
Блещет зносом, пляшет дико.
Жар Ярила, цвет пиддиги,
Южный брег славянских стран.

С маху время расколов,
На густом меду настоян,
Впрямь не медный, золотой он,
Этот гул колоколов.

К пирсу жмутся корабли,
Парусники давней эры, —
Видно, турки-флибустьеры
Здесь добычу погребли.

Цезарский и папский Рим
Сплетены двойным обрядом
И следят ревнивым взглядом,
Чьею кровью день багрим.

Опоздал на сотню лет
Дряхлый маршал Бонапарта.
Габсбург мнет штабную карту,
Рвет с мундира эполет.

Башни серые во мглу,
Как гурты овец, шагают,
И туристам предлагают
Сувениры на углу.

Сколько крыльев, сколько ряс,
Херувимов и монахов!
Щелкнул цейсом, только ахнув,
Парень в шортах, лоботряс.

А мсж волн и облаков —
Видимая вкось и прямо,
Возникает синерама
Двадцати былых веков.

Время, время! Это ты,
Странник, а не археолог,
Книги сбрасываешь с полок,
Рвешь их желтые листы,

Запираешь свой музей
И навстречу новым зорям
Боевым встаешь дозором
Над могилами друзей.

Там, над скальной крутизной,
Выше башен и гостиниц,
Спит безвестный пехотинец,
Даль синест, блещет зной.

АДРИАТИКА В ТУМАНЕ

Пробудись! В такую рань,
Прошлых дней смыкая дуги,
Бешеные впадуки
Кружат горную спираль.
И оттуда, с тех высот,
Словно сказочные духи,
Мчат на вырубку гайдуки,
Опоздав лет на пятьсот.

Но не надобно чудес,
Лишь одно уважь дерзанье, —
Расскажи о партизанах,
За свободу павшем здесь.
Кем он был? Подай мне знак
Воркованьем твоих горлиц, —
Серб, хорват иль черногорец
Тот неведомый юнак?

Легким парусом кренясь,
Адриатика в тумане
Отвечает — вся вниманье
К жизни каждого из нас:
— Нет пощады молодым
В молниях военной почы.
С той поры мне застит очи
Не туман, а черный дым.

Отвечает ветровой
Дикий голос бессловесный:
— Его имя неизвестно,
Заросло оно травой.
Но его бессмертный прах
Есть бессмертие народа.
И как скальная порода,
Не крошится он в горах.

Отвечает гребень скал:
— Я над прахом крест воздвигнул,
Тайну времени постигнул,
Но напрасно я искал,
Чьей рукой озеленен
Бедный холмик, дом солдата.
Стерлось имя, стерлась дата,
Только алый цвет знамен,
Только алой крови цвет
Остается в жизни вечной, —

...Только этот человеческий
Прозвучал в горах ответ,

АДРИАТИКА В ПОЛДЕНЬ

Запрягли играющих дельфинов
Юные богини в колесницу,
Мчатся, Адриатику покинув,
В ту страну, которая им снится, —
Сами не проснутся,
Только нам приснятся
В той стране, которая им снится.

Что по праву им на грешном пире?
Данте у порога преисподней,
Достоевский в каторжной Сибири
Или только брага знойных полдней?
Людно иль безлюдно, —
Все пройдет бесследно,
Испарится брага знойных полдней.

О, как это весело и дивно!
Над чертогом Дюклетяна
Самолет несется реактивный,
Смотрит быстроногая Диана,
Ищет удивленно
Бога-властелипа
И смеется резвая Диана.

В зеркалах витринных искаженно
Отразилась Анадиомена,
Глупая, влюбляется в пижона,
Не пенорожденна, не надменна, —
Очень современна
Эта перемсна,
И смеется Анадиомсна.

Смех богинь покрыл иные звуки,
Позывные всех радиостанций,
О, томленье встречи и разлуки,
Утомленье в бесконечном танце!

И куда ни деться,
И куда ни кинься,
Некуда уйти, — останься в танце.

Что же спится гибнущим богиням?
А они и не скрывают смеха:

— До свиданья! Если мы и сгинем,
Все равно нам гибель не помеха.

Мы не знаем страха,
Мы не верим лиху,
Нам ничто на свете не помеха!

Верьте или не верьте — дело ваше.
Мы несемся мимо мирозданья,
Мчимся и становимся все краше,
До свиданья, люди, до свиданья!

Разве мы колдуньи,
Разве привиденья?
До свиданья, люди, до свиданья!

У ДИОКЛЕТИАНА

1

Я подружился с Диоклетианом,
Когда неукротимый этот старец
Простил своим врагам и христианам
И, в странное чудачество ударясь,
Сажал салат на тучных огородах
В Далмации у золотого берега,
Всему предпочитал беспечный отдых
И общество раба, софиста-грека,
Нечесаного, в порванной тунике...

Усталый цезарь гас мало-помалу.

Я помню изваянье мощной Ники,
Что два крыла недвижных поднимала
Над гаванью. Теснились к ней фелюги,
Галеры и рыбацкие корыта,
И женщины, как водится на юге,
Раскачивали бедрами открыто.

А дальше голубела соль морская,
Купель Перуна, колыбель Зевеса,
Вне времени, и зыбилась сверкая,
Лишенная объемности и веса.

Однажды раздраженный цезарь выгнал
Софиста-грека и свою флейтистку,
Позвал меня, и бычью выю выгнул,
И мне в издевку поклонился низко,

И говорит:

— О чем ты, варвар, тужишь,
Чему ты служишь в рубище убогом?

Смотри! Я дрогну от летейской стужи,
Хотя и слыл недавно полубогом.

Я слишком стар. Все миновалось. Баста!
Вставай же, варвар, римлянам наследуй,
Казни рабов, и золото грабастай,
И забавляйся на пирах беседой.

Смущаешься? Ты, видно, не любитель
Ни шуток, ни признаний откровенных?
Прости! Я не тебя, глупец, обидел,
А кровь свою, что леденеет в венах.

Что ж, пей фалерно и побалагурим
О христианском догмате прощенья!
Простим громам, и молниям, и бурям!
Я умираю, друг, от отвращенья.

Вот я возьму три пальца в рот и свистну —
Погаснет солнце, кончится вращенье
Небесных сфер. Мне солнце ненавистно.
Я умираю, друг, от отвращенья.

Он свистнул, и вошла с лицом голубки
Рабыня босоногая, и тотчас
Вино запенилось в янтарном кубке.
И он, зажмурясь и сосредоточась,

Все выпил залпом, как велит обычай,
И скорчился, и на пол рухнул тут же.
И женщина, склонясь над тушей бычьей,
Рыдала, словно о младенце тужит.

Потом рванулась, закричала дико
На странном языке своем. Сбежались
Рабы, засуетились над владыкой,
Иные же друг к другу молча жались.

2

...Прошли века. Семнадцать миновало,
Великих и ничтожных. Слишком много,
Чтоб у развалил, посреди обвала
Шагали их центурионы в погу,

В ином обличье я причалил к Сплиту,
Неузнанный вхожу в пустой триклиний,
Где рухнул Дноклетиан на плиты
И замычал, как бык лилово-синий.

И только в погребках его осталась,
Расползшаяся в медленном истленье,
Та вековая старость и усталость.
Она все та же. Нет ей исцеленья.

Как будто не прошло коротких суток.
Все то же сверху смотрит новолуние.
И бел как мел и как химера жуток
Лик мертвеца, распухший накануне.

И тошен винный запах. И как будто
За воркованьем реющих голубок
Мне слышен шаг рабыни необутой,
Той, что несла янтарный смертный кубок.

А дальше голубеет соль морская,
Купель Перуна, колыбель Зевеса,
Вне времени, и зыбится сверкая,
Лишенная объемности и веса.

ГАВРИЛО ПРИНЦИП

Кем был он, этот школьник странный,
Вдруг повзрослевший и так рано
Проснувшийся? Как был он стар,
Когда ступил на тротуар,
И ошалел в базарном гаме,
И неуклюжими ногами
Уперся насмерть в шар земной,
И приказал ему: — За мной! —
А шар меж тем вращался мерно,
Подставив солнцу жаркий бок.
Но гимназист высокомерный
Встал на посту — как полубог.

Он будущее пз-под парты
Без содроганья рассмотрел.
Он видел, как штабные карты
Покрылись клинописью стрел.
И вот на крохотном плацдарме,
На плитах той же мостовой.
Машины миллионных армий
Расположили лагерь свой.
И Сербия запыльхала,
И дымных крыльев опахало
Над ней качнулось, а внизу
Любой кузнец ковал грозу.

Сам школьник ничего не значил,
Но весь напрягся, зубы сжав,
И жалким револьвером пачал
Сраженье мировых держав.
И тень мальчишеского торса
Росла в полнеба над стеной,
Когда он в будущее торгся
И приказал ему: — За мной!

Секунды гибли в беглой пляске,
Вот он услышал стук коляски,
Тяжелый звон восьми копыт
В сердцебисние был вбит.
Коляска между тем взлетела
На мост. И, взятый на прицел,
Сам приподнял с подушек тело
Австрийский рослый офицер.
Его жена сидела рядом
В пернатой шляпе и слегка
Косила осторожным взглядом
На церкви и на облака.

Внезапно чей-то тощий облик,
Парадной встрече вопреки,
Как задранные вверх оглобли,
Две длинных вытянул руки.

Всадил он раз-две-три-четыре-
Пять пуль в эрцгерцога и в ту
Вторую куклу в том же тире,
На том же каменном мосту.

В обойме у него осталась
Шестая пуля для виска.
Но что же это? Сон, усталость,
Восторг, удачливость, тоска?..

Стоял убийца, как свидетель
События уличного. Он
Своей судьбы и не заметил,
Чужою кровью ослеплен.

И в блеске этой крови скудной,
В осколках битого стекла,
В разверстости полусекундной
Пред ним вся юность протекла.

Его схватили, смяли, сбили
И вбили в черный грунт земли,
Сигнал тревожный протрубили,
В карете черной увезли,

Во имя призрака и трупа
Судили спешно, смутно, тупо,
Засунув в каменный мешок,
Без казни стерли в порошок.

Не подчиненный их решению,
Ребенок, а не человек,
Он пулей был, а не мишенью.

...Так начался двадцатый век.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТЕРЕОРАМА

Низко кружится воронье.
Оголтелые псы томятся.
Лишь коты во здравье свое
Магнетизмом тайным дымятся.

Ощутили они в шерсти
Слабый треск и сухое жженье.
Постепенно должен расти
Ток высокого напряженья.

Ставит геодезист редут,
Раздвигает свою треногу.
На ходулях столбы бредут,
В лес вторгаются понемногу.

Лес велик. Он растянут вплоть
До пределов воображенья.
Должен ткань его пронороть
Ток высокого напряженья.

Вот высокий вольтаж гудит.
Там, где птахи в листьях ласкались,
На прохожих будка глядит,
Некрасивым черепом скалясь.

И когда чернокожий Том
Поцелует белую Дженни,
Полосует его кнутом
Ток высокого напряженья.

Но над веком плывет массив
Грозовых бойниц и хоромин.
Он, как юный демон, красив,
Как древнейший мамонт, огромен.

Так накапливает гроза
В медных чанах своих брожение.
Человечеству бьет в глаза
Ток высокого напряжения.

Наконец-то! О, разряди
Ради наших злаков растущих
Все, что есть у тебя в груди,
Все, что золотом пышет в тучах!

Словно в зеркале, в нас самих
Разгляди свое отраженье!
Расщедрись на короткий миг,
Ток высокого напряжения!

Ты стоишь под грозой внизу,
Как бездомный король Шекспира,
Приглашаешь на пир грозу,
Помниаешь ушедших с пира.

Всем, художник, ты овладел
И всему найдешь выраженье.
Но дождись!
Есть иной предел
У высокого напряжения.

Если ты в грозовой разряд
Невпопад и зря угораздил,
Тебя молнии разразят,
Но какой же ты, к черту, мастер!

Ты не кончишь картин и книг
И не выиграешь сраженья.
Вот включает твой ученик
Ток высокого напряжения.

МЫ, ПОЭТЫ

Поэты книги шлют друг другу,
Узнав друзей издалека,
И к ним протягивают руку
Событья, страны и века.

Потом в чужой язык вникая,
Обогащают свой родной,
Чтобы сверкала речь людская
Различием и новизной.

Потом — чем прика их тише,
Тем ближе множеству живых,
И снова их четверостишья
Сгорают в ранах ножевых.

Потом дряхлея и хирея,
Одни красуются еще
И в должности архиереев
Бдят благолепно и общо.

Другие же бредут безмолвны,
Учась у молний мастерству,
Переводя молчанье молний
На всенародную молву.

Но с временем шагая в ногу,
Не поворачивают вспять.
У них работы слишком много,
В могилах некогда им спать.

КАНАТОХОДЦЫ

Константину Симонову

В Кодженте, в городе желто-синем,
Под желтым прожектором и синей луной
Шли по канату сапожник с сыном,
Как два существа с планеты пной.

Не знаю, был ли конец состязанья,
Достойный всех спортивных призов,
Иль, может статься, обломок сказанья,
Далеких дней еле слышный зов, —

Но рядом Азия стеной глинобитной,
В накрапах охры и рыжей хны,
С усмешкой скрытной и необидной
Следила в темном углу чайханы,

Как мальчик шагал, держась за воздух,
И ба-лан-сировал, едва дыша,
Намечен в бликах лунных и звездных
Не толще школьного карандаша.

Он был невесом и почти бесплотен,
Пятнадцатилетний тот новичок.
И люди в количестве многих сотен
Кричали в знак одобренья: «Чох!»

Под ним листва мерцала и млела,
Чернел палатками пустой базар.
И мальчик с лицом белее мела
На высшую радость в жизни дерзал.

И я подумал, — вот первая вежа,
Древнейшая, может быть, на земле.
Так врублен грубым резцом человека
Рисунок мамонта на голой скале.

Так схвачен ритм священного танца,
Чтобы когда-нибудь через века
На волнах грядущих радиостанций
Шла половодьем его река.

Так мальчик Икар, упавший низко,
Не слышал таянья хрупких крыл.

...Искусство! Жажда смертного риска!
Кто первый тайну твою открыл?

СКАЗОЧКА О БОГЕ

Грубо выдран из камня резцом
Неприветливый маленький бог,
С пизким лобиком, плоским лицом,
Косоглаз, кособрюх, кособок.

Что вверху? — Польшаает гроза.
Что внизу? — Высыхает трава.
На скуле его блещет слеза,
Отразившая солнце сперва.

Богу нечего делать с людьми,
Только пучить пустые глаза.
Как его ни пои, ни корми,
Он не скажет ни против, ни за,

Он детеныш безмозглой скалы.
В нем ее очертанья видны.
Он не стоит хвалы и хулы.
Но на свете живут колдуны!

И когда польшается гроза,
И когда высыхает трава,
Говорят они против и за,
Все какпе им надо слова.

Они твердо на этом стоят,
Служат бедному богу с умом,
А потом его брагой поят,
Мажут медом, а то и дерьмом.

Бог одну только хитрость принас:
Разевает голодную пасть.
Если мимо идет свинопас,
В колдуны он не хочет попасть.

Мимо, мимо, кузнец и гончар,
Недостойные божеской тьмы,
Недостойные божеских чар,
Захотевшие зваться людьми!

Вот уже неказистый божок
Где-то около скул или век
Ощущает внезапный ожог, —
На него посмотрел человек!

ВОСТОК

Песня не ждет оседания мути,
Чтобы, как оползень горный, осыпал^{ись}
Чувства, огромные в первой минуте.
Тициан Табидзе

Самый юный, отчаянно яркий,
Жаркий, жадный, талантливый мир!
Словно легкая радуга, аркой
Оперся на Кавказ и Памир.

Там народы поют и танцуют,
Стонут струны и бубен стучит,
И джигиты на скалах гарцуют
И щитом ударяют о щит.

Там живет в несравненном чекане
Золотая душа мастерства,
Сила пенится в каждом стакане,
В каждой памяти юность жива.

Это первые вести с Востока.
Дальше, дальше! Услышь и увидь,
Окупись в пенный кипень потока,
Чтобы молодость восстановить.

Догони, дотяни до предела,
А сумеешь — махни за предел!
То не песня тобой завладела, —
Всей вселенной ты сам завладел.

И она отдается нагая,
И смеется малиновым ртом,
Все, что знала вчера, отвергая
И не зная, что будет потом.

Не старей же, а то не увидишь
Ни земли, ни зари, ни звезды.
Канут в ночь Атлантида и Китеж,
Смоет первый прилив их следы.

Не старей, не взрослей! Потому что
Только юность одна и растет,
Только юности дико и чуждо
Все, что мучает нас и гнетет.

Только юность! Ты слышал дыханье
Ее розовых, пламенных уст
В давней сказке, а то и в духане,
Где дрались Ариман и Ормузд.

Ты прочел ее росчерк беспечный
В пляске молний сквозь тьму облаков.
Ты увидел ее в первой встречной,
Потому что и сам был таков.

Пусть же юность придет и рассудит!
Только ей это право дано.
Это будет, когда нас не будет...
Но рассудит она все равно!

РАБЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Как нам выдрать
Колени, и плечи, и локти свои?
Как нам выкарабкаться
Из косого камня.
Родиться?
Во вселенной летят ястреба
И поют соловьи,
А у нас только в ребрах
Колотится пленная птица.

Подари нам топор,
Дай нам в руки мотыгу и лом,
И свою мастерскую,
И окна, раскрытые настежь,
И всю знойную землю,
Чтоб выкорчевать бурелом,
И все небо, грозой озаренное, —
Ты его застнись!

Ты, художник, устал!
Ты забыл, что сквозь трещины скал
Прорезаются к свету
Глаза твоих будущих статуй.
В каждой мраморной глыбе,
Которую ты обласкал,
Притаился и ждет
Твой завистник и твой соглядатай.

В три погибели сгорбленный,
Бедный, развенчанный царь!
Ты когда-то упорствовал,
Страпствовал, слыл полубогом.

Так ударь же резцом,
И еще, и еще раз ударь!
Сделай нас
Иль разбей на куски
В отвращенье глубоко!

Миновали столетья,
Как это мучительство длится!
Мы исхлестаны плетью,
Мы прячем безликие лица,

В перевозданных породах
Смыкаем постылые векш.
Труд не начат,
А отдых
Нам тоже заказан навеки.

Спит музейная зала.
Двухсветное это пространство
Нам давно рассказало
О жизни прекрасной и страстной.

Да красотка девица
В оправе из перьев и кружев
Восхищенно дивится,
Как рвемся мы,
Мышцы напряжив!

Как, угрюмы и грубы,
Засунуты в оползши трещин,
Тянем черные губы
И пальцы
Ко всякой из женщин...

АППАССИОНАТА ВТОРАЯ

Прощай, прощай! Наверно, очень скоро
Мы будем слышать только тишину.

П. А.

Не знаю, когда из вселенной выбыл,
Куда отчалил из жизни моей.
Я помню только общую гибель,
Шатанье гор, клочкотанье морей.

Земля! Это было смутное детство
И юность — вспышка, погасшая вмиг,
И зрелость... И только успел взглядеться,
Все кончилось. В тучах глухонемых
Скопились разряды будущих молний.
О, если б ответ их на лету
Напомнил, каким я светом наполнил,
Каким огнем озарил пустоту!

О, если бы только переупрямить
Распахнутый настезь мертвый простор,
О, если бы только запала в память
Хотя бы жалость иль меньший вздор!..

О, если бы только, если бы только
Вернулись блаженные муки те
Во всей их правде шаткой и стойкой,
Во всей оболганной их чистоте!

Мелькни же беглым росчерком в звездах!
Останься хоть на сетчатке глаз,
Необходимая, как свет и воздух,
Неотвратимая, как в первый раз!

Пройди в беспечном ветряном вальсе,
Шурша шелками на Млечном Пути,
О, не прощайся, о, не печалься,
Пройди, мелькни, останься, прости!

Но я позабыл, какой это танец,
В три четверти или дикий тамтам...
На нас обоих больше лица нет.
И мы не встретимся ни тут ни там.

МАЯКОВСКИЙ

Пуускай, никаким ремеслом не владея,
Считают, что их выручает идея,
И в разных журналах в различные сроки
Печатают лесепкой вялые строки.
Пуускай водянистым своим пересказом
Хотят подсластить его гнев и сарказм
И держат в свидетельство собственной мощи
Цитаты — поплоче и мысли — поплоче.

А он, как и был, остается поэтом.
Живым, неприкаянным и недопетым,
Не слышит похвал, не участвует в спорах,
Бездомен, как демон, бездымен, как порох!
Ни дома, ни дыма, ни думы, ни дамы,
Ни даты, отбитой былыми годами...
Никем не обласкан, никем не освистан,
Не отредактирован, не перепздан.

Но каждое утро, как в первом издании,
Впервые вперяет глаза в мироздание,
В сумятицу гавани, в давку вокзала,
И снова, как время ему приказало,
Встает на трибуне, и требует слова,
И на смерть идет, и рождается снова.

МАРИНА

Седая даль, морская гладь и ветер
Поющий, о несбыточном моля.
В такое утро я внезапно встретил
Тебя, подруга ранняя моя.

Тебя, Марина, вестница моряны!
Ты шла по тучам и по гребням скал.
И только дым, зеленый и багряный,
Твой седые волосы ласкал.

И только вырез полосы прибрежной
В хрустящей гальке лоснился чуть-чуть.
Так повторялся он, твой зарубежный,
Твой эмигрантский обреченный путь.

Иль, может быть, в арбатских переулках...
Но подожди, дай разглядеть мне след
Твоих шагов, стремительных и гулких,
Сама помолодей на сорок лет.

Иль, может быть, в Париже или в Праге...
Но подожди, остановись, не плачь!
Зачем он сброшен и лежит во прахе,
Твой страннический, твой потерянный плащ?

Зачем в глазах остекленела дико
Посмертная одна голубизна?
Не оборачивайся, Эвридика,
Назад, в провал беспмятного сна.

Не оборачивайся! Слышишь? Снова
Шумят крылами чайки над тобой.
В бездонной зыби зеркала дневного
Сверкают скалы, пенится прибой...

Вот он, твой Крым! Вот молодость, вот детство,
Распахнутое настежь поутру.
Вот будущее. Стоит лишь взглядеться,
Отыщешь дочь, и мужа, и сестру.

Тот бедный мальчик, что пошел на гибель,
В соленых брызгах с головы до ног, —
О, если даже без вести он выбыл,
С тобою рядом он не одинок.

И звезды упадут тебе на плечи...
Зачем же гаснут смутные черты
И так далеко — далеко — далече
Едва заметно усмехнулась ты?

Зачем твой взгляд рассеянный ответил
Беспамятством, едва только возник?
То утро, та морская даль, тот ветер
С тобой, Марина. Ты прошла сквозь них!

ЧЕРНОВИК

Черновик, черный хлеб моего существа,
Перечеркнутый накрест и брошенный на пол!
Не чернилами я нацарапал слова,
А огнем подпалил и свинцом их закапал.

И ушел, и забыл, и завыл, как столбы
Телеграфные, гулом нечленораздельным,
И мелодию высоковольтной мольбы
Напечатал, как пропись, в издание отдельном.

И заставил запсть, и оставил висеть
Над железными крышами буквы рекламы.
И когда световая включается сеть,
Они весело пляшут и машут крылами.

Все здесь пригнано! Каждый эпитет блестит,
Приколочен гвоздями и замшей надраен,
Каждый мой завиток разожжет аппетит
У столичных редакций и прочих окраин.

Но откуда же слышится горестный гул,
Вековое АУ, невозвратное чудо?
Сколько лет, сколько зям, сколько длился прогул?
Что за бурей дохнуло? Откуда, откуда?

И, едва я усну и забудусь едва,
Словно черный огонь, разрывает мне веки
Черновик, черный хлеб моего существа,
Перечеркнутый накрест, забытый навеки...

СКОЛЬКО СВЕТА!

Сколько света, сколько гроз и радуг,
Сколько глаз, куда ни погляди!
Вечный праздник, вечный беспорядок,
Вечность позади и впереди.

Бодрствуют в ночи обсерваторий
Телескопы, звездный блеск дробя.
Вот он, мир во всем его просторе.
В нем найдется место для тебя.

В нем найдется путь, призванье, служба
Для солдата, павшего в бою.
Как всмотреться пристальней и глубже,
Как найти мне молодость твою?

Милый, милый, я не знаю, где ты,
Спишь или снишься, по проснешься ведь?
В полное беспмятство одетый,
Где же ты? Услышь меня, ответь.

Но сквозь годы старости, сквозь толщу
Слепоты, мерцающая и сквозя,
Вся природа, как рабыня, молча
Смотрит в мои старые глаза.

Гнуло меня время и ломало.
Но, чтобы я мог тебя забыть,
Жизни мало, да и смерти мало.
Вечности не хватит, может быть.

ДЕТИ ОГНЯ

ПИКАССО

...Они видят его стоящим между двумя противоположно расположенными зеркалами, повторяющими его образ бесчисленное количество раз, причем изображения в одном зеркале выступают как его прошлое, в другом — как его будущее.

Пикассо, 1923

Баллада времени

Это было в начале века,
Меж Парижем и Барселоной —
Ранний час, короткая веха,
Неизвестный пункт населенный.

Зашагал он прямо с вокзала
Мимо старых церквей и башен,
Словно Время так приказало:
— Будь беспечен и беспшибашен,

Никуда не спеши. Все будет,
Если ты по-прежнему зорок.
А меня с тобою рассудит
Кто угодно лет через сорок!

Ненароком голову вскинув,
Он увидел на шумном рынке
Двух оборванных арлекинов,
Кувыркавшихся по старинке.

Старший был мускулист, громоздок,
Отличался хваткой бульдожьей.
Младший выглядел как подросток,
Красотой не блистал он тоже,

Но они работали храбро,
Детвору смешили на диво,
Подошел к ним художник Пабло
И промолвил весьма учтиво:

— Добрый день, господа артисты!
Может быть, такое свиданье
Нам подстроил и впрямь Нечистый
В голубом раю мирозданья!

Вам бы раньше на свет родиться,
Не житье сейчас арлекинам.
Впрочем, ради славных традиций
По стакашчику опрокинем?..

Вот расселись трое в харчевне,
Херес цедят, сигары курят,
Об актерской доле плачевной,
О политике балагурят.

А кругом веселье и гибель,
Дым очажный в тесных жилищах,
В сотнях обликов, кто бы ни был,
Голубиная кротость нищих.

Это жизнь во всем неохватном,
Бестолковом ее прибое,
Надо смело вместить на ватман
Грязных брызгов лицо рябое.

Надо сделать лицо любое
Ломким мелом иль хрупким углем,
Чтоб оно, насквозь голубое,
Запылало сумраком смуглым.

Тут подседа к столу девчонка.
У нее глаза маслянисты,
Под гребенку стрижена челка,
На ключицах бренчат мошиста.

Говорит пахалка без грусти:
— Кавалеры, привет и здрасте!
Отвечайте, только не трусьте,
Подхожу ли я вам по страсти?

Отвечает художник глухо:
— Не подходишь, не по карману.
Мы бедны — ты знатная шлюха,
Слишком тратишься на румяна.

Да и с виду весьма шикарна.
Топай, миленькая, отсюда! —
Но кричит она: — На пол шваркну
Вашу выпивку и посуду!

Чтобы вам не пилося, не елось,
Не жилось на свете, бандюги!
— Ишь какая! Хвалю за смелость, —
Знать, недаром росла на юге.

Жаль, что морда от слез распухла,
Не разжалобишь так мужчину.
Успокойся, чертова кукла.
Озорство тебе не по чину,

А истерика не по рангу.
Не срами ты публичных сборниц. —
Вторглось Время в их перебранку:
— Что ты с бедной девчонкой споришь?

Спорь со мной, девятьсот четвертым.
Не последним лихим и лютым,
С самим господом, с самим чертом
Иль с любым другим абсолютом.

А не то молчи, если хитрый,
И боишься моей острастки,
И черны для твоей палитры
Моего ликованья краски.

Береги и запри их в ящик,
Чтоб не вышли из-под контроля
И в жилищах, прочно стоящих,
Потолков бы не проноролги,

Не сломали поющих скрипок,
Не будили бурь в океане...

Погляди, как стан ее гибок!
Не найдешь другой окаянней.

Береги ее, подарь ей
За три су колечко из меди,
Назови ее хоть Марней
В самой вечной из всех комедий!

Я лечу над тобой, сгорая
Жарко пышущими крылами.
Вот он весь, от края до края,
Мой закат, превратился в пламя.

Моя ночь над землей Европы
Дождидается третьей стражи,
Сумасшествия высшей пробы.
Мертвых петель в крутом вираже.

Я лечу над тобой, художник.
Как шумят мои крылья — слышишь?
В депь тревожнейший из тревожных
Ты мой шум на холсте напишешь.

Ты узнаешь в хохоте шторма,
В кораблекрушениях и в битвых,
Как трехмерная рухнет форма
Для сердец, на куски разбитых!

Нет пощады и нет покоя
Тем, кто песню мою услышал.
Понимаешь, время какое,
На какую работу вышел?

Не робей! Нам обонм надо
Видеть дальше всех телескопов.
Будет в Герникке канонада.
Встанут мертвые из окопов.

Встанут рядом ярость и жалость.
Но любое на свете хрупко....
О, как робко к тебе прижалась
Некрасивая та голубка!

Как далек полет голубиный,
Как бесцелен он и бесплотен...
Но раскрыты настезь глубины
Не рожденных тобой полотен.

Не робей, силач коренастый!
Вперед крутая дорога.
Твоей жизни хватит лет на сто,
А бессмертью не надо срока.

Баллада нануна

Сергей Иванов выбрался в Париж
К великому посту, в пачале марта.
Он знал: в Париж приедешь — угоришь!
Но на горбатых уличках Монмартра

Не замечал ни грешных кабаков,
Ни женских чар, ни прочего соблазна.
Да, да, Сергей Иванов был таков!
Он действовал в Париже сообразно

Заветной цели, выбранной в Москве.
И вот — делец, удачник, воротила
Первейшей марки — ждал недели две.
И ожиданье гостя превратило

Почти в пщейку. Нюх был обострен
До крайности. Сплошная трепка нервов!
Особенно когда со всех сторон
Явились орды коллекционеров

И знатоков. Понаторелый люд
Почуял чудака и мецената.
Мерещился им и размен валют,
И любопытство скифа — все, что надо!

Из уст в уста молва о нем летит:
Начитан. Вездесущ. Актер. Лисица.
Зачем же он скрывает аппетит?
На что он зарится? На что косится?

А гость косится на коньяк сейчас,
И, с обстановкой свыкшись понемногу,
К обеду в черный смокинг облачась,
Шагает он с двадцатым веком в ногу.

...Двадцатый век! Мой календарь! Мой день!
Ночей моих бессонница! Ты утром
Мне биржевой составил бюллетень,
Поставил парус на корвете углом.

Да, я богат, но не капиталист.
Я русский! Понимаешь? Это значит,
Что я не начат. Я заглавный лист
В той книге, что тебя переиначит!

Ни свят, ни грешен, но, как все они,
Слегка помешан и сосредоточен...
Найди меня в гостинице, дохни
Огнем своих чернейших червоточин, —

И я послушаюсь, пойду на риск.
Дай только знак, откуда ветер дует,
Какой сегодня Игрек или Икс
Диктует моду и над чем колдует...

Дай адрес, где живет избранник твой,
Какой глупец его рекомендует?
...И —кверху, по железной винтовой!
Восьмой этаж. Из щелей ветер дует.

Пред ним чердак. Опорные столбы
Едва мерцают в сумеречной зыби.
Стена, как лошадь, встала на дыбы,
Как мученица, вздернута на дыбе.

По всем углам навален жалкий хлам,
Листы железа и листы фанеры,
Холсты, подрамники, щиты реклам,
Разбитые гитары, торс Венеры...

И, утверждая истину и мощь
Проделанной дороги, встал у входа
Пикассо! Он встревожен, дерзок, тощ —
Земляк, наследник, правнук Дон-Кихота.

..Но что же это? Баба? Бойня? Вихрь?
Бог или бык? Или кубы и ромбы?
Обломки скал? Куски зеркал кривых?
Вakraпах охры взрыв бандитской бомбы?

Чья здесь идет трагедия? А вдруг
Скрывается пророчество за этим
Твореньем сумасшедших глаз и рук?..
А вдруг взглянемся, сами же заметим

Свое вращенье вокруг земной оси?..
Сергей Ивашч в странном колебание.
Он сам однажды — господи спаси! —
Себя узрел в провинциальной бане

Но в зеркале, а на полке, сквозь пар,
Расползся он, как блинная опара,
Под дружный хохот банщиков и бар
Он плавал! Невесомый! В хлопьях пара...

Сергей Иваныч подавляет стоп.
Уменьшен космос. Идеал развенчан.
Так мальчуган трясется за кустом
При взгляде на купающихся женщин.

Так инквизитор, может быть, глядел
Сквозь пламя на горящую колдунью.
Глядел! Рыдал! И это был предел...
И, предаваясь горькому раздумью

О всем, чему он верил до сих пор,
Молчит знаток в тоске полудремотной:
— Нет, Пабло! С вами невозможен спор.
Тем более что это очень модно...

...В гостинице он не заснет всю ночь.
Вода бежит по трубам, лифт стрекочет.
Светает. Одеяло скинув прочь,
Как вздрогнет постоялец и как вскочит,

Как боснком он дернет трепака,
Как захохочет, фыркая под душем,
И, выпив стопку и сомлев слегка,
Как удивит гарсона благодушьем!

И ровно в девять тридцать в мастерской,
Корректен, свежесвыбрит, недоверчив,
Прищурился, острит, — такой-сякой! —
Сарказмом восхищенне подперчив:

— Вот это вещь. И это вещь. А то,
Простите, Пабло, так себе. А впрочем,
Наш вкус замоскворецкий решето,
Мы вашего таланта не порочим.

В последний раз платком пешне протер
И, подбоченясь, отступив полшага,
Пропел, рыдая, фразу, — вот актер! —
И эта фраза выпулась, как шпага:

— Возьму я ровным счетом пятьдесят.
Мы нашу сделку финь-шампанем вспыснем! —
Холсты на стенах все еще висят
В молчанье равнодушно-бескорыстном.

Картинам предстоит еще ночлег
С художником на чердаке родимом.
Но дело сделано. Подписан чек.
И вот художник за табачным дымом

Всмотрелся покупателю в глаза:
— Я удивлен поступком вашим смелым,
Вы первый проголосовали ЗА. —
Пикассо был едва намечен мелом

На штукатурке каменной стены.
А рядом с ним намечен покупатель.
И оба смещены и сметены
Соседством грозных коштуров и пятен!

...Лети сквозь ночь, экспресс тринадцать-бис,
Дым, отрывайся напрочь и клубись,
Спать не давай, колесный лязг и скрежет,
Пока в вагонных окнах день не брезжит.

Ты слышишь, пассажир, как там внизу
Сталь голосит, вопит изделие Круппа,
Как там вверху отсрочили грозу
И молнию затаптывают грубо.

Прочти к утру «Берлинер тагеблатт»,
Припрячь бумажник, делай, что велят,
Лихой делец, сокровище везущий,
Тебя хранит от краха вездесущий.

Какой там шут в Сараеве убит,
Австрийский этот — как его? — эрцгерцог...
Летит экспресс, во все рога трубит.
Стальной цепочкой схваченная дверца

Подрагивает. Злые тормоза
Посапывают. Между тем гроза
Все ощутимей, ближе и тревожней...
Чиновник не замедлит на таможне

Наляпать ярлыки на багаже,
И взяв под козырек, проводит чинно
В купе его степенство. Вот уже
На родине удачливый купчина.

Летят навстречу рвы, и рвы, и рвы,
Рвы и овраги, рвы и буераки.
Последние прогалы синевы
Погашены. Гроза царит во мраке.

И молния, покинув мирный кров,
Седлает вороного, ногу в стремя,
И мчит в карьер на грани двух миров,
И надвое раскалывает время.

И вот они в Москве — все пятьдесят,
Все в переулке Знаменском висят.
Хозяин Щукин, сам Сергей Иваныч,
На семь замков их запирает на ночь.

Но снится им в провалах темноты
Та молния, та самая, все та же.
...Пройдет полвека — встретятся холсты
С ее прямым потомством в Эрмитаже.

Баллада молнии

Я точных дат не привожу —
Не хронику пишу,
Но к боевому рубежу
Равнение держу.

Старик проснулся в ранний час,
Когда седой рассвет
Окрасил, сумрачно лучась,
Природу в алый цвет.

Он вспомнил юные года,
Покой и непокой,
Событья, лица, города
И стены мастерской.

Он видел множество существ,
Чудовищ и божеств.
Чтобы напор их не исчез,
Потребуется жест

Его горячих, сильных рук
И зренье зорких глаз,
Палитра, и гончарный круг,
И стеклорез-алмаз.

Художник солнца ждал — и вдруг
Плеть молнии взвилась!

Такая в мирозданье мгла
И время таково,
Что только молния могла
Обрадовать его.

Она раскалывала скалы,
На высях гор плясала
И как попало высекала
Огниво о кресало.

И в блеске утренней грозы
Все обретало мощь.
Во мглу, в долинные низы
Веселый хлынул дождь.

Смешались кобальт и краплак,
Ультрамарин и хром,
И, как от взмаха львиных лап,
Раскатывался гром.

На всем лежал тревожный след
Работы старика,
Его восьмидесяти лет
Кувалда и кирка.

Увидел яростный старик
В окалинах грозы
Весь евразийский материк,
От Эбро до Янцзы.

Увидел, восхищенья полн,
Пленен голубизной,
За плеском средиземных волн
Весь африканский зной.

Увидел вылезший из рам
Земной киноэкран.
Услышал слитный тарарам
Всех языков и страп.

А там, как белый автоген,
Сверкал во весь накал
Свет от бесчисленных легенд,
Бесчисленных зеркал.

Там в душных джунглях бил тамтам,
Там был сезон погонь,
За чернокожим по пятам
Распетский полз огонь.

Фашистский целился капрал
В синь голубиных крыл,
Руками грязными их брал,
По матери их крыл.

Бесчестил девушек любых
Под стук тупых литавр
Свирепый человекобык,
Голодный минотавр.

И это был двадцатый век!
Но не закрыл глаза,
Увидел старый человек,
Что в мире есть гроза.

Ей не было все эти годы
Ни отпуска, ни льготы.
Она стерпела все тяготы
Солдатской непогоды.

Ее сферическое тело
К художнику влетело.

Живая молния, как встарь,
Сказала старику:
— Восстань. Нацелься. Бей. Ударь.
Зажги. Будь пачеку.

И, белым турмапом влетя
На белый грунт холста,
Резвилась Молния-Дитя,
Смеялась неспроста.

И он любимицу позвал,
К груди ее прижал
И на холсте нарисовал
Для добрых парижан.

Был голубок изображен,
Рассветом озарен,
И на косынках юных жен,
И на шелках знамен.

То был привычный для руки
Короткий, легкий взмах.
Он облетал материк,
Он жил во всех домах.

З а к л ю ч е н и е

Нет, здесь не может быть конца.
Необгонима скорость света.
Вся световая эстафета
В руках художника-гонца.

Он должен, должен, должен брать
Барьеры, пропасти, преграды,
И никакой не ждать награды,
И никогда не умирать.

Здесь на подрамниках еще
Так много непросохших пятен.
Не завершен и непонятен
Весь мир, увиденный общо.

От оголенных проводов
Бьет, как бывало, сила тока.
Здесь нет конца и нет итога.
Художник в дальний путь готов.

СКАЗКА ПРО ЦАРИЦУ НЕФЕРТИТИ

...Я был в Египте лишь рабом
Александр Блок

1

Сияла некогда в Египте
Ее недолгая звезда,
И вот — неузнанная в гипсе
Глядит на нас, летит сюда.

Но где звезды потухшей росчерк?..
Затянут плом желтый Нил.
Глаза потупил перевозчик,
Уныло весла уронил.

А над брезентовой палаткой
Зенит недвижен и высок.
Здесь археолог в муке сладкой
Мотыгой врезался в песок.

Он ищет путь от смерти к жизни
На пограничной их черте,
На погребальной чьей-то тропке
Он поминает всех чертей,

В песке и глине по колено,
Он за пластом снимает пласт
И все сокровища вселенной
За жалкий черепок отдаст.

Но вот звезда блеснула в комьях
Седой египетской земли!
Ты, время, сразу познакомь их
И археологу вели:

Пусть ляжет в прах перед царицей,
Чтобы не гневалась она,
И в честь находки разорится,
Напьется водки допьяна

И выпится вдвоем с мотыгой!
И ты напейся в свой черед,
Но только двигай, время, двигай
Повествование вперед!

Уже царицына головка
Скрывает грусть и прячет смех,
И смотрит дико и пеловко,
И заораживает всех,

В прохладном сумраке музея
Поставленная под стекло.
...И в изумленьи ротозея
Тысячелетье протекло.

2

Ты вещь в самой себе и для себя.
Здесь капитанец может отступить.
Но, тридцать пять столетий загубя,
Тыходишь к нам и просишь:
— Дайте пить!

Ну так проспись, любимица владык,
Раздавленная тоннами песка.
Я был твой раб. Я голоден и дик.
Во мне твоя продолжена тоска.

Мое признание только грубый гимн,
Твоих гепардов полуночный вой.
И я могу к твоим ногам нагим
Сам, как гепард, приткнуться головой.

Не слушаешь... Тебе и псевдомек,
Что так мужчины обольщают шлюх.
Ты ведь загадка, вымысел, намек,
Глава без продолженья, смутный слух.

И как слепая, входишь к нам в дома,
Не разглядев, но разлюбив уже,
И отступая, сводишь всех с ума
Последним слепком в сотом тираже.

3

На тусклых фресках голых скал
Мы тризпу эту обпаружим:
Рабы обстали полукружьем
Твой леденяющий оскал,
Бряцая бронзовым оружем.
В сторонке выл шальной шакал,
И коршун крылья растопорчил,
И жрец верховный брови морщил.
Он крови жертвенной алкал,
Чтоб оградить тебя от порчи.

Меж стольких родственных гробниц
Спала ты, словно в колыбели.
Лишь веки нежно голубели
Да стрелки склеенных ресниц
Подрагивали еле-еле.
О Царственная, не проснись,
Лежи с лицом окаменелым,
Пока в старанье неумелом
Вслед за тобой теснятся вшиз
Фигуры, писанные мелом...

Зачем печалиться о том,
Что выл шакал и плакал ветер!
Ты услышала, как ответил
Из-под земли протяжный стон,
И мертвую с надеждой встретил
Усопший прежде Эхнатоц,
И плиты сдвинулись. И тут же
В немилосердной смертной стуже
Тебе раскрыл объятья он.
Что ж, можешь вспомнить и о муже!..

Так надо, бедная звезда!
Да, да, у жизни есть осадок,
Который и посмертно сладок.
Он проникает и сюда
И дышит амброй между складок
Одежды, снятой в день Суда,
Твоей девической и тленной.
И все моря вам по колено,
По щиколотку вся вода
В час половодья всей вселенной.

О, безоглядный путь Души
Сквозь плоть и кость, обвал и пропасть!
Забудь, Душа, былую робость,
На тех же скалах папиши,
Что не сбывалось, да могло быть...
И, еле слышная в тиши,
Прошелестела тень: — Как долго
Тянулась нитка за иголкой,
Все судьбы мира хороши —
Богиней быть или богомолкой...

И я смиренней всех подруг
Сошла в подземную долину,
Служила верно властелину,
Вращала вновь гончарный круг
И обжигала ту же глину
Огнем заледенелых рук.
И в них пылинки праха въелись,
Когда они у пепла грелись...
А ты надеешься, мой друг,
На чью-то женственную прелесть?

Ты веришь, что истлевший стан
По-прежнему змеино гибок,
Ты безрассудных ждешь улыбок?..
Нам краткий миг для встречи дан.
Вот, вот оно — в охрипших всхлипах
За мной несется по следам
Слепых самумов дуновенья!
Я за сладчайшее мгновенья
Не променяю, не отдам
Горчайшего исчезновенья.

4

Так стой, давай по чести
 напоследок поговорим!
 Гибнут Фивы и Афины,
 императорский гибнет Рим.
 Сквозь столетья вслед за нами
 мчатся орды зверских погонь.
 В синем Средиземноморье
 всех и вся пожирает огонь.

Обопрись же на плечо мне,
 не клонись, тростинка моя,
 Научись хоть удивляться,
 что двоятся в глазах моря!
 Я украл тебя у камня
 и у пламени украду,
 Потому что сам сгораю
 в том же пламени и в бреду,

Потому что нет скончанья
 тем, кто выслан в обгон времен!
 Если ты была царицей,
 то и раб педаром умен, —
 Он в огне вообразенья
 добела раскаляет речь,
 Чтобы только продолженье
 твоей молодости сберечь.

5

И пошла колесить дорога
 От ограбленных пирамид.
 Чернобог стоит у порога,
 Взмахом крыл города громит.

Вслед за ним немедленно вырос
 Бритый наголо хилый жрец,
 Разворачивает папирус,
 Раздувает костров багрец

И во имя Ра пль Перуна
Приговаривает, скорбя,
К высшей мере Джордано Бруно,
Чтобы на день продлить себя.

По векам и страпам кочуя,
Он держал тебя взаперти.
— Слушай, женщина, отпущу я
Эту гадину...
— Отпусти!

Помнишь прошлое?
— Нет, не помню. —
Навсегда изгладилось?
— Да. —
Легче дышится?
— Все легко мне. —
Значит, движемся?
— А куда?

Мы отчаливаем под утро
В неоглядный замысел мой
Не на парусной лодке утлой,
На короткой волне прямой.

Время настужь. Пространство настужь.
Но зачем ты бросаешь тень
И высокой тиарой застишь
Навсегда наступивший день?

Не царицею и не жрицей,
Босоногой девчонкой будь,
Чтобы заново повториться
В ком бы ни было, чем-нибудь.

—Кем я стану?
— Выбор огромный! —
Он похож на все мои сны.
Но темно в душе моей скромной
Среди этой яркой весны...

Твою душеньку я одену
Почуднее пных актрис.
Дай мне руку и — марш на сцену,
Только пристальнее всмотрись

В зеркала семицветных радуг!
Все в порядке? Теперь иди,
Наводи у нас беспорядок
И мужей и жен разводи!

.
Знаток взялсь за бинокли.
Репортер, стилига, замзав
От усердия взвыли и взмокли,
Эрудицию показав.

Тунеядец-охотпорядец,
Персональный пенсионер —
Каждый истово судит-рядит,
Лихорадит на свой манер.

Следом хлынули интуристы,
И меж римлян и парижан —
Опоздавшие лет на триста
Ванька Ключник и Дон-Жуан.

Все приникли к щелочке узкой...
Но заставил их онеметь
Черных кос твоих душный мускус,
Твоих бедер жаркая медь.

Ваньке Ключнику стало плохо.
Дон-Жуан — даже он! — обмяк.
Тут, подослан иной эпохой,
Вышел гипнотизер и маг, —

Хилый Жрец, неизменно низмен
И незыблемо косоглаз,
И на жутком апахронизме
Настоял и на этот раз.

Процедив безглаголиво заклятья,
Он десницу к звездам воздел
И в тебе сквозь тысячелетья
Свою собственность разглядел.

Твоя тень проносится мимо
Одураченных простофиль.
Крутит время неутомимо
Свой широкоэкранный фильм.

Дальше, дальше... Еще так рано,
Так ничто не ясно пока...
Лишь под занавес — зыбью странной
Набегают волны песка.

В набеганье сухих песчинок,
В набеганье минувших дней,
В набеганье слез беспричинных
Ты становишься все бледней.

.

Боги скупы, угрюмы, люты.
Хмуρο мрут рабы в кандалах.
Тупо жрут колючки верблюды,
Их понурый вьючит феллах.

В том невольничьем караване
Ранним-рано очнешься ты
В яркой рвани, в очарованье
Несгорающей наготы.

6

И вот исчезла женщина,
А с ней и балаганщина,
Разыгранная выше
Забавы ради вашей.

Так было или не было?
Или одна парабола
Одной звезды падучей
Была моей удачей?

Я знал ее красавицей
И умолял не гневаться
Огню воображенья
И буре обожанья.

Но — словно струны тронула,
Издалека мне кинула,
Насмешливо прищурясь,
Что возвратится через

Иную бездну времени,
И скрылась в белом пламени
И в музыке и в ветре
Тысячелетья на три.

Я звал ее по имени.
Она не поняла меня
И дремлет, как в хоромне —
В летящем дальше времени.

ЦИРКАЧКА

Одно уловить я успел
Сквозь музыку ветреной ночи:
Что будет наш общий удел
Мышиного визга короче.

П А . 1915

Все помню про тебя, все знаю,
Встречал в Москве и за Москвой.
Моя любовь живет сквозная,
Как ворон восьмивековой,

И вот она явилась снова
И хмуро смотрит на меня —
Живая из-под навесного,
Косоприцельного огня.

И лихачи на шинах дутых
Кричат отчаянно: «Па-ади!»
А для раздетых и разутых
Одна лишь гибель впереди.
А сонный ванька с тощей клячей,
Храпящей из последних сил,
Трусит к пропащей и гулящей,
Как сорок лет назад трусил...
И все черней и бесприютней
Гуляет мокрая весна.
И дождь бренчит разбитой лютней,
И люди маются без сна.

Нет, есть ночлег у всякой тварь,
Бог и удачу ей пошлет.
Один лишь Гоголь на бульваре
Не спит столетье напролет.

Один Кощей мощпу считает
В пустом своем особняке.
Одна лишь ночь бесследно тает,
От гибели на волоске.

И я, глупец, ту ночь сырую
Не спал, как Гоголь и Кощей.
Я думал, что тебя ворую
У богачей и лихачей.

А ты, Циркачка, гибла молча,
Ты как река в меня текла
И сразу исчезала в толще
Чернильно-черного стекла.
Ты, Катя Корина, Эстрелла
(В афише названная так),
Угрюмо на меня смотрела
И усмехалась: — Ишь чудак!
Студент небось или приказчик?
Да кто бы ни был, шут любой,
Я, может быть, сыграю в ящик,
Но не желаю жить с тобой.

Я отвечал: — Напрасно гонишь!
Брось, Катя, выслушай, молю,
Поедем в Нижний иль в Воронеж,
Я рожу вымажу в мелу.
И я могу быть акробатом
Тебе под пару и под стать
И на потеху всем ребятам
Всех клоунов пересвистать!
Так, право, как же нам не спеться!
Не помешает нам никто
Лететь друг к другу с двух трапеций
Под рваным тентом шапнто
Или в двойном сальто-мортале
Выламываться без труда! —

...Мы встретились в глухом квартале
В тот предрассветный час, когда
Любовь похожа на убийство,
А дом, в котором люди спят,
Похож на живопись кубистов
Или на атомный распад,

В тот час, когда все кошки серы,
Все фонари, уже чадя,
Кладут на улицы и скверы
Штриховку черного дождя.

Там, в этих узких коридорах,
У стольких запертых дверей,
О, как он был мне люб и дорог,
Твой шепот: — Где же ты? Скорей!

И на диване, слишком жестком
Для жалкой встречи двух живых,
Перед смутившимся подростком
Была ты — музыка и вихрь.

О, вихрь и музыка! Солги мне,
Хотя бы раз один солги
Губами бледными, сухими,
Руками смуглыми, нагими,
Пока за окнами ни зги.

Пока чадит, треща, лампада
Под черным образом в углу,
Пока не рассветает, — падай,
Хоть на пол, только бы во мглу!

Пока все ближе и блаженней,
Жизнь торопя и жизнь губя,
Не кончится самосожженье
Твое со мной, внутри тебя...

...Меж тем окраины вселенной
Уже громовый гул потряс
Перед Спартанскою Еленой
Пал как подкошенный Парис.

И парус, полный вешней бури,
Умчал обоих в Иллион.
...Меж тем в любом полночном баре,
По всей земле, куда ни глянь,

На Пиккадилли, на Арбате,
Под ливнем иль на сквозняке
Ждут ужасающих событий
Бездомные призывники.

...Еще здесь будут, будут войны.
Травой траншей зарастут.
Наш праздник лиственный и хвойный
Поленницами ляжет тут.
Но, бурей будущих зачатий
За гибель юных заплатив,
Жизнь вспоминает, как начать ей,
Чем кончить прерванный мотив.
Он на высокой ноте длится,
Всю ночь, всю вечность длится — вплоть
До комнаты в ночной столице,
Где воплощенья ищет плоть.

...И мы сплелись в немой раскачке,
В той, что не нами начата.
Не ты одна, а все циркачки
С трапеций падают в ничто.

В коротком этом настоящем
И тени будущего нет.
И, словно грузчики, мы тащим
Все притяженье всех планет.

Мы, как и все мастеровы,
Все работяги-циркачи,
Сегодня встретились впервые
И без следа сгорим в ночи.

Но в эту ночь мы двое только
В отчизне юношеских спов
Обречены погибнуть стойко,
Чтобы родиться вновь и вновь.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Время!

Бой часов на старых башнях европейских городов — от Спасской в Москве до Биг-Бена в Лондоне.

Сигналы радиостанций — пять длинных, один короткий — в шесть часов на рассвете, в полдень, в восемнадцать пополудни, в полночь.

Ручные часы, которые каждый из нас, от пионера до престарелого пенсионера, заботливо кладет на ночь у изголовья, — да еще так, чтобы светящиеся стрелки сразу бросились в глаза в ночной темноте, чтобы не проспять, не опоздать, сохрани бог, встряхнуться, вскочить на ноги, продолжать бодрствование, обгонять необгонимое, наверстывать необратимое...

Петушинная переключка на рассвете и весеннее кукование кукушек еще более древние, чем солнечные и песочные, часы.

Что означает эта тревога, непрерывная, как бисие сердца, изнурительная, воодушевляющая?

Разве так уже дорог срок отдельной жизни, что стоит его делить на равные отрезки, на годы, месяцы, недели, дни и ночи, часы, минуты, секунды, терции?..

Разве так уже дорог мне четверг на будущей неделе, разве не означает этот праздничный вопрос, что действительно дорог — нестерпимо, до ужаса, до потери самообладания дорог?

Когда люди говорят: время — деньги, они слишком дорого ценят деньги! Все разменное золото мира не стоит одного мгновения продленной жизни.

Но математики между тем утверждают другое.

Для них время — система отсчета, понятие относительное. Не загадка, не судьба, а нечто измеримое

в зависимости от принятой условности — земной, планетной, космической, любой другой. Это один из трех китов теории относительности. Второй кит — скорость света, третий подыскивается. Может быть, он в мысли Эйнштейна о существовании единого поля, включающего тяготение, свет, электрический ток, радиацию... Но поэту не следует вмешиваться в чужое благоустроенное хозяйство!

Особенно в этой книге. Она не возражает математикам, но попросту противоположна им и движется параллельными путями, — значит, встреча предполагается где-то в бесконечности. Книга стихов к этому призвана.

Для поэта время есть реальная протяженность, благодаря которой длится сознание. Не будь времени, не было бы и сознания.

Однако поэзия — не философия, она не участвует в диспуте о мировоззрении. Она — дело жизни, что проще и сложнее в одно и то же время.

Тайна времени тревожила людей гораздо раньше, чем вышло на сцену наше поколение, и будет тревожить людей позже, чем мы с нее сойдем. Но это наша тревога, специфически наша, людей середины двадцатого века. Если говорить высоким слогом, то время — плацдарм уже на другом, на новом берегу вселенной. Здесь предстоит генеральный бой за ее тайны.

Я говорю об этом, убежденный, что сказанному откликнется каждый современник. Каждый по-своему,

ВРЕМЯ ГОВОРИТ

Сказка или правда, все равно.
Началась она давным-давно,
С той поры, как взрослым детство снится,
С той поры, как первая денница
В окнах человечества зажглась.
В тот же миг вниманье детских глаз
Стало пониманьем человечьим.
Это Я в грядущее гряду,
И оно становится прошедшим.
Это Я само себя пряду.
Кто Я? Пряжа, Прялка или Пряха, —
По своей дороге Я веду
Всех, кто дышит, даже вертопраха.

Да и ты не пожалел затрат,
Скорость света возводил в квадрат,
Умножал на массу, вел погоню
По следам сгоревших космогоний,
Видел на поверхности планет
Города, которых больше нет,
Различил в картине микромира
Бег частиц и колебанья волн.
Это Я, твой Кормчий и Кормило,
Сквозь тебя стремило углый челн!
Я люблю веселый беспорядок,
Я пляшу, когда твой разум полн
Молниями формул и догадок!

Что же, старой дружбе вопреки,
Времени ты не подашь руки?
Или стал настолько опрометчив,
Что упал, коленки искалечив,
И забыл свой юношеский жест
Пред лицом карающих божеств?

Отвечай им вызовом открытым!
Чище, легче, проще мастерство,
Веселей и звинченнее ритм,
И в дорогу! Только и всего!
Вплоть до рубежей воображенья,
До исчезновенья твоего!

• • • • •

(В следующей жизни — продолженье.)

ЮНОСТЬ ГОВОРИТ

У диспетчера работа
До седьмого пота,
Бой часов, гуденье гонга,
Скоростная гонка,

Скоростная эстафета,
Красный глаз рассвета.
Но уже встает диспетчер,
Вызвал желтый вечер,

Звезд рассыпал многоочья
В синей книге ночи,
Гонит тучи, пенит волны,
Рвет зигзаги молний.

Его лучшие подруги —
Золотые руки,
Слуги, ждущие остратки, —
Книжки, струны, краски.

Кто ж он, выдумщик занятный,
Наш диспетчер знатный,
Шахматист или артист он,
Славен иль освистан?

Стар он или молодсnek,
Сколько стоит денег,
И каких достоин премий
Наш диспетчер — Время?

Разглядеть ученый тщится,
Разгадать боится.
Время в ус не дует, мчится,
От нас не таится.

Ничего нам не диктует,
Не рекомендует,
Старым бабам не колдует, —
Мчится, в ус не дует!

А всерьез оно или шутит, —
Кто ж его рассудит!
Время было, есть и будет.
Было. Есть. И будет.

СТАРИК ГОВОРИТ

Я тебя напоил бы,
Летящее время,
Всем вином, что бродило
В земных погребях,
Заласкал бы тебя,
Как рабыню в гареме,
И остался бы сам
В твоих верных рабах.

Только не улетай,
Мое время! Останься!
Мое быстрое, срочное,
Остановись!
На любой, на последней
Из мыслимых станций,
Где глазам открывается
Звездная высь,

Где меж сосен тропишка
Змеится куда-то
И зовет пешехода
К жилому огню...
Отдохни у огня,
Календарная дата,
Не гони меня дальше,
Как я не гоню.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ГОВОРЯТ

Что ты нам сказало?
Что нам приказало?
Зачем в темноту театрального зала
Ты, время, ударило прожекторами?
Мы сами участвуем в собственной драме,
Мы сами ее начинаем,
Но завтра
Не кончим, —
Пушкой приготовится автор!

Молчишь?
Ты достаточно долго молчало.
Куда же ты мчишь?
Начинайся сначала!
Все прошлые дни и года возврати нам.
Довольно ты числишься необратимым,
Ломаешь чертоги,
Едва возведешь их,
Стираешь итоги,
Едва подведешь их!

Нам мало одной только жизни прекрасной,
Опасной и страстной,
Хотя и напрасной!
Нам мало, что собственной жизненной жаждой
Посмертно реабилитирован каждый!
Нам мало,
Что ты черепа нам ломало
И вновь поднимало!
Нам этого мало!

Зажги нам глаза миллиопами молний,
И клетки грудные озоном наполни,
И в ноздри ударь резедой и левкоем!
Одним только не паграждай нас — покоем!
Но всей невесомой твоей каруселью
Верни нашу молодость на новоселье!

Так будет —
О, только бы часа дожждаться!
Так будет —
Иначе не стои́т рождаться!
Так будет,
И это пребудет вовеки
Биением пульса в любом человеке.
Он старую тяжбу со смертью рассудит
И мертвых разбудит.

В р е м я:
Так будет. Т А К Б У Д Е Т.

ИСПОВЕДЬ

Я ныне исповедуюсь впервые
Пред-вами, мастера-мастеровые.
Так это и должно быть и могло быть
Гораздо раньше, если бы не робость.

Забыл, чем был, не разгадал, чем буду,
Не слишком верю в каменного Будду
С бессмысленно-двухмысленной улыбкой.
Но был и буду парусом и скрипкой,

И вольтажом любого папряженья,
И дальним рубежом воображенья,
И выбираю будущее в груди
Еще никем не созданных орудий.

Ты, Время, пзмереьем будь четвертым,
Или прищской в договоре с чертом,
Или костром на богатырской тризне,
Чем хочешь, — лишь бы продолженьем жизни!

Пускай мой дух, мой зрячий астеронд,
Чертеж следа горящего постронт
И срок труда творящего утронит.

.

Все остальное медяка не стоит.

ПУСТЬ ФОРМУЛА СУХА

Пусть формула суха, —
Но, не забыв о звездах
Она из строк стиха
На вольный рвется воздух,
Вступает с прошлым в бой
И с будущим бок о бок
Вмещается в любой
Из черепных коробок.

Пусть в непроглядной тьме
Враждебна мысли косность, —
Но человек в уме
Недаром держит космос.
Дыханье всех веков
С его дыханьем слито, —
Да, человек таков
Со дней палеолита!

Он пустит колесом
Пространства мировые,
И станет невесом,
И вслед за тем впервые
Проверит чертежи
Неведомых галактик.
Он — ненавистник лжи,
Не фантазер, но практик.

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

Прометей встает, глядит вокруг:
Что-то выйдет из творящих рук?
Люди кости, чавкая, грызут,
На карачках все еще ползут,
Прометей и сам раздет-разут,
В каменной расселине внизу
Глухо ощущает тайный зуд,
Обыграл Зевесову грозу
И затеплил о кресало трут.

...В тот же миг владыка мира Труд,
Зверолов, Гончар и Дровосек,
На заре проснулся раньше всех
И шагает в следующий век.
Он не знает, что такое смех,
Он еще затравлен и понур,
Но уже раздул кузнечный мех.

...В ту же ночь затлел запальный шнур.
Вспыхнул порох. Полыхнул огонь.
Кони ржут, почуяв свист погонь.
Всаднику предсказывает конь:
— Ляжешь ты костями, любезный друг!

Прометей встает, глядит вокруг,
Говорит себе: — Очеловечь
Все, что вышло из творящих рук.
Может быть, игра не стоит свеч,
Факелов, светилен и лампад.
Сколько у могильщиков лопат,
Сколько под землей бесценных руд,
Сколько жадных протянулось рук
К тайным кладам в тысячу карат!

...В ту же ночь на грешный маскарад
Прорвался из вечности Шекспир.
Он сгорает, сам тому не рад,
Легче и стремительней, чем спирт.
Нрав его неукротимо крут.
Ум его острее всех рапир.
Завтра современники сокрут,
Будто бы он гибель торопил.

...Вопли скрипок словно скрежет пил.
— Радость! — Запевала завопил.
— Радость! Радость! — певчие орут.
Так Бетховен без подсобных средств
Поднимает на дыбы оркестр.
Прометей встает, глядит окрест:
Разве это все, что он слепил?
Никаких узлов не развязав,
Ничему не в силах он помочь.
Наступает длительная ночь.

От ночных огней рябит в глазах.
Прометей в тревоге поглядел:
Мрак ночной как будто поредел.
Свет свечи как будто слишком скуп.
Правит гранки в сотый раз Бальзак.
Достоевский с койки встал в слезах,
Вытирает соль и пену с губ.
Молния нацелила зигзаг,
Надвое раскалывает дуб.

Долог путь! Недостижим предел
Совершенства.

НЬЮТОН

Гроза прошла. Пылали георгины
Под семицветной радужной дугой.
Он вышел в сад и в мокрых комьях глины
То яблоко пошевелил ногой.

В его глазах, как некое виденье,
Не падал, но пылал и плыл ранет,
И только траектория паденья
Вычерчивалась ярче всех планет.

Так вот опа, разгадка! Вот что значит
Предвечная механика светил!
Так первый день творения был начат.
И он звезду летящую схватил.

И в ту же почь, когда все в мире спало
И стихли голоса церквей и школ,
Не яблоко, а формула упала
С ветвей вселенной на рабочий стол.

Да! Так он и доложит, не заботясь
О предрассудках каменных голов.
Он не допустит сказок и гипотез,
Все кривды жертвоами размолв.

И день пришел. Латынь его сухая
О гравитации небесных тел
Раскатывалась, грубо громоухая.
Он людям досказал все, что хотел.

И высоченный лоб и губы вытер
Тяжеловесной космой парика.
Меж тем на кафедру взшел пресвитер
И пачал речь как бы издадека.

О всеблагом зиждителе вселенной,
Чей замысел нам испокон отверст...
Столетний, серый, лысый как колено,
Он в Ньютона оставил длинный перст.

И вдруг, осклабясь сморщенным и дряблым
Лицом скопца, участливо спросил:
— Итак, плоды осенних ваших яблонь
Суть беглые рабы магнитных сил?

Но, боже милосердный, что за ветер
Умчал вас дальше межпланетных сфер?
— Я Д У М А Л, — Ньютон коротко ответил, —
Я к этому привык. Я думал, сэр.

ДВЕ РЕПЛИКИ В СПОРЕ

1

Я Машина. Та Самая...
Та, что осмелится сметь,
Твоих завтрашних замыслов
Воображаемый оттиск.
Дай мне фосфор и синтез белка,
И одень меня в медь,
И на пир пригласи,
Как смелейшую в сонме гипотез.

Помоги мне родиться
И жить, как хочу, разреши,
Влей горячее в хобот,
А в череп — свой собственный опыт,
Дай в придачу безделицу
Вроде бессмертной души
Или веру внуши,
Что я сверхчеловек, а не робот.

Как праща твоих пращуров
Камни швыряла в орду
Перепончатокрылых чудовищ,
Коленчатых чудищ,
На любую добычу
И я наугад набреду.
Ты за шквальный огонь,
За кинжальный прицел
Не осудишь.

Ну, а там — поглядим, кто кого!
Разгуляемся там!
На просторы истории
Вырвемся дюжей оравой!

Ну, а там,
По горячим следам, по горящим мостам —
Кругом арррш! Развернуться поротно!
Равнение направо!

Это присказка в сказке.
А сказки, пожалуй, и нет
Ни в кэлонках ступенчатых формул,
Ни в точной цифири,
Ни на солнечных пятнах,
Ни в лунных пейзажах планет,
Ни в лучах радиации,
Льющихся в мертвом эфире.

Я доделаю дело!
Куда и откуда ни глянь —
Программирован мир!
Неприглядны для свежего глаза
Многовольтные заросли.
Проволочный гаолян,
Хлопья черного дыма
И выхлопы желтого газа.

2

Я Невежда. Тот Самый,
Который вам стоит хлопот,
Но не стоит потраченных
На обучение денег.
Я Наивный Дикарь
И поэтому ваш антипод,
Антивирус, противопоказанный
Вам, Академик!

Вы забыли меня.
Я Собака, зарытая здесь,
В самом сердце проблемы.
Я Сердце, стучащее в ребрах.
Вы забыли о том,
Сколько было на свете чудес,
Сколько сказок немислимо злых
И псевиданно добрых.

Это я! Это я создавал
Для Любимой моей
Всех драконов и демонов
Раньше, чем создал науки!
Это я на расселинах скал
И на волнах морей
Рисовал ее звездные очи
И смуглые руки!

Это я одевал ее в бронзу
И в легкий виссон
И ей под ноги кинул
Сокровища целой вселенной!
И когда она в юности
Мне усмехнулась сквозь сон,
Я помчался на всех парусах
За Спартанской Еленой...

Вот она — эта Женщина!
Выдумка? — Может быть... Но,
Не раскрыта в анализе,
Не сведена к логарифму,
Она тклет мою вечность,
И вертится веретено.
И внезапные молнии
Ей откликаются в рифму.

От лица этих молний,
От имени этой грозы,
Представитель всех пар человеческих,
Слившихся в тапце, —
Я обязан напомнить
Забытые вами азы,
Не ссылаясь на классиков,
Не соблюдая дистанций.

Продолжается век,
И другой приближается век.
По кремнистым ступеням
Взбираясь к опасным вершинам,
Никогда, никогда, никогда
Не отдаст человек
Своего превосходства
Умнейшим на свете машинам.

Точка. Слова из песни не выкинешь,
Как говорят.
Истекает регламент.
Ученый кончается диспут.
Ну, а там — поглядим, кто кого:
Электронный снаряд
Или ваш оппонент,
Без оружия идущий на приступ!

ЗАМЫСЕЛ

Намеченный без ошибок,
Написанный без помарок,
Еще не глубокий, но гибкий,
Еще не зажжен, но яркий,

Еще не точен, но ясен,
Не выполнен, но готов он,
Не временем опоясан,
Но будущим продиктован —

Мой замысел! Непременно
Он выбьет искру о камень.
Пусть он не современный,
Он все-таки своевремен.

Найдут ли в своей таблице
Скользкий тот логарифм,
Что мимо времени длится,
Ничьим не отмечен грифом?

Докажут ли в теореме
Вот это раннее утро,
Держащее сквозь время
В своей плоскодонке утлой?

Никак о том не заботясь,
Я рою глубже колодезь.
Мой замысел — только оттиск
Едва рожденных гипотез.

В МОЕЙ КОМНАТЕ

Геннадию Фишу

В моей комнате, краской и лаком блестя,
Школьный глобус гостит, как чужое дитя.
Он стоит, на косую насаженный ось,
И летит сквозь пространство и время и сквозь
Неоглядную даль, непроглядную тьму,
Почему я смотрю на него — не пойму.

Школьный глобус. Нехитрая, кажется, вещь.
Почему же он так одинок и зловец?
Чтобы это понять, я широко раскрыл
Мои окна, как шесть серафических крыл.

Еще сини моря, и пустыни желты,
И коричневых гор различимы хребты.
Различима еще и сверкает огнем
Вся Европа, бессонная ночью как днем,
Вся вмещенная в миг, воплощенная в миф,
Красотою своей мудрецов истомив,
Финикийская девочка дышит пока
И целует могучую морду быка,
Средиземным седым омываемая,
Обожаемая, не чужая — моя!

Школьный глобус! Он школьным пособием был,
Но прямое свое назначенье забыл
И завыл, зарыдал на короткой волне,
Телеграфным столбом загудел в вышине:

— Люди! Два с половиной миллиарда людей,
Самый добрый чудак, самый черный злодей,
Рудокопы, министры, бойцы, скрипачи,
Гончары, космонавты, поэты, врачи,
Повелители волн, властелины огня,
Мастера скоростей, пощадите меня!

ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ...

Все мои колыбели и школы дрожат,
Все берлоги зверюшек, затоны рыбешек
Уже знают, что срок их дыхания сжат
Между двух гроыхающих где-то бомбежек.

Все, что есть. Все, что было и будет. Все рвы
Сотни раз перепаханных кладбищ. Вся жалость
К трепетанью листвы и к лучам синевы —
Только на волоске это раньше держалось.

Ты, нагая наядя в расселинах скал,
Чьим глазам промелькнула ты легкую тенью?
Для кого, Прометей, ты огонь высекал?
Чем докажешь ты, Ньютон, закон тяготенья?

Ты, лопух, ты, крапива, ты, чертополох,
Как вы смели тесниться по краю оврага?
Как смогла ты запениться в смене эпох,
Всех моих новоселов пьянящая брага?

Вы, мои океаны и материки,
Неужели и вам предстоит этот финиш?
Ты, творящая ласка рабочей руки,
Неужели так скоро меня ты покинешь?

ФИЗИК

Он шел средь мрака неохватного,
Вслед за звездой падучей,
Сквозь неопределенность квантовой
Механики грядущей.

Когда же следующий занавес
Внезапно был распахнут,
Он взял иной предел и заново
Смешал фигуры шахмат,

Не оступился в этой осыпи,
Не сбился, тайну тронув,
Добился правды каждой особи
В миллиардах электронов.

Так наступила встреча Фауста
С красавицей Еленой.
Так проступило вдруг из хаоса
Лицо живой вселенной.

Она уклончива, обманчива
И яростно правдива.
Но он портрета не заканчивал,
Он знал — исчезнет диво!

И снова первозданным ропотом
Наполнил мирозданье.
И — пропади работа пропадом! —
Не ждал переизданья.

И эта сварка автогенная
Звезды и человека
Была короткой жизнью гения,
Короче полувека.

ТО, ЧТО КАЗАЛОСЬ

...Обозначались на короткий миг
Обрывки жизней, главы биографий.
Ложились волны на прибрежный гравий,
Сбивая пену для себя самих.

Казалось, не напрасно нетерпенье.
Казалось, ритм предшествует всему,
Рождает свет и побеждает тьму.
Казалось, там в морской соленой пене
Опять, опять, как в давние года,
Не онемев ни в мраморе, ни в глине,
Смеющаяся плещется богиня,
Девическая блещет нагота.

Казалось, начинаются сначала
Богини, боги, битвы, облака.
Мельчайшая молекула белка
Себя для вечности предназначала.

В избытке первозданной доброты
Бесчисленные крохотные жизни,
Шмели и мотыльки, мальки и слизни,
Скворцы и галки, белки и кроты
Рождались, спаривались, исчезали
Между корней и веток. Жизнь неслась,
Влюбленными насыщенная власть,
Как сумасшедший вальс в нарядной зале.

Двоились пары в зеркалах пустых.
Был знойный полдень в середине лета.
— Постой, любимый! — Что с тобой,

Джульетта? —

Внезапно говор замер и затих.

Последний луч пылал еще на кручах.
Скалистый кряж был прочен и высок.
Но сыпался песок из детских ручек.
Но время шло, и сыпался песок.

Да, время шло, и души погребенных
Смотрели, очевидно, свысока,
Как у реки времен нагой ребенок
Со смехом сыплет золото песка.

Да, время шло!.. И вот средь изобильных.
Всем людям предоставленных щедрот
Несчастный человек включил рубильник.
Зажмурился. Открыл, как рыба, рот.
Его швырнуло наземь. Он затрясся.
Забился в щель. Услышал свой же рев.

.

Взрыв грибовидным деревом разросся,
Пять океанов ярче озарив,
Чем пять рассветов.

Жизнь переходила

И в противоположность и в ничто,
Не достигая своего предела,
Не разгадав, откуда начата.

Во все дворцы, обставленные щедро,
Где прерван ток и отработан пар,
Вешли малютки атомные ядра
И довершили поминальный пир.

А там, где воцарился холод лютый,
Где отработан мозг и прерван пульс,
Там для одних Ромео и Джульетты
В рыданиях скрипок не кончался вальс.

Двум циркачам, сорвавшимся с трапеций,
Под звездный купол пущенным пращой,
О, как им не хотелось торопиться,
Разбиться насмерть и сказать «прощай»!..

Прощай! Как жаль, что нас не пожалели,
Что в полыханье вспыхнувших плащей
Не слышим мы благоуханья лилий.
— Прощай, Мужчина! — Женщина, прощай!

Всю бесконечность длилась эта гибель,
Законов правды не поколебав,
Вся в пламени, — а не пошла на убыль
Вне времени творимая любовь.

ВСТАНЬ, ПРОМЕТЕЙ!

Встань, Прометей, комбинезон надень,
Возьми кресало гроз высокогорных!
Горит багряный жар в кузнечных горнах,
Твой тридцативековый трудовдень.

Встань, Леонардо, свет зажги в ночи,
Оконце зарешечанное вытри
И в облаках, как на своей палитре,
Улыбку Монны Лизы различи.

Встань, Чаплин! Встань, Эйнштейн!
Встань, Пикассо!

Встань, Следующий! Всем пора родиться!
А вы, глупцы, хранители традиций,
Попавшие как белки в колесо,

Не принимайте чрезвычайных мер,
Не обсуждайте, свят он иль греховен,
Пока от горя не оглох Бетховен
И не ослеп от нищеты Гомер!

Все брезжит, брызжет, движется, течет
И гибнет, за себя не беспокоясь.
Не создан эпос. Не исчерпан поиск.
Не подготовлен никакой отчет.

ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ

САД

Что творится в осеннюю ночь,
Как слабеют растения сухие,
Как, не в силах друг дружке помочь,
Отдаются на милость стихии!

Как в предсмертном ознобе, в бреду
Кверху тянутся пальцами веток,
И свою понимают беду,
И захлеб ее пьют напоследок!

Но редет ненастная мгла.
Обозначились контуры жизни —
Там, где изморозь к утру легла,
Где свершились цветочные тризны.

А вселенная строит свой дом,
И лелеет живых, и взрослеет,
И хмелеет в тумане седом,
И в былом ничего не жалеет!

СОСНЫ

Вдоль просеки лесной, в тяжелом зное,
В шмелином звоне, в куреве смолы
Лежит оно, все воинство честное,
Безрукие сосновые стволы.

Вчера — подростки в сумраке зеленом
Тянулись вверх, к густой голубизне,
И снились им, смиренным и влюбленным,
Подружки-пальмы в южной стороне.

Вчера взахлеб впивали жадной хвоей
Существованья терпкое вино
И, выйдя на задание боевое,
Все, как один, стояли заодно.

Лежат вповалку их нагие трупы.
Надолго смертный растянулся час.
Они еще не мачты и не срубы.
Вторая жизнь для них не началась,

АНТЕННА И СКВОРЕШНЯ

Два века — нынешний и прежний —
Горды соседством и собой, —
Антенна рядом со скворешней
Над подмосковною избой.

Но, протянув друг дружке руки,
Две разных палки врозь торчат.
Ждут телевиденья старухи,
А вьуки пестуют скворчат.

Мир в подмосковной телевиден.
Но пусть не ропщут мудрецы, —
Здесь кругозор иной завиден
И рвутся за море скворцы.

Скворцы — любители простора —
Стареть в скворешнях не хотят.
А вслед за ними очень скоро
Мальчишки в космос полетят.

КАК ПЕЙЗАЖ

Захламлен цементом и тесом,
Завален песком и золой,
До ночи не мыт и не чесан
Весь этот пейзаж нежилой.

Лишь топенький, выгнутый вправо,
Белесый, чуть видимый сери
Встает над вороньей оравой,
Над сучьями вымокших верб.

Он скоро серебряным будет,
Потом превратится в луну
И милую вашу разбудит,
Прильнув, как влюбленный, к окну.

Он проще всего и прелестней
И чище всего и ясней.
Он сам начинается песней,
Но он не кончается с ней,

Так вечная, прочная сила
Пробилась в сырую листву,
О радости заголосила
И смолкла в далеком АУ,

ПАМЯТЬ

Что память!.. Кладовая. Подземелье.
Жизнь как попало сброшена туда.
Спят на приколе мертвые суда,
Недвижные, не сдвинутые с мели.

Усмешка друга мертвого. Похмелье
В чужом пиру. Дороги. Города.
Театры. Книги. Тайнство труда,
Который мы закончить не сумели...

Как много шлака в памяти слежалось,
Окаменев и к месту прикипев.
И лишь один нам слышится припев,

Одна поет пронзительная жалость,
Охваченная до корней волос
Всем, что забылось, всем, что не сбылось!

ГРОЗА-ПОДРУГА

Нет счета моим ненаписанным книгам,
Я волн океанских не видел в глаза.
Но стоит мне молодость вспомнить — и мигом
В ответ молодая заблещет гроза.

Все та же она! Но опасней и краше!
И если я болен, печален и стар,
То все ликованье грозы и бесстрашие
По-прежнему мне назначается в дар.

Затем и живешь и надеешься слепо,
И настешь в грозу раскрываешь окно,
И плясешь на плитах могильного склепа,
В который когда-нибудь лечь суждено.

Так будет. И, может быть, это неплохо!
Подумаешь — невидаль в жизни людской,
Что кладбище в зарослях чертополоха
Есть Вечная Память и Вечный Покой...

Но даже оттуда я вытяну руки,
И встречу, как встарь, молодую грозу,
И вырасту к тучам, в объятья подруги,
Добытой вверху, не забытой внизу!

БЪЕТ ОДИННАДЦАТЬ

О, как я помню молодость, мгновенье до рассвета —
Кораблик в море времени таинственного цвета,
Когда жилая комната забыла очертанья,
Лишь окна приготовились и розовеют втайне.
О, как я помню молодость, как день ее последний
Напоминает сумрак мой шестидесятилетний.

Не сделано, не кончено, не собрано, не спето —
Кораблик в море времени, предчувствие рассвета!
Не набрано, не сверстано, не скроено, не сшито,
Не считано, не меряно. И нет еще души той,
Которая поймет меня, полюбит иль погубит,
Едва напиток огненный нечаянно пригубит.

Но где ж она скрывается, над чем она смеется,
Зачем не отзывается и в руки не дается?
Что видится, что чудится, какой обещан праздник,
Какая быль не сбудется, какая небыль дразнит?
Иль некуда ей двинуться? Иль некуда деваться?
...Бьет десять. Бьет одиннадцать.

Потом пробьет двенадцать.

ЖИЗНЬ ПОЭТА

Владимиру Соколову

Что такое жизнь поэта,
Чем богата, чем бедна,
Чем загадочна она?
Жизнь поэта, та иль эта,
Мной испытана до дна.

Семь моих десятилетий —
Сон и бденье, лень и труд,
Все они со мной умрут.
Светлячок в ночном балете
Гасит бедный изумруд.

И от летней ночи брачной,
От спованья легких звезд
Остается червь невзрачный
В закромах вороньих гнезд.

Так и мне, огня отведав,
Остается, видит бог,
Стать добычей стиховедов,
Им попасться на зубок.

Горько? Может быть. Не знаю...
В чьей-то юности чуть свет
Вновь подхвачена сквозная —
Лучшая из эстафет.

Пусть она несется дальше
Без оглядки на часы,
Без раскаянья, без фальши,
В блестках соли и росы,

СВИРЕПЫЙ РАЙ

О, как ты радуешься, Жизнь,
Ненасытимому цветенью!
О, как мелькаешь легкой тенью
Мгновенных свадеб, беглых триз!

О, как зовешь в свирепый рай
Всех первых встречных-поперечных,
Всех подошечных, всех увечных
Поишь надеждой через край!

В твоей упряжке четверной
Земля, Огонь, Вода и Воздух
Несутся в молниях и звездах,
Дорогу вытянув струной.

И колокольчик их звенит,
От тяготенья независим.
И вот по непроезжим высям
Четверка ринулась в зенит.

И вот летит вниз головой
В седом космическом просторе
И куполам обсерваторий
Сигнал отбрасывает свой.

И снова рушится с крутизи...
А ты зовешь, не отзываясь,
Ты отдаешься, не сдаваясь, —
Ты, Ненаглядная, ты; Жизнь!

КАК ЭТО НИ ПЕЧАЛЬНО

Поздравьте меня, сеньоры: я
уже не Дон-Кихот из Ламанча, но
Алоизо Кихано, прозванный Добрым.

Сервантес

МИФ

Есть отрочество. Этот возраст
Опасен, короток и иглист:
Томится бедный малый, воззрись
На лыжный след, на книжный лист.

Не то из детской куртки вырос,
Не то до взрослой не дорос...
В нем созревает страшный вирус.
Глухой порыв. Немой вопрос.

А впереди — все та же вечность,
Как до рожденья. Тот же гул.
То безрассудство. Та беспечность.
Тот безнаказанный прогул.

Там нет ни школ, ни дисциплины.
Всю вечность даром загубя,
Там он лепил из мокрой глины,
Как бога, самого себя.

И об игре без всяких правил
Он сам не думал, не гадал,
Когда в далекий путь отправил
Родного первенца Дедал.

Нет, он рекорда не достигнет,
Он сразу врежется в зенит
И не почувствует, что гибнет.
Он только тем и знаменит.

КАК ЭТО НИ ПЕЧАЛЬНО

Как это ни печально, я не знаю
Ни прадеда, ни деда своего.
Меж нами связь нарушена сквозная,
Само собой оборвалось родство.

Зато и внук, и правнук, и праправнук
Растут во мне, пока я сам расту,
И юностью своей по праву равных
Со старшим делятся начистоту.

Внутри меня шумят листвою весенней,
И этот смутный, слитный шум лесной
Сулит мне гибель и сулит спасенье
И воскресенье каждую весной.

Растут и пьют корнями соль и влагу.
А зимние настанут вечера —
Приду я к ним и псом косматым лягу,
Чтобы дремать и греться у костра.

Потом на расстоянье необъятном,
Какой бы вихорь дальше их ни гнал,
В четвертом измеренье или в пятом
Они заметят с башен мой сигнал,

Услышат позывные моих бедствий,
Найдут моих погасших звезд лучи, —
Как песни, позабывшиеся в детстве,
В коротких снах звучащие в ночи.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

До чего же роскошно
Развалины выглядят ночью,
Когда в зубьях и щелях
Проносится двадцать веков,
И замешкался только двадцатый...
А ветер таков,
Что на всех языках
Уцелели одни многоточья!

Обойдемся и мы
Без фамилий и паспортных дат.
Сколько белых костей
От Цусимы и до Хиросимы,
Сколько черных путей,
По которым опять колесим мы, —
Ты, Неведомый Атомщик,
Я, Неизвестный Солдат.

Это малая часть
В биографии обыкновенной.
От войны до войны
Недалеко — рукою подать.
От тюрьмы до тюрьмы,
От корчмы до корчмы —
Благодать!
Все по правилам:
«Умер бедняга в больнице военной».

А в мертвецкой очнулся. Спросил:
— Сколько лет, сколько зим? —
С той поры
Мне одно только помнится живо и ярко:
Как могилу мне вырыли
Под Триумфальной аркой,

В негасимый огонь
Подливали трофейный бензин.

Я гулял в этом городе,
Клал незабудки на камень...
Если все позабыл,
Можно камню сказать: «Не забудь».
Я своим поклонился костям
И отправился в путь,
Сторонился
И братских могил и кладбищенских ямин.

Есть такие театры,
Открытые настежь во тьму.
Там, бывало, под занавес
Дули архангелы в трубы,
На тревогу вставали
Мои погребенные трупы.
Я им хлопал и плакал, —
И сам не пойму почему.

Впрочем, это пустяк!
Не положено мертвому плакать.
Лучше я расскажу,
Что за женщины в ложах сидят,
Как бела у них кожа,
Как сладко целуют солдат,
Как скользка и опасна
Для женщин осенняя слякоть.

Да и это пустяк!
Я отстал от тебя в скоростях.
Понимаешь ты?
Если к тебе я прикручен канатом,
Если правда,
Что где-то у вас расщепляется атом, —
Это, брат, не пустяк,
Для меня далеко не пустяк!

Понимаешь, ученый?
Я тоже когда-то распался.
Не на атомы, хуже!
На тысячи ранних смертей.

За меня
Инвалидная лихо трудилась артель.
Сколько раз бастовала она,
Столько я просыпался.

Чьи там тени впечатаны
В плиты щербатой стены?
Пусть молчат они.
Наше молчанье впечатано тут же.
Оно гибнет от голода,
Дрогнет и дохнет от стужи.
Все симфонии ваши
Молчаньем таким сметены.

Так брожу я
По старым столицам,
Сожжен и контужен.
Чем бы стать?
По какому разряду пропишут меня?
Тень не тень,
Но случалось,
Инкогнито свято храня,
Я к иному из вас
Приходил и незваный на ужин!

Что за ветер!
Прощай,
Все, что следует знать, изучай,
Дорогой современник
И, как говорится, — коллега!
Что за темень!
Куда ни стучись,
Не добьешься ночлега.
Разве только в стихах у поэта, —
И то невзначай...

ХОЧЕШЬ СЛУШАТЬ!..

Хочешь слушать о самом бессонном,
Самом что ни на есть невесомом?
Где он, герой неконченных книг,
К линзам каких открытий преник?
 В звездном просторе
 Обсерваторий
Где мой бессонный двойник?

Льдами затерт в арктической вьюге,
Всосан песками на знойном юге,
Под ураганным косым огнем...
Сложит ли время песню о нем?
 Писем не пишет,
 Меня не слышит...
Время молчит о нем.

О, неподвижность в самом движении!
О, протяженность и притяжение!
Знает о том герой или нет, —
Мчатся шары замерзших планет,
 Намертво вбиты
 В свои орбиты,
Мчатся — выхода нет.

Грустные речи — да нечем крыть их!
Ты-то с чего вострепнулся, критик,
Словно ты двадцать веков проспал,
Словно на след добычи попал?
 На слове ловишь,
 Капкан готовишь?
Пальцем в небо попал!

Я УБЕЖДАЮСЬ НЕПРЕСТАННО

Я убеждаюсь непрестанно,
Что мир еще загадок полн:
Изгибом девичьего стана,
Сверканьем молний, пляской волн.

Но безрассудно и бесплодно
Сжигаю честный черновик
За то, что к трезвости холодной
Он недостаточно привык.

Что ж! Значит, дальше не поедем.
Разорван беглый наш союз.
С тетрадью, как цыган с медведем,
Я на распутье остаюсь.

Искусство делают из глины,
Гаданья, гибели, огня.
Я данник этой дисциплины,
Не осуждайте же меня!

СТАРЫЙ СКУЛЬПТОР (1843—1963)

Пришли не мрамором, не бронзой, —
Живые ринулись на смотр —
В монашеском обличье Грозный,
В отваге юношеский Петр.

Два зеркала, два разных лика,
Два крайних возраста твоих.
А за окном парижский вихрь
Не спит всю ночь и пляшет лихо.

Фиалки дышат как весна,
Грохочут фуры и фиакры.
Нет, не добьешься больше сна,
Не отобьешься от подагры.

Иль, может, вправду на покой,
В последний путь на катафалке?
Там, что ни май, цветут фиалки,
А глина вечно под рукой...

Но полон злобы дня насущной
Тот — не замеченный в углу,
Насмешливый и непослушный
Сел на скалу, глядит во мглу,

Упер в коленки подбородок,
Не откликается на зов.
Он тоже вышел из низов
И горд, как всякий самородок.

Он не по климату одет
И выглядит пронирой тертым.
Прости, что вмешиваюсь, дед,
Свожу тебя с твоим же чертом!

Ты с этим малым подружись,
Стяни ремень возможно туже
И начинай сначала ту же,
Хоть и нелегкую, а жизнь!

Гол как сокол, небрит, неистов,
Ты повстречаешь молодежь,
Рассмотришь абстракционистов
И Стасова к ним приведешь...

Смеешься? Неудобно, дескать,
Оставить свой привычный круг,
Быть академиком — и вдруг...
Что за нужда! Какая детскость!

Ты прав, старик, семижды прав.
Прости, что, не считаясь с датой,
Простую вежливость поправ,
Я вздумал звать тебя куда-то.

Прости! Я позже родился,
И в давке этих людных улиц
Мы на полвека разминулись,
А встретились на полчаса.

Твой возраст двадцатилетний
Не станет старше все равно.
До скорой встречи, до последней...
Я занял очередь давно.

1923—13.V—1963

Зое

Идя ко сну, Любимая, ты вспомнишь.
Как ровно сорок лет назад вагон
Нас приютил и времени в обгон
Умчал обоих в северную полночь.
Прижавшись лбами к потному стеклу,
Следили мы, как рушились туннели,
Как семафоры, станции и ели,
Рвы и мосты шарахались во мглу.

Два существа, неведомых друг другу,
Два разных мира. Но одна весна
Лишила нас вплоть до рассвета сна
И нам обоим протянула руку.
И это было высшим образцом
Ее благоволенья и вниманья.
Вот почему в предутреннем тумане
Сияла ты смеющимся лицом.

Двадцатилетняя! Ты не могла ведь
Себе представить будущее. Нет
Такого гороскопа у планет,
Чтобы две наши жизни озаглавить.
Летел вагон. Он пробивал с трудом
Свою дорогу сквозь начало жизни,
Он преломлялся в этой мутной линзе,
Но хлынул светом в будущий наш дом.

А все, что было между ТЕМ и ЭТИМ, —
Молчанье мертвых, слитный гул труда,
Театры, книги, встречи, города —
Мы как гостей сегодня утром встретим.
Пускай войдут и сядут вокруг стола.
Любимая, встречай их у порога.
У них была различная дорога,
Не не напрасно к нам их привела.

И как когда-то в середине мая, —
В немыслимой голубизне весны
Сбываются несбыточные сны
И речь звучит, открытая, прямая,
Единственная стоящая: — Верь
В огромность жизни, в завтрашнее утро —
И весело, отчаянно и мудро
Навстречу будущему. Настежь дверь!

ОЛЬГЕ БЕРГГОЛЬЦ

Знаешь, Ольга Федоровна, Оля,
Как тебя угадывали мы
В ледяном и звездном ореоле
Той блокадной гибельной зимы, —

Как твой голос в буре орудийной
Был не только голосом твоим,
Этот юный голос лебединый,
Равный всем событиям мировым?..

Он влетал как молния и ветер,
Говорил с историей на ТЫ
И мужское обожанье встретил
На постах от Ладоги до Мсты.

Чудо это было? Нет, не чудо!
Это с нами грелась у костра
Женщина, пришедшая оттуда,
Чья-то дочь, невеста иль сестра.

Женщина. Одна из многих женщин.
Ты была и нашей и ничьей.
Не превознесен, не преуменьшен
Вещий смысл твоих прямых речей.

С той поры и дни прошли и годы,
Целый век и — маювенье век.
И опять ни отдыха, ни льготы.
Чист и честен юный человек.

И опять полны тугого гуда
В Угличе твоём колокола.
Чудо это? Верно, это ЧУДО.
Только ты свершить его могла.

И Дневные Звезды загорелись.
Чтобы слабый свет их уберечь,
Старше стала женственная прелесть
И моложе воинская речь.

Чем захочешь — речью иль молчаньем,
Но, когда зовешь ты в правый бой,
Как не услышать однополчанам,
Не пойти на приступ за тобой!

К ДИСКУССИИ О РЕАЛИЗМЕ

Разглядите на ветках — чертей своенравных,
Сквозь трехмерное — четырехмерные скважины.
Например, на пяти проводах телеграфных
Воробьи, словно нотные знаки, насажены.

Что за музыка именно в эти секунды
Мчится срочная — императрица иль пленница?
Что за ритм у нее, — прихотливый иль скудный,
Подчиняется автору иль ерепенится?

Так поэзия не уместается в прозе,
До краев переполнена волнами музыки.
И расселись, как нотные знаки предгрозя,
На ее проводах воробьи-карапузики.

Воробьи — это присказка, притча, причуда,
Лжесвидетели предгрозового безмолвия.
Дайте срок, реалист, — еще брызнут оттуда
Сногсшибательные, многовольтные молнии!

Дайте срок!.. Вот внезапно оно и разверзлось!
Но отсюда мораль не дерзка, не задириста.
Потому что в поэзии дерзость не в дерзость,
Дважды два не четыре, да и не четыреста.

Мы на счетных костяшках не вычислим точно
Золотого запаса наличного этого:
Он над сорной травой, над трубой водосточной
Поднимается кверху струей фиолетовой.

Но не с целью ученой в статье отвлеченной, —
В настоящем огне попытайтесь сгорите-ка!

.

Шапку в зубы и в дверь! И, вздохнув облегченно,
Со всех ног удирает ученая критика!

ХУДОЖНИКИ

Я у многих художников спрашивал,
Как далось им искусство вначале,
«Не касайся отчаянья нашего! —
Так художники мне отвечали. —

Это не было встречей с возлюбленной,
Ни отвагой, ни негой, ни вьюгой,
А зачеркнутой накрест, загубленной,
Лишней, зряшной и грешной потугой.

Даже не было краскою масляной, —
Только потом и злыми слезами,
Только чьею-то злобной напраслиной,
Возведенной на наши дерзання.

Загляделись мы в звездное небо ли,
Или в грязные лужи свалились, —
Кем бы ни были, молоды не были,
Только к старости развеселились!»

У художников юность не славится,
Не приходит, смеясь и танцуя,
И не кажется людям красавицей,
И сама красота не к лицу ей!

ГРОЗА

1

Ты движешься, гроза,
Лениво и с опаской.
Тебя узнать нельзя
Под черной полумаской.

Твой отдаленный гул
Чудес не обещает,
И медных губ и скул
Ничто не освещает.

И спутанных волос
Уродливо бездушье,
И смоляной их лоск
Подернут ветхой тушью.

Но жухлая трава
Травинкой шепчет каждой
Горячие слова,
Подсказанные жаждой.

Так что же ты? — Явись!
Свой замысел исполни
И клинописью молний
Обрушься сверху вниз!

Сквозь гомон, грохот, гогот
Откройся вся как есть.
Хоть небылицы смогут
Дыханье перевести!

Не названа по имени,
Когда тебя я встречу,
Останься, напои меня
Членораздельной речью.

Мои замки отомкнуты
Для выхода и входа.
Открыты настежь комнаты.
Идет, пошла охота!

Пускай опасно чудище,
Что будущим зовется.
Не уходи, побудь еще!
ГДЕ ТОНКО, ТАМ НЕ РВЕТСЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не жалея, не грусти, моя старость,
Что не слышит тебя моя юность.
Ничего у тебя не осталось,
И ничто для тебя не вернулось.

Не грусти, не жалея, не печалься,
На особый исход не надейся.
Но смотри — под конец не отчайся,
Если мало в трагедии действий.

Ровно пять. Только пять!
У Шекспира
Ради вечности и ради женщины
Человека пронзает рапира,
Но погибший победой увенчан.

Только эта победа осталась.
Только эта надежда вернулась.
В дальний путь снаряжается старость.
Вслед за ней продолжается юность.

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Всюду беда и утраты,
Что тебя ждет впереди?

Александр Блок

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Поэма

Глава первая

Как ни бейся, а эти строки
С биографией не дружат.
Ни в какие даты и сроки
Раньше смерти никто не сжат.
Как ни глянь, а в картины эти,
В эти рамы не вмещены
Семь минувших десятилетий
Непомерной величины.

Как ни мерь, а они огромны,
Потому что теснятся в них
Майских гроз молодые громы,
Тепи мертвых, страницы книг,
Божьи храмы, князьки хоромы,
Чьи-то драмы и чьи-то дремы,
Ветровые аэродромы, —
Разве ты позабыл про них?

Позабыл, как порой весенней,
Ощущая сердечный жар,
Эпицентром землетрясения
Свою личность воображал?
Что же это, собственно, значит?
Разбирайся сам, человек,
Когда память переиначит
Твой тревожный и сложный век, —

Наплетет она небылицы,
Перепутает явь и сон,
Перессорит тени и лица
И запрет их впрок и в засол,

И наполнит своим ущербом
Полстолетья — за полчаса...
Девятнадцатый век исчерпан.
Век двадцатый не начался.

Девятнадцатый век развенчан.
Учат реквием скриначи.
Миллионы мужчин и женщин
Зачинают детей в ночи.
Что же слышится в жарком, жадном
Ликовании двух существ?
Что за струны стонут, дрожат в пем
И глушат мировой оркестр?

Что же ты лихорадишь, бродишь,
Тень от тени, звено в цепи?
Жди рожденья, бедный Зародыш, —
Слышишь, Будущий? — крепко спи!
Завтра с ветром намертво сплавят
Твой мипутный углый уют,
Твою жизнь горючим заправят
И к истории прикуют.

Если верить точным наукам,
То в одной из последних глав
Предназначено твоим внукам
В черный космос лететь стремглав.
Но постой! Еще слишком рано.
В колыбелях физики спят.
Спят в земле запасы урана,
Спит гармония. Спит распад.

Пассажиры в дальнем вагоне
В карты режутся, водку пьют
И, не слыша дальней погони,
«Видьनावолгучейстон...» поют,
А на станции, на той самой,
Что под ливнем дрогнет косым,
Ждут курьерского папа с мамой,
С ними их восьмилетний сын.

О маршруте не беспокоясь,
Не спросив, откуда-куда,
Знает мальчишка, что всякий поезд
Пронесет его сквозь года.

Не успеет он и взглядеться,
Что там в окнах — а на беду
Повзрослеет внезапно детство
В девятьсот четвертом году.

Чья-то небыль пошла на убыль.
В небе Черный плывет Монах.
Болен Чехов. Безумен Врубель.
Впрочем, дело не в именах,
Даже не в мировых событиях...
В чем же дело? Не в том ли, что
Люди сами спешат забыть их,
Сыплют память сквозь решето...

Та эпоха — ничуть не старше,
Не моложе иных эпох —
В полной выкладке и на марше
Истоптала сотни сапог.
Вот она — в маньчжурке ушастой —
Пробрела по Тверской-Ямской, —
Не зевай, филер, сзади шастай,
Топай, гадина, день-деньской!

По сибирским снегам носимый,
Прямоком дойти не посмеет,
От Ходынки вплоть до Цусимы
Пробирается Красный Смех.
Всполошилась, не спит охрана, —
Где-то Красный поет Петух...
Но постой! Еще слишком рано.
Золотой гребешок потух...

Только слышится крик петуший.
Только в чьих-то юных глазах
Птица-молния черной тушью
Отпечатала свой зигзаг.
Только начерно и напрасно,
Словно гости иных времен,
Полыхают на Пресне Красной
Кумачи рабочих знамен,

Пушки бьют. На дальних заставах
Вдовий плач и лачужный чад.
В насмерть вывихнутых суставах
Сухожилья века трещат.
Дальнобойную пасть ощеря,
Брызнув пламенем из-под век,
Заворочался зверь в пещере —
Пятилетний двадцатый век.

Наш двадцатый, наш соглядатай,
Провожатый, вожатый, вождь,
Под какую будущей датой
Развернется он во всю мощь?
Не разобранный на цитаты,
Не включен ни в одну из схем,
С кем же в заговоре Двадцатый,
С кем дерется он? — Правда, с кем?

Дальше — выше! Растет он выше,
То Архангел, то Хулиган.
Ветерок, лишь только он вышел,
Превращается в ураган.
Он квадратом скорости света
Обозначил замысел свой,
Вот и пущена эстафета
По дороженьке световой!

А сверху — галактики мчатся!
А внизу — в перипном пуху
Домоседы и домочадцы
Порют всякую чепуху.
И насчет светопреставленья
За Москва-рекой сеют слух.
Так кончается представление
В балагане господских слуг.

Исполнители в «Ревизоре»
Ждут финала, окаменев.
А над сценой пылают зори,
А со сцены их гонит гнев.
Свищут вьюги в ущельях улиц
И сквозь щели проникли в зал.
Но и чуткие не проснулись.
Полной правды век не сказал.

Но ни в чьей еще теореме,
Самой сложной, самой простой,
Не раскрыто, что значит время.
Еще слишком рано. Постой!
Значит, рано иль поздно? — РАНО!
Сон вселенной чист и глубок.
В голубом окне ресторана
Разглядел Незнакомку Блок.

В ту весну, в то лето, в ту осень,
Возмужаньем странно томим,
Сам себе неясен, несносен,
Я проснулся собой самим.
Где-то в зеркале так же точно
Причесал вихры мой двойник.
Где-то в камере одиночной
Арестант к решетке приник.

Где-то в шелковом шапокле
На эстраде пошляк острил.
Где-то рывкнули гимн гуляки,
Брякнув с лестницы без перил.
Где-то стыло каленье в домах.
Где-то в жилах подземных руд,
В поколенье детей бездомных
Шел неслышный, как время, труд.

Между тем совсем неказиста
Закопная тишина.
Пятикласснику-гимназисту
В ней история не слышна.
На страницах его тетрадок
Синус, косинус, логарифм,
Тройка с минусом, беспорядок
Перечеркнутых за ночь рифм.

Ничего не может случиться,
И все медленней и мутпей
Мелководная жизнь сочтется
По канавам стоячих дней.
Между тем, — как спирт, улечуась,
Мчится отрочество в ничто.
Чертежом намечена участь.
Дело юности начато!

В непостижимом будущем где-то
Женский образ ливнями смыт,
Там циркачка в звезды одета,
Там цыганка поет навзрыд.
Там возникла тема сквозная.
Сквозь начало виден конец.
И, о том ничего не зная,
Сквозь года несется юнец.

Что за молодость, что за повесть
Я уже различил сквозь тьму
И, к экзаменам не готовясь,
Что за трудный билет возьму?
Кто же Я — герой, или автор,
Или тень в театре теней?
Завтра, завтра... Что будет завтра?
.
Утро вечера мудреней.

Глава вторая

Москва. Зима. Бульвар. Черно
От книг, ворон, лотков.
Все гибели обречено.
Что делать, — мир таков.
Он мне не нравился. И в тот,
Второй военный год
Был полон медленных пустот.
И широчайших льгот.

Любые замыслы равно
Бесчестны и смешны
Пред бурей, бьющейся в окно,
Перед лицом войны.
Таков на вид глубокий тыл
Квартир, конур, контор.
В них след оседлости простыл.
Взамен пустой простор.

Здесь время намертво стоит,
Пространство расплзлось.

Но что же грозный фронт таит
В крови, в потоках слез?
Каких вестей ждет Петроград,
Каких смертей Москва?
Каких наград, каких утрат
С весны до Рождества?

Что значит гул со всех сторон,
Ночной туман, перрон,
Ненастье, карканье ворон,
Казачий эскадрон?..
В чем ошибался Архимед,
Что Ньютон упустил,
Каких не разгадал примет
В гармонии светил?

Печать бессмыслицы на всем,
Куда ни посмотри.
Стропила вечных аксиом
Прогнили изнутри.
У Резерфорда и Кюри,
В ловушку формул сжат,
Такой сюрприз, черт побери,
Что физики дрожат!

Дрожит земля. Встревожен бог.
И вслед за богом — вся
Вселенная качнулась вбок,
Вниз головой вися.
И осушил господь сто грамм
И к почти принял бром,
Но в текст военных телеграмм
Вбил молнию и гром.

Потухли яркие холсты.
Симфонии мертвы.
Художник с жизнью был на ТЫ
И перешел на ВЫ.
Таков обыкновенный мир.
Вокруг, куда ни глянь,
Что ни осколок — то кумир,
Что ни кумир — то дрянь!

Но вот — в метели снеговой
С Остоженки ночной,
С Волхонки вдоль по Моховой
Струится тень за мпой.
В тревожном запахе духов
Я будущим дышу.
То героиня всех стихов,
Что я не напишу.

— Зачем негаданно, чуть свет,
Беспечно и шутя
В Московский университет
Явилась ты, дитя? —
И, — видимости лишена,
Неслышная почти,
Прошелестела тишина:
— ВОТ МОЙ ОТВЕТ. ПРОЧТИ!

(На серой стене старого университетского здания висело отстуканное на машинке объявление: в Мансуровском переулке на Остоженке открыта СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ АРТИСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА.)

Четыре сумрачных стены
Покрыла серая дерюга.
Мы молча смотрим друг на друга,
На длинных скамьях стеснены.
Кто мы такие? — Молодежь,
Студенты факультетов разных,
Сошлись как будто бы на праздник, —
За чем пойдешь — разве найдешь?

Руководитель горбонос,
Наряден, смугл, артист, южанин.
Мы выслушали с обожаньем
Его диагноз и прогноз.
И, острым глазом поглядев,
Он сразу отличил способных
И отпустил домой беззлобных,
Безликих юношей и дев.

И быстрый жест и острый глаз
Здесь не манера, не манерность,
Но восприимчивая первность:

Других зажгла — сама зажглась!
И тут же — трезвые слова,
Что долог всякий путь к успеху,
К тому же дело и не к спеху, —
Не сразу, дескать, и Москва...

Когда злодействует иприт
И гусеницы первых танков
Мнут жнивья осени, — Вахтангов
О добрых чувствах говорит,
О совести, о Льве Толстом,
О романтическом театре.
Загадывая года на три,
Он перегонит всех потом!

.

Что мне делать с моим призваньем,
Кем я стану, что я решу?
Только с высшим образованием
Навсегда расстаться спешу.
Не сдавая римского права,
Государственного не сдам,
Рассуждая зрело и здраво,
Не вернусь к отцовским следам.

На пустой Остоженке гулок
Запоздалых прохожих смех.
На Мансуровский переулок
До рассвета сыплется снег.
Сердце сладкой грустью щемило,
Когда бывший студент, актер
Стих сложил для спутницы милой,
Да и грима с лица не стер.

Так пройдем же в темпе аллегро,
На три четверти строя шаг, —
Пусть мелодия вальса бегло
Еще раз прозвучит в ушах.
Еще раз от плясок и песен
Целый мир полыхнет огнем,
В нас самих повторится весь он, —
Мы-то сами — песчинки в нем!

Из ничтожного водевиля
Еле вырвались и уже
Пропуска свои предъявили
Хмурой страже на рубеже.
— Кто такие? — Поэт и Муза.
— Что за чушь? — Говорим всерьез.
— Что в руках? — Никакого груза,
Кроме будущих гроз и грез.

Осторожно, память, не лги мне!
Может статься, в то утро мы
Поменялись судьбой с другими
На пиру во время чумы.
Может статься, другие двое
В сквер вошли у храма Христа
И все прочее бредовое
Им мерещилось песпроста.

Вслед за тем их легкие тени
Пролетели из жизни в жизнь,
В розни, в близости и в смятенье,
Мимо свадеб и мимо тризн.
Ибо юность в начале века,
Так сказать, в проекте еще,
Обозначилась ее вежа
Приблизительно и общо.

Так постой! Еще слишком рано.
Все неясно. Все впереди.
Вот Россия ЦАРИЦЕЙ БРАННОЙ
В полный рост поднялась, — гляди!
А в тылах военной России
Те же вьюги поют в ночах,
Те же дети плачут босые,
Тот же вдовый остыл очаг.

И от Вислы до самой Камы
Костылей ли, костей ли стук.
Под свинцовыми облаками
Гонит скот на восток пастух...
Все дороги смертью забиты.
Все базары мертвым-мертвы.
Юный голос Девы Обиды
Слышен в древних ночах Москвы,

В чистом поле гнется былинка.
Еле брезжит зимний рассвет.
Хаки — цвет песка и суглинка —
Беззащитный защитный цвет, —
Да кому же, боже, кому ж он
В настоящее время нужен?..
Обнаружен, обезоружен,
Ряжен в кровь беззащитный цвет.

Спит история, прерывая
Раньше срока свой перелет.
Многотомная, мировая
Спит, захлопнута в переплет.
Спит старуха, не шьет, не порет,
Всех историков переспорит,
С проходимцами тараторит,
Что Распутин спущен под лед.

Многим сны еще краше снятся,
Еще ярче у них заря.
Мировало веку шестнадцать
Тридцать первого декабря.
Год пройдет, и минет семнадцать
По законам календаря.
Всем придется с поста сменяться,
Под замок посадят царя.

Юный век давно разглядел их
И над главными суд вершит.
Ляжет саван на тех пределах,
Ладно скроен и крепко спит.
Ворохами снежинок белых
Сыплет время, путь порошит,
Убаюкало оробелых,
Смельчаков разбудить спешит.

Глава третья

Все сначала, с красной строки,
Что бы ни было, но сначала, —
Лишь бы жизнь крепчала и мчала
Всем приличиям вопреки,

С крупных контуров и азов!
Мир пылает в огне грозовом,
На полвека мобилизован,
Откликается нам на зов.

В столкновеньях разных начал,
В разноречиях истин разных
Я встречаю сегодня праздник,
Как и в молодости встречал.
Значит, память стучит в виски.
Значит, некогда одряхлеть ей.
Все тревоги полустолетья
Ей как в молодости близки.

Полстолетья тому назад,
Не застыв бетоном или бронзой.
Начиналась эпоха грозно
Пересвистом пуль из засад.
Начиналась — и началась!
Дерзновенно, легко, широко
Передвинула раньше срока
Стрелки века на звездный час.

А звезда Венера над ней
Зеленела в рассветной дымке,
В легкой шапочке-невидимке
Она стала к утру бледней.
Разве сплось кому-нибудь,
Что в далеком будущем... Впрочем,
Мы не будущее пророчим,
Прямо в прошлое держим нуть.

Только вышли мы из ворот —
И в глаза нам свежо и ярко
Автогенной ударил сваркой
Социальный переворот, —
Разогнал проныр и деляг
И, прикладом гремя ружейным,
Всех снабжает Воображеньем:
— Получай рацион, земляк!

Ни кола у нас, ни двора,
Ни чинов, ни знаков отличья.

Что касается до величья, —
Не пришла еще та пора.
Только утренним сквозняком,
Только будущим даль продута
И продумана. И как будто
Каждый с каждым давно знаком.

Каждый каждому верный друг,
Однокашник, однополчанин,
Простодушен, мудрен, отчаян,
То Бродяга, то Политрук.
Не прочел он и сотни книг,
Слишком мало прожил на свете,
Но за всех и за все в ответе,
Всем учитель, всем ученик.

Может быть, это мой двойник
На рассвете проснулся первым.
Только путь его жизни прерван
В тот же миг, когда он возник.
С той поры у меня в мозгу,
Как пчела в янтаре, сохранна
Его молодость, его рана —
С пей расстаться я не могу.

Невесомый призрак парит
Над равнинами, над горами,
По неуправленной стенограмме
Запинаясь он говорит:
— Я мечтал всем чертям назло
В первый день всемирного братства
С буржуазною коптрой драться,
Да не вышло, не повезло.

Только встали мы к рубежу,
Был мой кубок на землю вылит,
Был я в сердце ранен навывлет,
На булыжном камне лежу,
Не дышу, не двинусь, чуть жив,
Но в последних секундах смертных,
Словно в россыпи звезд несметных,
В веренице жизней чужих —

Различаю свой слабый след,
Перекинутый через пропасть,
Через молодость... (длинный пропуск)
Через сотню и больше лет.
И пускай остался во рту
Только хрип сожженной гортани, —
Завещаю братьям братанье,
Добрым девушкам — доброту.

Смертный час, как всегда, суров.
Но пока боец погибает,
Артиллерия вышибает
Из Хамовников юнкеров.
Там встают Бромлей и Гужон,
Семь застав и Замоскворечье.
Бурный паводок просторечья.
Праздник. Встреча мужей и жен.

Там — в раскрытых настежь мирах,
В грозных лозунгах и легендах,
В пулеметных крест-накрест лентах —
Металлург, Солдат и Моряк
Поднялись — а за ними все,
Кто знаком с бедой и обидой,
Стар и Мал, Живой и Убитый,
В цвете лет, в нетленной красе.

Это есть разлом и разлад,
И восторженность восхожденья,
И зачатие и рожденье
Полстолетья тому назад.
Полстолетья назад Москва
В серых сумерках пред рассветом
Подхватила: «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!» —
Молодые эти слова.

Полстолетья прошло. Гляди, —
У всего свое продолженье.
Все в движенье, в жженье, в броженье.
Полстолетия — впереди.
Так встречаются даль и близь.
Древний город тих и огромен.
Желтоглазья его хоромин
Жадно в будущее впились.

З а к л ю ч е н и е

Приглашаю на поздний ужин
Всех, кто важен и кто ничтожен,
Кто разряжен, кто безоружен,
Кто отважен, кто осторожен!
Но зачем в беседе застойной
Нет у нас настоящей темы?
Все так мертвенно, так пристойно,
Словно встретились в пустоте мы, —

Кислородом земным не дышим,
В головах не вмещаем мыслей
И, по соображеньям выспим,
Вне истории как-то скисли.
А сама История тут же,
Вся как есть — стоит великанша,
Не продрогшая в жуткой стуже
И красивая, как и раньше!

Мы невольно смутились, воззрясь
На явленье славной старухи,
Почитая званье и возраст,
Лобызаем древние руки.
А История с гордым видом
Заявляет, на нас не глянув:
— Не взыщите, я вам не выдам
Ни секретов своих, ни планов.

— Может быть, я полна предвестий
И готовлюсь к новому взмаху,
На крутом, на опасном въезде
Торможу свою колымагу.
Может быть, сама бестолкова,
Беззастенчива, бесшабашна...
Только не было дня такого,
Чтоб мои остывали брашна.

— Лишь бы вы не стояли глухо,
Ваши вашества, благородья! —
Тут пошла вприсядку старуха
И при всем при честном народе
Пляшет в ужасе и веселье,

Новогодний бал открывая,
Как не раз бывало доселе, —
Многотомная, мировая!

Мои гости переглянулись
И пошли кто куда тихонько
Сквозь ущелья московских улиц...
Спит Остоженка. Спит Волхонка.
Может быть, мерещилось это
Всей компании напоследок?
Но читателю и поэту
Безразлично, так или эдак.

Вновь смеркается. Вновь светает.
Где-то время бредет и бредит.
Но кого-то здесь не хватает.
Самый лучший друг не придет,
Не вернется под отчий кров он,
Не придет телеграмм и писем, —
Он вне времени замурован
И от времени независим.

Мой призыв ему не указка.
Мое слово ему не слышно.
Так встречаются быль и сказка
Полной правдой, наверно, лишней.
Разве в тщетном коловращенье,
В неисчерпанном скрещенье жизней
Предназначено возвращенье
Нам, прощающимся на тризне?

Разве ты мне сулила милость,
Эстафета времен сквозная?
Все прошло, миновало, смылось.
СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ — не знаю
Домовой, мой демон домовый,
Не споткнулся на круче скользкой.

.
Ночь. Копец шестьдесят седьмого.
Копчил летопись Антокольский.

1966 — 1968

ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

Что бы ни было, — встав от сна,
Настежь окна в стужу рассвета.
Неужели это весна
Не по климату разодела?

Синий снег ноздреват и рыхл.
Синий воздух из легких выжат.
Только время за шестерых
Шестернями своими движет, —

Жаркой кровью стучит в виски,
Поднимает кверху стропила.
И пока не видать ни зги —
Равноденствие наступило!

Как от спички вспыхнул костер,
Розоватым облаком брезжа.
Хоровод девяти сестер
Закружился на побережье

Наших скованных льдами вод
В нашей зимней Гиперборее...
Девяти сестер хоровод
Все безумнее, все быстрее.

Разве девять? За столько лет
Больше тысячи развелось их:
Целый звездный кордебалет
Босоногих, простоволосых...

Клио прячет свою скрижаль.
Плачет гордая Мельпомена.
Терпсихора — как это жалко —
Пляшет бешено современно...

Обернулась бы хоть одна,
Хоть на миг один да осталась!

. * * * * *
Неужели это весна?
Музы крикнули:
— Это старость...

ИЮЛЬ 1966

Красный закат предвещал на завтра
Свадьбы, рожденья, тризны.
— Как же мне быть? — обратился автор
К необгонимой жизни.

И услышал он в ответ: — Не сетуй,
Семьдесят лет отстукав,
Но услаждайся лучше беседой
В обществе мудрых внуков.

Сядут за круглый стол математик,
Летчик, скрипач, геолог.
Если на слове вздумал поймать их,
Будет ваш спор недолог.

Гости уйдут, на тебя не глядя,
И посмеются выйдя.
Сам же останешься ты в накладе
И в неприглядном виде.

Лучше выслушай их смиренно:
Вот он — сквозь дни и годы
Мчится, поет волшебной сиреной
Ветер лётной погоды!

Влажный туман не досуха выжат,
Огненный спирт не допит.
Тягой миров гипотеза движет,
Перегоняет опыт.

Так, не нуждаясь ни в чьей рекламе,
Не дожидаясь премий,
Бьет в потолок вселенной крылами
Сверхмолодое время.

К дальним звездам, тайной повитым,
В путь, который неведом!..
Так не красуюсь надменным видом,
Внуки простятся с дедом.

Внукам я боли своей не выдам,
Не надоем печалью
И, не красуюсь надменным видом,
В темную ночь отчалою.

Да ведь и ночь не черна как сажа,
В сердце гвоздем не вбита!
Все остальное — деталь пейзажа,
Мелочь жилого быта.

СВОБОДЕН ОТ ПОСТОЯ

Вот свободен мой дом от постоя,
От налета бессонниц и снов.
Я ушел и жилище пустое
Запираю на крепкий засов.

Я избавлен от раннего пыла,
От всего, что звенело и жгло,
Что мешало дышать, и сленило,
И ложилось на жизнь тяжело.

Что здесь было, чего не бывало,
Что исчезло в огне и в дыму,
Что отыскано после обвала?
Я с собой ничего не возьму.

Чья когда-то звезда разблисталась,
Чья парабола — чье торжество?
Где три четверти века, где старость?
Я с собой не возьму ничего.

Пусть забрезжит ненастное утро,
За звездою погаснет звезда.
Я отчалию на лодочке утлой.
Только вечность со мной навсегда.

НА ЧТО МНЕ?

На что мне темных чисел значенья,
На что мне правоученья басен,
На что увлеченья и развлеченья,
Когда я музыкой опоясан?

Мой век не долог. Мой час не краток.
Мой мир не широк. Мой дом не тесен.
Пускай же царствует беспорядок.
В случайном возникновенье песен.

На пять линеек не разместишь их,
Не отопрешь их ключом скрипичным,
Не зарифмуешь в четверостишьях,
Не пригодится застольный спич им.

Они в луче, как пылинки, пляшут,
И как гнилушки, свет излучают,
Статей не пишут, земли не пашут,
Беды не чуют, счастья не чают,

Я затесался в их птичью стаю,
Лечу за ними возможно дальше,
И свой недолгий век коротаю,
И сам себе не прощаю фальши.

МУЗЫКА

1

Я — как набросок или черновик,
Нелеп, невылеплен, некрепок...
Вот и летят за мной из века в век
Рыданья труб и стоны скрипок.

О, сколько этих юношеских птиц,
О, сколько гибнущих впустую!
Кем бы я ни был, книга или чтец,
Но затесался в птичью стаю.

А может быть, я рано родился
И, только что успел родиться,
Сам заблудился в собственном лесу,
А больше некуда мне деться,

Не соболезнай, Музыка, не мучь,
Не обольщай, что все уладишь!
Погибшему не можешь ты помочь,
А спасшегося — не разбудишь.

2

Мороз. Луна. Легко и колко
Звенит по тротуару шаг.
Вот свистом рвущегося шелка
Ты начинаешься в ушах.

Все та же! Первая на свете,
Несуществующая, — но
Сквозь режущий колючий ветер
Нам повстречаться суждено.

Я не отдам тебя, не выдам,
Не выдохну из сжатых уст.
Черна ты и ничтожна видом
На модной выставке искусств.

Тебе никто не платит денег,
Девчонке рыжей и рябой.
Наверно, только я, бездельник,
Согласен нянчиться с тобой.

А ты все та же, Песня! Горечь
Ночного часа. Толчея
Всех городских бессонных сборищ.
А ты все та же и ничья.

3

О, босоногая! Я часто замечал
Твой следы на золотом побережье.
То было в юности, в начале всех начал,
Но с каждой весной бывало реже.

Так если никогда ты не придешь ко мне,
Не прибежишь по гальке в душном зное,
На берегу морском или в звездной вышине
Не промаячишь, марево сквозное, —

О, если... так пускай придвинется стена
Кирпичная, за ней другая, третья,
Потом четвертая. Я обойдусь без сна
Вплоть до конца двадцатого столетья.

Я буду ждать тебя в квадрате этих стен,
Всех четырех — в любой из одиночек.
О, Босоногая! О, Легкая! О, Тень!
Здесь замуровав твой транзитный летчик.

4

Слепой играет на аккордеоне,
Уставил в небо бельма кротких глаз.
Над ним звезда зеленая зажглась,
И стало небо ниже и бездонней.

Но инвалид в брезентовом плаще
Не видит неба. Он звезду обидел.
С тех пор как загорелся истребитель,
Он позабыл о звездах вообще.

О многом он забыл. Не в этом дело...
В течение двух иль трех секунд, пока
Ослепший падал вниз, прошли века.
Но им одно желание владело:

Во что бы то ни стало, вопреки
Сожженной коже и железной стуже,
Пробиться сквозь ничто, проснуться тут же
И сохранить пять чувств и две руки!

...Но что же это, полька или чижик?
О чьих несчастьях пьяницы кричат?
Слепой играет. Ресторанный чад
На нем клеймо отверженности выжег.

Куда податься — в морг — и был таков?..
Или в коты наняться к спекулянтше?..
Он все забыл, что с ним случилось раньше.
Бездомен демон, павший с облаков.

Слепой играет. И звезда чужая
Над ним сверкает. Он не связан с ней.

.
Искусство! Я люблю тебя сильнее
И горше, чем словами выражаю.

Б

Слушай, Музыка! Ты диктовала мне эти слова,
сбереженные в зимах и веснах, давно миновавших.
Слушай, Музыка! Ты опьянила меня, правдолюбца-лгуна,
что случайно попался тебе на дороге.

АКТЕР

Теодору Лондону

1

Ну вот и молодость прошла!
А хочется начать сначала,
Чтобы по всем дорогам мчало,
И ливень лил, и вьюга жгла, —

Чтобы по зимнему шоссе
Шли пятитонки фронтовые,
Увиденные как впервые
В первоначальной их красе, —

Чтоб сгоряча и впопыхах,
Во мгле фанерного барака,
Шли, как мальчишеская драка,
Агитки в прозе и в стихах, —

Чтобы комедия пестро
Вела к развязке ровно в полночь
И кончился удачей полной
Безумный день для Фигаро...

Других ролей я не сочту.
Они — как волн соленых пена —
Одна другую постепенно
Выталкивали в пустоту...

Но есть одна — дороже всех,
Загадочная и простая,
С художниками растаяв,
Сулит им радость и успех.

Ее не знают назубок,
Не учат в обществе партнеров, —
Нет, у нее капризный поров,
А смысл возвышен и глубок.

Название этой роли — Жизнь!
Противница малейшей фальши,
Сама подскажет, что в ней дальше!
А взялся за нее — держись.

2

Я, кажется, вычитал сказку из книг,
А может быть, вспомнилось детство.
Начнем же, товарищ мой и ученик,
Попробуем в сказку взглядеться!

Мерцает кирпичная кладка стены.
Пуста и не прибрана сцена.
Но реют над ней благородные сны,
А полночь всегда драгоценна.

Начнем же, товарищ! Войди и окинь
Глазами гостей Капулетти.
Здесь некогда Гаррик влюблялся, а Кин
Безумствовал в прошлом столетье.

Пошла репетиция. Дверь на замок.
Свершается пиршество наше.
Вас двое влюбленных, и вы до сих пор
Не венчаны в келье монашеской.

Джюльетта твоя молода и нежна.
Свисают шпалерами розы.
Но горе! — навеки уснула она
В смертельных объятиях прозы.

Но горе! — едва только грянула мощь
Оркестра и белого ямба, —
Сквозь крышу закапал невежливый дождь,
И чахнет дежурная лампа.

И сцena пуста. Ни кулис, ни холста,
Ни кубка, ни шпаги, ни пира...
Одна только крыса жива, да и та
Похожа на ведьму Шекспира.

Начнем же, товарищ! Два зрителя есть:
Та крыса, разносчица сплетни,
Да в ложу вверху ухитрился пролезть
Твой сын, мальчуган восьмилетний.

Он в мокрых трусах возвратился с реки,
Забыл о затейной драке,
И фосфоресцируют, как светляки,
Глаза мальчугана во мраке.

Когда-нибудь, лет через десять, ему
Припомнится старая сказка:
Вон кресел ряды убегают во тьму,
Вон старый их бархат истаскан...

Летят облака по кирпичной стене,
Стена ли проносится мимо —
А может быть, только приснилась во сне
Таинственная пантомима?

Когда эту сказку он сможет прочесть,
Испишется наша страница...
Ну что ж! Для художника высшая честь —
Кому-то моложе присниться.

ТЕНЬ

Я тень того, что беспредельно старше
Всех возрастов. Но я всегда на марше,
В походе, в полной выкладке пехоты,
Не дожидаясь отпуска и льготы.

Я только тень. И оставаясь тенью,
Вьюсь по стене, — ползучее растение, —
Из жизни в жизнь, из юности в другую
И сказками на ярмарках торгую.

Я вымысел, которому конца нет,
Будь он соната, статуя иль танец.
Будь Монтекристо или Калиостро,
В пробелах или в подмалевке пестрой.

Я память и беспамятство. Я дерзость
И робость. Подо мной земля разверзлась.
И клинопись на глиняных таблицах
Вам воскрешает чудищ меднолицых.

А тень бредет по облакам и странам,
Чужим романам и киноэкранам,
Растет до потолка при свете лампы
И грустные дочитывает ямбы.

Я только тень того, что дальше смерти.
Какая даль! Попробуйте и смерьте!
Я тень, но я расту своею силой,
Пока меня случайность не скосила.

БАЛАГАННЫЙ ЗАЗЫВАЛА

Кончен день. И в балагане жутком
Я воспользовался промежутком
Между «сколько света» и «ни зги».
Кончен день, изображенный резко,
Полный визга, дребезга и треска.
Он непрочен, как сырая фреска,
От которой сыплются куски.

Все, что было, смазано и стерто.
Так какого — спросите вы — черта
Склеивать расколотый горшок?
Правильно, не стоит! Неприлично
Перед нашей публикой столичной
Славить каждый свой поступок личный,
Хаять каждый личный свой грешок.

Вот она — предельная вершина!
Вот моя прядильная машина, —
Ход ее не сложен, не хитер.
Я, слагатель басен и куплетов,
Инфракрасен, ультрафиолетов,
Ваш слуга, согражданин, — и следов...
Вательно — бродяга и актер, —

Сказочник и Выдумщик Вселенной,
Фауст со Спартанскою Еленой,
Дон-Кихот со скотницей своей,
Дон-Жуан с любовью первой встречной,
Вечный муж с подругой безупречной,
Новосел приморский и приречный,
Праотец несчетных сыновей.

Век недолог. Время беспощадно.
Но на той же сцене, на площадной,
Жизнь беспечна и недорога.
Трачу я последние излишки
И рифмую бледные мыслишки,
А о смерти знаю понаслышке.
Так и существую.

Ваш слуга.

СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА

На краткосрочных курсах вечной тьмы
Отличниками не считались мы, —
Ровесники двадцатого столетья,
Исхлестанные памятью, как плетью...
Пусть счетчик Гейгера сам засечет
Наш смертный срок и нам предъявит счет
За облученье, да и за леченье!

В каком же ты, Искусство, облаченье
Задумало новинку обольщенья,
Чем обольщаешь наш посмертный сон?
Какая синева, какой виссон
На дивные высоты вознесен
И воткан в белый занавес разлуки
В седом тумане Стиксовой излучки?
Какие незапамятные звуки
В последние секунды нам слышны
С нагих полей последней тишины,
Покамест слуха мы не лишены?

ВЕСНА 1967

И снова весна — как военный редут.
И по свету черные силы бредут.
Мы снова на страже. Мы сдвинулись тут.
Теснее друг к другу, товарищи! Слушай
Раскат океана в зазубринах пен,
Преданья обугленных, взорванных стен,
И былль ветерана, и пенье антенн,
И голос грозы над морями и сушей!

И снова земля совершает полет
В пространстве и времени необратимом.
На северных реках ломается лед.
И снова Москва моя молнии шлет
Сынам и товарищам и побратимам.
И снова нас за сердце доблесть берет!

И снова, и снова, и снова трава
На жаркую жизнь предъявляет права,
И молодость мира навеки жива
В мельчайших цветеньях, пробившихся к свету,
В легчайших порывах людской доброты!
Мы — полные ветром поющие рты.
Мы — время! И ты, моя песня, и ты
Затем и поешься, что чувствуешь это!

А ты, моя молодость, так далека,
И, значит, печаль моя так велика,
Что даже разлука с тобою легка,
И не с чего тут ужасаться напрасно.
А ты, моя старость, дыши, не болей,
Будь времени старше, будь снега белей,
Но с внуками рядом встречай юбилей —
Под знаменем красным, на площади Красной!

МАНОН ЛЕСКО

Я видел, как Манон Леско
Встает от сна за час до полдня,
И усмехается легко,
Полмира прихотями полня,
И, глядя в зеркальце, следит
За отраженьем чьей-то тени:
Там бедный де Грие в смятенье,
Ревнует, что ли, иль сердит?

На что? — На женщину, которой,
Наверно, и на свете нет,
Она его забудет скоро
На самой худшей из планет.
О, слишком медленный, о, слишком
Стремительный вихреворот!
О, яркий, слишком яркий рот,
Цветок со стеблем, рано сникшим...

Поверь, — игра не стопт свеч,
Но продолжай рассказ, рассказчик,
О днях, гулящих и пропащих, —
Свою любовь увековечь!
Не верь кларнету и клавиру
И на краю чужой земли
Ее могилу шпагой вырой,
Печаль о милой утоли...

Как видно, в мире окаянном
Нет счастья для Манон Леско!
И, сосланная далеко,
Погибшая за океаном,
Она воскреснет где-нибудь
В иной эпохе переломной,
И темный твой схлестнется путь
С той ветреницей вероломной, —

С той женщиной, которой нет,
Которая тебя покинет
Или с тобою вместе сгинет
На самой лучшей из планет.
А если вдуматься серьезно,
Не так уж это тяжело —
Погибнуть рано или поздно.
Да ведь и ПОЗДНО подошло!

СТРИПТИЗ

Ленивый ритм расшатан и разболтан.
Он превращает музыку в ничто.
Так это представленье начато
В ночном подвале, в освещенье желтом.

Там сотня пар гляделок, а не глаз
Следит, не забавляясь и не мучась,
Как чья-то молодость и чья-то участь
Раскрыта настезь, смята напоказ.

Бездомная, безмозглая, лихая,
Еще одна из стольких до нее,
Швырнула платье, сорвала белье,
Зияньем бедной плоти полыхая.

Искусство! Не жалей ее и сгинь,
Сгинь-пропади, забейся в темный угол,
Но только не касайся этих кукол,
Не трогай этих гибнущих богинь!

Пускай богини гибнут в беспощадных
Прожекторах, сгибаясь и кружась...
Пускай на казнь их провожает джаз
Синкопами догадок непечатных...

Пускай богини гибнут! О, пускай
Они богам не кажутся приманкой...
А ты, Искусство, странствуй хоть с шарманкой,
Хоть обезьянку дряхлую таскай!

ЗОЯ

Я стоял у порога пожара.
Или снилась мне эта жара?
Там природа харчевню держала,
Что-то жарила, что-то жрала.

Там, раскрашен и намертво вкован
В черноту вороненых зеркал,
Мир нарочно для часа такого
Бушевал, хорошел и сверкал!

Круглота его выпуклых линий,
Синева его пасмурных вод...
И — как хвост раскаленный павлиний, —
В перьях пламени весь небосвод!

Тут является Девочка, ярко
Освещенная горном зари:
— Что, не ждал ты такого подарка?
Не мечтал обо мне? Говори!

О РАННЕМ

Так бывает, — из медленной, вялой,
Неудавшейся ранней строки
Преодо мною блеснут, как бывало,
Молодые и злые зрачки,

И когда, как хрустальная чаша,
Расцветает мороз на окне, —
В столах вьюги все чаще и чаще
Вспоминается молодость мне,

Я люблю эту ночь ледяную,
Эту вьюгу, что стонет, губя.
Я навеки люблю и ревную
Только молодость, только тебя!

РЕПЛИКА В СПОРЕ

На каком же меридиане,
На какой из земных широт
Мои помыслы и деянья
Будут пущены в оборот, —

Переизданы ли роскошно
Иль на сцене воплощены?
Дознаваться об этом тошно,
Все равно что ловить чины.

Я о будущем не забочусь
И бессмертия не хочу.
Не пристала такая почестъ
Ни поэту, ни циркачу.

В узелок свяжу свои вещи,
Продиктую на пленку речь...
— Тут бы выразиться похлеще!
Уж куда там душу сберечь!

ХУДОЖНИКУ

Ни в какую щель не прячься,
Оглянись, художник, вокруг!
Прозорливость, зоркость, зрячесть
Служат мастеру раньше рук.

Не обводит циркуль круга,
Искажает линза объем.
Первый встречный ближе друга
В беспокойном деле твоём.

На просторе неохватном,
Где ханжа обожает ложь,
Наколи на доску ватмап,
Свою правду — вынь да положи!

Отыщи свой путь по звездам,
Понехоженной, посвежей,
Ибо мир еще не создан,
Новых требует чертежей.

Завари покрепче зелье,
Страх долой, отчаянье прочь!
Обходя моря и земли,
Видь и внемли, плачь и пророчь!

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Я спешил на наше свиданье
И не встретил тебя опять,
Ибо все часы мирозданья
Умудрились вечность проспять.

Разминулся с Еленой Фауст
И с источником Света — Тень,
Между тем как Космос и Хаос
Выходной объявляют день.

Вслед за тем на пенсию выйдя,
Бог и Дьявол дуют «в козла»
И, узнав о моей обиде,
Восклицают: — Наша взяла!

КОНЕЦ ОРФЕЯ

Он смущал театры и рынки,
Как неправдоподобный слух,
И на каждом спортивном ринге
Был мишенью для оплеух.

Так бессмертие продолжалось,
Сквозь века без нужды влачась.
Но забудьте, граждане, жалость:
Продолжается и сейчас.

Собиралась стая поклонниц
Разорвать его на куски,
Да решила — фальшив червонец,
Недостоин женской тоски.

Проявили к нему сердечность,
Несмотря на ее тщету,
И одну оставили вечность
На текущем его счету.

Продавал он на барахолках,
Археологов посрамив,
Белый мрамор в грязных осколках
И в бессвязных пробелах миф.

Так и жил — ни юный, ни старый,
Не наказан, не поцажён,
Не с кифарой своей, — с гитарой,
Не блажен, увы, — а пижон.

НИ БЛАГОДАТИ, НИ БЛАГОДАРНОСТИ

Что ж, попрощаюсь с вами и улягусь
В сырой земле на долгий срок...
Все что угодно, только бы не благодать,
Не благодушье этих строк!

Трудись, труби во все рога, Природа,
Рогатки ветхие круша!
Любым глотком земного кислорода
За жизнь цепляется душа.

Растет она, привыкшая к страданьям,
Костром цветет сторожевым,
Обвенчанная с целым мирозданьем,
Как полагается живым.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мне исполнилось семьдесят два.
Что тут скажешь, — ни много ни мало.
Много дров моя жизнь наломала.
Мало жгла, — отсырели дрова.

Побрела она дальше упрямо,
Воплощается в дождь и туман,
Не вмещается в длинный роман,
Разве только в короткую драму,

Портит ритм, и ломает строку,
И старается переупрямить
Только память, одну только память,
Изменяющую старику.

В ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

В долгой жизни своей,
Без оглядки на пройденный путь,
Я ищу сыновей,
Не своих, все равно — чьих-нибудь.

Я ищу их в ночи,
В ликование московской толпы, —
Они дети ничьи,
Они звездных салютов снопы.

Я на окна гляжу,
Где маячит сквозной силуэт,
Где прильнул к чертежу
Инженер, архитектор, поэт, —

Кандидат ли наук,
Фантастический ли персонаж,
Чей он сын, чей он внук,
Наш наследник иль вымысел наш?

Исчезает во тьму
Или только что вышел на старт?
Я и сам не пойму,
Отчего он печален и стар.

Как громовый удар,
Прокатилась догадка во мне:
Он печален и стар,
Оттого что погиб на войне.

Свою тайну храня
В песне ветра и пляске огня,
Он прощает меня,
Оттого что не помнит меня,

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Благословляю новый труд
И все, что трудно в нем,
Кремень, кресало, жесткий трут,
Старинный спор с огнем.

Благословляю силу рук,
Своих, любых, чужих,
С утра включенных в тот же круг, —
Их помощью я жив.

Благословляю сон детей
В тот ранний час, когда
Из стольких свадеб и смертей
Рождается звезда.

Благословляю свет в глазах
И шум в ушах и звон,
Внезапной молнии зигзаг,
Резнувший горизонт.

Благословляю долото,
Смычок, резец, весло
И песни новые про то,
Что ветром унесло.

Благословляю вас, друзья,
Гранильщики чудес.
Вина хлебнув, сухарь грызя,
Мы отгуляем здесь,

У нас, товарищи мои,
Дорога далека.
Мы сыновья одной семьи.
Мы проживем — века,

ДИККЕНС

Громыхают по дорогам колымаги,
Дилижансы и почтовые кареты.
Много клерками исписано бумаги.
Сотни комнат черным углем разогреты.

Унесла метель далеко злого друга,
Настежь окна. Вторгся ветер. Меркнут свечи.
Леди повалилась на пол от испуга.
Спит в лачуге бедный птенчик человеческий.

А еще бывает, — молодость уходит,
И камин потух, а все не спит бездельник,
Только глаз от счетной книги не отводит,
Только знает, что когда-то был Сочельник.

ОКЕАНСКАЯ БАЛЛАДА

Зачем мы бросаем с обрушенных палуб
Несчетные письма в бутылках пустых?
Прибило бы к скалам строфу или стих,
Одно письмецо как на грех не пропало б!

По ярость пучины известна давно.
Спасенья не ждем мы, ответа не чаем,
Не спорим с Великим иль Тихим молчаньем.
И нам отвечает молчанье одно.

Молчанье. Зеленая злобная влага.
Смоленая фляга, летящая в ад.
В глаза нам глядят и за нами следят
Две кости и череп пиратского флага.

Все небо обложено тусклым свинцом.
Лишь молнии вьются в коленчатых плясках.
Пускай римский папа, клыками заляскав,
Грехи отпускает нам перед концом.

Но мы, благодать наотрез отвергая,
Ломаем оснастку и топим наш бриг.
...Никем не услышан отчаянный крик:
— Прощай, материк!
— Не горюй, дорогая!

МИФ

За ней, за ней по острым кручам
Безумный мчится человек,
К любимой намертво прикручен
Не день, не год, а целый век.

Вне времени погоня длится
Длинней и дальше всех погонь.
Едва очерченные лица
Смывает ливень, жжет огонь.

Он шлет моленья, шлет проклятья,
Поет и стонет без конца.
Меж тем она меняет платья,
Меняет все вплоть до лица.

Но вот бесследно пролетело
За непостижной крутизной
Как лира выгнутое тело
Той женщины, той неземной.

Так и не встретится он с нимфой,
С ней не простится никогда
И разве только вялой рифмой
Ее прославит без труда.

И сам прославлен в общем мненье,
Гимн мирозданию пропоеет,
И сам пропьет свое именье,
И молодость свою пропьет.

Одетый в бронзу или в камень,
Он не оглянется вокруг,
Вовек не разомкнет руками
Ее скрещенных, слабых рук.

ПАМЯТЬ

Много разного вмерзло в память,
Словно мамонт в полярный лед.
Как картину эту обрамить,
Переплесть ее в переплет?

Зазвенели гусли былины,
Старость мира, помолодеи
В черепках обожженной глины,
В черепах сожженных людей!

В янтаре спит мумия мухи.
Ее сон продлился века.
А у нашей бессонной муки
Вся-то память на полглотка.

В недомолвках, в пустых пробелах,
В мемуарной коварной лжи
Меркнет память душ оробелых.
В чем тут соль? Мудрец, подскажи!

— Что ж, я помню Рим и Помпею,
Хиросиму и Херсонес...
Может быть, я еще успею
Вспомнить жизнь мою под конец.

АРХИМЕД И СКАЗКА

— Не касайся моих чертежей,
Сгниль, кормилица Рима, волчица! —
Но хватчица у рубежей.
Ее тень где-то рядом влачится,
Дым удушливей, пламя рыжей.

— Не хочу на колени я пасть
И рабам твоим не уподоблюсь.
Ты напрасно ощерила пасть,
Только власть у тебя, а не доблесть.
Напоследок хоть солнца не засть!

Так закончил свой век Архимед.
И лежал он, посмертно оскален,
Наг и тощ, без особых примет,
Как обломок в обломках развалин,
Как неодушевленный предмет.

.

Но в пути самовластном своем
По-другому слагается сказка,
Не кончается небытием.
Ей казенный указ не указка.
Вот о чем, вот о чем мы поем!

Что ни утро, восходит свежей
Розоперстая девушка Эос.
И мудрец обращается к ней:
— *Noli tangere circulos meos*, —
Не касайся моих чертежей.

Мертвечину со света гоюя,
В мирозданье, распаханутом настезь,
Ты сама только отсвет огня,
Ничего не темнишь и не застишь,
Но зато воскрешаешь меня.

Доброта в твоих зорких очах,
Как бывало, сулит мне удачу,
Возвращает домашний очаг,
И зубчатых колес передачу,
И лебедку, и винт, и рычаг.

ТРИ СОНЕТА

1. Кара

Карает бог за богоборчество,
Выклеывает печень коршун,
Выкачивает воздух поршень
И обездушивает творчество,

А человек и не поморщится!
Потом ему придется горше:
Дождется смерти-кредиторши,
Пойдет на сделку с этой спорщицей:

Покается во многом искренно,
Иное же украсит выспренно!
Такая плоская поверхность
Плохим комедиантам по сердцу, —
Сама на сцену так и просится,

Я этой каре не подвергнусь.

2. Приписка к ненаписанному

Прости мне, Тень, которой на свету
Не видно, да и места не осталось!
Прощай, тысячелетняя усталость,
Скользящая бесследно в пустоту!

Я в книгах и на свитках не прочту,
В чьих зеркалах ты раньше отражалась,
Чья искренность, чья доброта, чья жалость
Когда-то наполняли сказку ту..

Не может быть начала и конца
В обрывке текста, в беглой вспышке света,
В осколке редкостного самоцвета,
Упавшего из звездного венца.

Есть только ЭХО, только эстафета
Добравшегося к вечности гонца.

3. История

История во мне — вся целиком,
Вся в путанице ложных аналогий —
Встает как пращур из лесной берлоги,
Как мученица римских катакомб.

В чьей памяти, на языке каком,
Какой глагол в страдательном залоге
Звучит припевом в нашем диалоге
И к горлу подступает, словно ком?

Ползут года. Летит за веком век.
Но снятся мне сквозь темень сжатых век
Костры из книг, концлагеря, облавы...

Я, сверстник века, многое скоплю,
Ночей не сплю, пишу, пером скриплю,
Терплю, кроплю, скоблю сухие главы!

КАК НИ КАЙСЯ

Мы бредим вымыслом и баспей
И забываемся на миг,
Но мы богаче и опасней
Забвенья и себя самих.

Нам брезжит слабое мерцанье,
И это кажется сперва
Обмолвкой мирозерцапья
И опечаткой мастерства.

Но как ни кайся напоследок,
Ни зарекайся, ни вертись, —
Мы все же выпустим из клеток
Своих волшебных вещей птиц!

В тех Сринах и Гамаюнах
Уже заложена хитро
Взрывчатка будущих юных.
ТАК РАСЩЕПЛЯЕТСЯ ЯДРО!

ОБЪЯСНИТЬ?

Почему же глаза твои настезь открыты,
А всмотреться не могут в посмертную тьму?
Почему на земле мертвецы не зарыты,
Не отпеты? — Скажи, почему, почему?

Не громадина танка оглохла от вмятин
И как памятник вечно гудит о войне, —
Это ты, мой ребенок, тревожен и вмятец,
Это ты навсегда существуешь во мне.

И опять терпеливой и терпкой обидой
Навсегда между нами протянута нить.
Но не жди от меня объяснения, убитый!
Ничего не могу я тебе объяснить.

МЫ

Пусть падают на пол стаканы
Хмельные и жуток оскал
Кривых балаганных зеркал.
Пусть бронзовые истуканы
С гранитных срываются скал!

Все сделано до половины.
Мы в смерти своей не вольны.
В рожденье своем неповинны, —
Мы — волны растущей лавины,
Солдаты последней войны,

Да, мы!
И сейчас же и тут же,
Где шел сотни раз Ревизор, —
Равнину обходит дозор!
На узкий просцениум стужи
Бьют факелы завтрашних зорь,

Кто этого пошла пригубил,
Тот призван в бессмертную рать,
Мы живы.
Нам рано на убыль.
Мы — Хлебников, Скрябин и Врубель,
И мы не хотим умирать!

А все, что росло, распирая
Гроба человеческих лбов,
Что вышибло доски гробов,
Что шло из губернского края
В разбеге шлагбаумных столбов,

Что жгло нескончаемым горем
Пространство метельной зимы,
Что жгло молодые умы
Евангельем и алкоголем
И Гоголем, — все это МЫ!

Да, мы!
Что же выше и краше,
Чем мчащееся сквозь года,
Чем наше сегодня, чем наше
Студенческое и монашье
И воинское навсегда!

1927—1967

З О Я Б А Ж А Н О В А

*Если скажу я, что ты мне жена,
Я ничего не скажу этим словом.*

П. А.

Но для чего ты прячешься в тени?
Но для чего не ты, совсем другая
Ждет на углу, других подстерегая,
Но сколько же у нас с тобой родни?

В теснинах переулков нелюдимых
Я столько раз терял и находил их,
Вечерних, черных, одичалых птиц...

Дитя свободы или исчадь ада,
Хоть отзовись и в яви воплотись!
Не знаю только, будешь ли ты рада.

2

Не знаю только, будешь ли ты рада,
Что мы сошлись у городских ворот.
Ведь я актер, бродяга, сумасброд.
Небось тебе скучна моя тирада.

Ты не найдешь ни склада в ней, ни лада!
Ну что ж, прости, набрал воды я в рот.
А может быть, совсем наоборот, —
Тебе нужны сонет или баллада?

Пойми, я столько раз на свете жил
Движеньем крови, напряженьем жил, —
Хватило б на цыгана-конокрада!

Две жизни, целых двадцать или сто...
Как угадать — за это или за то
Возмездье ждет меня? Или награда?

3

Возмездье ждет меня или награда
За множество несовершенных дел?
Я столько в пути не разглядел,
Ни Фив, ни Херсонеса, ни Царьграда.

Ведь человек — двухчастная шарада
Чела и Века. Здесь водораздел, —
Его биографический предел,
Живая или мертвая преграда.

Прощайте же, усопшие! Долой
Из этих строк их ответ нежилой,
Их кости, кольца, кубки и осколки,

Их утвари, их бронза и кремни,
Пусть валяются их фолианты с полки!
Пусть запылают звездные огни!

4

Пусть запылают звездные огни!
Громады солнц, махины мировые,
Для нас одних зажженные впервые,
Предвидят наши судьбы искони,

В години жесточайших тираний
Не спят они, как псы сторожевые,
И, приподняв слепые веки Вя,
Следят за ходом действия они.

Все это злые присказки старушки.
Так сдвинем, Муза, глиняные кружки, —
Хоть добрым словом бабку помяни!

А я недаром к звездам обращаюсь, —
Под звездами с тобою обручаюсь,
Как многие из юных в наши дни.

5

Так многие из юных в наши дни
Уходят в путь без отпуска, без льготы.
Да здравствуют их молодые годы!
Не спорь, не сокрушайся, не кляни,

Что рано в бурю вырвались они:
Им предстоит построить мир свободы
Из голода, из горя и невзгоды,
Из слез и крови, грязи и резни.

Что в мире легкомысленней и чище,
Чем правота их праведности нищей,
Чем этот сумасшедший блеск в глазах!

Вот и взметнулся молнийный зигзаг,
И громовая катится рулада
По площадям Москвы и Петрограда.

6

По площадям Москвы и Ленинграда
Опять плывет сиреневая мгла.
Мы молоды. Нам под ноги легла
Еще одна трибуна иль эстрада.

«Баллада о гвоздях» или «Гренада»
Сердца людские заново прожгла?
Чреда воспоминаний тяжела,
Но вспоминать о молодости надо!

Вот, вот она — пришла, как в первый раз,
Глазастая, в сто сотен ярких глаз,
Гражданка Буря, девочка Мэнада...

Но Музы я еще не назову!
Иная входит Музыка в Москву.
Мы встали в строй рабочего отряда,

7

Мы встали в строй рабочего отряда,
В систему прочно сбитых шестерен.
Здесь голос Музы удесятерен,
И он звучит грозней, чем канонада.

Нет, он звучит нежней, чем серенада...
Нет, слышится в нем карканье ворон...
Нет, нет, — беспечный смех со всех сторон —
Вальс — Лунная соната — Клоунада...

Трехмерный мир Эвклида страшно прост
И просто страшен. Есть четырехмерный!
В нем правит Время, пущенное в рост,

Двадцатый век его союзник верный,
Ему Пикассо и Эйнштейн сродни!
Встань! Нашу песню с нами зятяни!

8

Встань! Нашу песню с нами зятяни!
Меня ты наградила даром слова.
Так излечи от наважденья злого,
Застенчивость мою перечеркни.

Верни сердечный жар. Оборони
От каменного века, от лесного
Желанья жить — и ждать! Стяни мне снова
Кольчуги бранной сбитые ремни!

Позволь мне стать пилотом невесомым
И с ангельским соревноваться сонмом
Хотя бы здесь, на плоскости земной!

Позволь же мне в высоком напряженье
Отправить в дальний путь воображенье,
Свяжи в дороге спутников со мной!

9

Ты спутников связала в цепь со мной.
По-разному прошедшие сквозь время,
Не ждали мы ни орденов, ни премий,
Зато пленялись каждой новизной,

Зато влюблялись каждою весной,
Легко несли сужденное нам бремя
И относились весело к проблеме
«Быть иль не быть» на сцене площадной..

Светлов, Кирсанов, Луговской, Сельвицкий,
Причастные к эпохе исполинской,
Мы возмужали вместе со страной,

Прошли войну и мир, рассвет и полночь
И твердо верили, что ты исполнишь
Все, что сама сулила нам весной!

10

А то, что ты сулила нам весной, —
Сбылось иль не сбылось, уже не помнят
Ни флаги площадей, ни окна комнат,
Ни воздух в окнах, синий и сквозной.

И вот, усыплена голубизной,
Спит наша юность в сборниках двухтомных,
Спит в пиджаках и брюках допотопных,
Спит и не спорит с юностью иной.

Иная юность, выросшая сразу
По зову жизни, а не по приказу,
Без пропусков, вне очереди встав,

Грядет, гудит, грохочет эта смена,
Грядущему диктует свой устав.
Все сбудется и с нею непременно!

11

Все сбудется с поэтом непременно!
Заслужит сто венков и сто обид,
И сам чужую старость оскорбит
Своею правдой жгуче современной,

И вспомнит всех погибших поименно,
И скорбный марш погибшим протрубит,
И, наконец, не сломлен, не разбит
Гнездившейся бок о бок с ним изменой,

Пройдет он дерзко сквозь двадцатый век,
Еще безвестный юный человек,
Чье званье — Рядовой, чье имя — Каждый.

Что ждет его — победа иль беда?
В каких туманах перед ним однажды
Пройдут как сон моря и города?

12

Пройдут как сон моря и города
В сверхсильной нереальной синераме.
Освещены всю ночь прожекторами,
Они к утру исчезнут навсегда.

Машин стада и призраков орда,
Герои в драме и кумиры в храме
Все яростней, и ярче, и упрямей
Свой ужас обнаружат без стыда.

Но гибельность, грозящая планете,
В коротком не вмещается сонете, —
Да я и не об этом говорю!

Стоит на страже Муза неизменно.
И по утрам приветствуют зарю —
Со свитком Клио, в маске Мельпомена!

13

Со свитком Клио, в маске Мельпомена!
Все та же ты, вне моды, вне времен,
Единая под множеством имен,
Подруга русских лириков, Камена!

Зла иль добра, смиренна иль надменна.
Твой ясный лик не стерт, не затемнен.
Ты, может быть, сменила сто знамен, —
Но это только смена, — не измена!

Что ж, я не археолог, не историк.
Мой век педолог, только опыт горек:
Я знал ОТКУДА — отыщу КУДА.

Ничто не пропадет. На каждой тризне
Слагают гимны воскрешенной жизни.
Будь счастлива, Подруга! Будь горда!

14

Будь счастлива, Подруга! Будь горда!
И знай, что это счастье, гордость эта
Есть достоянье твоего поэта,
Есть оправданье моего труда,

А труд не автострада, а СТРАДА,
Не счетчиком исчисленная смета,
Не смиренная планета, а КОМЕТА,
Параболой летящая звезда,

Вот наконец-то и пришло веселье,
Которого не знали мы доселе.
Не только руки — губы протяни!

С декабрьской стужей, с майскою грозой
Вошла в сонет четырнадцатый ЗОЯ,
Вот наконец-то, Муза, мы одни!

ЗОЯ БАЖАНОВА

Поэма

1

Все кончено. Но нет конца — концу,
Нет и начала нашему началу.
Но как тебе сегодня не к лицу,
Что ты вчера навеки замолчала.

Ты, говорунья. Ты, прямая речь.
Ты, праведница в поединке с ложью.
Ты, музыка, не смогшая сберечь
Струн напряженных. Ты, Созданье Божье,
Ты, с детских дней одна и та же. Смех
И — рядом слезы. Честная артистка,
Как пристально смотрела ты на всех,
А с зеркалами не дружила близко,
Ты, жаркий пламень, улетевший ввысь
Так безнадежно, так скоропостижно...

Но подожди. Дай досказать. Явись
Живой, отважной, нежною, подвижной.

Любимая, ты остаешься здесь,
Не расстаешься с жизнью, не уходишь
И этот дом осиротевший весь
Глазами беспокойными обводишь.

Для нас одних такое волшебство
По всем законам жизни существует,
Легчайший ответ света твоего
И над тягчайшим горем торжествует —
В любом быту и на любом мосту
Хоть на лету, сквозь вихревые тучи,

Твой свет, не распыленный в пустоту,
Твой молодой, твой лучший, твой летучий!
И тут же, а не в прошлом — первый час
Присутствует и бесконечно длится,
Тот самый, что, в вагонных окнах мчась,
Снопом лучей ударил в наши лица.
Наш первый час. Как страшно близок он.
В нем тоже ни пачала, ни конца нет.
А может быть, и вправду есть закон,
Что прошлое вновь настоящим станет...

Вагон пссется. Где-нибудь в пути
Мы спутников поздравим с Первым мая.
Все путается в памяти... Прости,
Что я и сам еще не понимаю,
Зачем не спать, куда тревогу деть.
В багряных отблесках, в клокастом дыме
Что загадать, как в окнах разглядеть
Наш дальний путь глазами молодыми...

О чем мы говорим? Да ни о чем...
О том, что, облачной закутан ватой,
Весь город завтра будет завлечен
Игрой актерской, пестрой, диковатой.
О том, что в черных окнах провода
Несут события, новости, известья
Из края в край, оттуда и туда.
А наша мысль несется с ними вместе.
О том, что все неясно впереди
И выяснится, кажется, не скоро...
Нам спать немислимо.

Но погоди!

Таинственные голоса из хора —
Мужской и Женский — вырвались. Их два.
Нет содержания в слитном песнопенье.
Неразличимы русские слова.
Но праздничные гулкие ступени
Нам под ноги легли.

Но каждый миг

Иное разверзается пространство,
Иная ширь морей, времен и книг,
Иная даль твоей дороги страстной.

Так мы пройдем по чуждым городам:
Стокгольм, Берлин, огни рекламных окон...

Настанет день, я молодость отдам
За каждый твой взметенный востром локон,
За каждый взгляд, за каждый взлет руки,
За каждый возглас правды непорочной,
За каждый взрыв назло и вопреки
Всему, что общепринято и прочно,
За удивленье дивное твое,
За сдержанность и за неусдержимость.

И вот уже отстроено жильё.
И слажен быт. И жизнь вдвоем сложилась.

.

Но сроки так сдвигаются в стихах,
Что слишком плотен и бездушен воздух.
Наверно, я слагаю впопыхах
Преданье о твоих погасших звездах.

Наверно, так и надо. Ведь любовь
Диктует безрассудно и жестоко.
Так в телеграфной проволоке столбов
Гудит и стонет напряженье тока.

Так правда на земле измощена
За то, что разделяет боль чужую,
Вся кладбищами загромождена,
Вся в рытвинах, куда ни погляжу я.

Но правда может стать еще лютей,
Безумней, обнаженней, откровенней —
Единственная школа для людей,
Трудящихся в отчаянье и рвенье.

Возлюбленная! Жизнь моя! Жена!
Ты с юных дней была такого склада,
Так слажена, так стройно сложена,
Так лишена сама с собой разлада,

Что в эту ночь у нас обоих есть
Один просвет, глазам открытый настезь:
Все видеть. Все сказать. Все перенести.
А ты во мгле ничем себя не застишь,

Не застишь! Нет. В порыве доброты
Раздвинув черный купол мирозданья,
Одной улыбкой превращаешь ты
В рабочую страду — само страданье.

2

Вспомни, Зоя, начало жизни,
Золотые детские дни
И печальщимся на тризне
Хоть платочком белым взмахни!

Легкий взмах мгновенно доплещет
Белопенным гребнем волна.

.
Что за девочка в доме блещет —
Так послушлива, так вольна.

Зоя, Зоя, росла ты ясно.
Смейся, радуйся, пой, играй!
Всеми сказками опоясан
Твой зеленый и синий рай.

Сколько сказок прочла ты рано!
Братья Гриммы, Пушкин, Перро
Твоей верной встали охраной,
Ткали звездное серебро.

За русалкой Андерсен старый
Сам в окошко дачи стучал.
Жуткий Гофман брэнчал гитарой,
Небылицы плел, не сучал.

Если нравился гимназистам
Твой прелестный робкий огонь,
Комплиментам их неказистым
Отвечала ты: «Только тронь!»

Вырастала с двадцатым веком,
Чуть моложе, но наравне,
Стала девочка — человеком,
Поглядела в глаза войне.

И в года всеобщей разрухи,
Когда жизнь была тяжела,
Подняла ты тонкие руки,
Бедный заработок нашла.

В час нужды — а был он нередок —
У чужих купцов на дому
Наставляла капризных деток
И грамматике и всему...

...Приближались с подступов дальних
Наши завтра, наши года.
В золотых гостиных и спальнях
Жались важные господа.

...Слышишь, милая, гром и гомон,
Первый митинг славной грозы?
А пока тебе незнаком он,
Вот газета, — наши азы.

Ты мала, но вырастешь быстро
На виду у всех, на свету,
Оттого что каждая искра
Устремляется в высоту.

На Поволжье, в голодном мраке,
С матросней дружа у костра,
Ты в холерном будешь бараке
И уборщица и сестра.

На нечаянном перегоне,
В двадцать третьем легком году,
В том летящем сквозь жизнь вагоне,
Знал ли я, что тебя найду?

Наша молодость! Прокричи нам,
Не уваливай, не солги,
По каким ты правилам чинным
Замедляешь свои шаги?

Уже мчатся сюда оттуда
Все курьерские поезда,
Мчится давнее наше чудо,
Наша жизнь — оттуда сюда.

В переулке замоскворецком,
В тот сочельник, в той же ночи,
Оборвутся в порыве резком
Твое ДА и мое МОЛЧИ...

Все, что будет — вплоть до разлуки —
Все сбывается и сбылось —
Слабый стон, усталые руки,
Пенный кипень льняных волос,
Умиление, утомление,
Удивленье юной души,
Ранней-ранью реянье, мленье —
О, не слушай, о, не дыши!..

Будет ночь — короче и краше.
Будет день — длинней и трудней.
Подружится твое бесстрашье
С быстрой сменой ночей и дней.

Сколько в молодости несчастий
И безденежья и тоски
Разрывает сердце на части,
Жизнь разламывает на куски.

Сколько ждать еще двум бездомным
Дней, ночей, и недель, и лет,
По каким окраинам темным
Заметут метели их след...

Но прервутся ночи прогулок
По мостам, по садам дворов.
Здравствуй, Левшинский переулок,
Принимай нас, домашний кров!

В легкой шубке, с пуделем Джином
Ты взлетишь на пятый этаж
И движеньем неустойчивым
Скинешь шубку и мне отдашь.

После утренних репетиций
Зимний вечер не так далек.
Не хозяйкой — сказочной птицей,
С лету бьющейся в потолок,
Оживится наше жилище.
За окном метель.

А пока

Мы богаты юностью пиццей,
Нет ни славы, ни табака.
Только страшная вера в завтра,
В простоту событий простых.
Моя жизнь, позволь, чтобы автор
Прочитал тебе новый стих:

*Я люблю тебя в дальнем вагоне,
В желтом комнатном нимбе огня.
Словно танец и словно погоня,
Ты летишь по ночам сквозь меня...*

Много строк и краше рождается.
Но как в рифмах ни ухитришься,
Ты служанка древних традиций
И скромнейшая из актрис.

И по этой простой причине
Нынче вечером стань другой,
В крепдешине или в овчине,
Стань девчонкой или каргой.

День придет. И черный подрясник
Подчеркнет твой девичий шаг.
Это будет твой первый праздник,
Он не многим актерам дан.
В драме Горького в мрачной сцене
Ты прервешь пустой разговор,
И раздастся в общем смятенье
Высшей мерой твой приговор.
У портала сначала тихо,
Лишь слова раздельно рубя,
— Ты... собака... стерва... волчиха...
Скажет маленькая раба, —

Не артистка, но агитатор,
Не монашенка, весь народ
Сразу вырастет. И театр
На одно мгновенье замрет.
Но, в хлопках отбивая руки,
Разразится блаженный вой,
В горькой радости, в сладкой муке
Дружный вызов Ба-жа-но-вой!

Моя строгая недотрога,
Будешь ты скромна даже здесь.
Еще так далека дорога!
Столько будет новых чудес!

Тут не спешка, одна лишь гонка
Вслед за жизнью и ей в обгон,
В лад ударам сердца как гонга
Мчится дальше дальний вагон.

День придет. Мы в Горький приедем,
В Арзамас, Сергач, Городец.
Всем, что знаем, — не тем, так этим, —
Взбудоражим двадцать сердец.
Это будут славные парни,
Благонравны, как на подбор,
И талантливо благодарны,
Что нужде глядели в упор.
Суждено в театре веселом
Им узнать и славу и труд,
Их маршрут по колхозным селам
Будет ярок, долог и крут.

Да и в жизни скажется нашей
Ранней молодости возврат, —
Долгосрочный постриг монашій
И гражданственность без наград.

Но решенье времени строго,
В нем иной извилистый ход.
Еще так далека дорога,
Так неясен будущий год!

День придет. И в Грузии зпойной
Встретит нас вдохновенный друг
И включит обоих спокойно
В свой домашний избранный круг.
Молодой огонь Тициана,
Его древнее колдовство
Вечной памятью осиянно —
Да святится имя его!

В первый день в компании узкой
Тициан тебя наречет
Белокурою музой русской —
О, не в счет, а только в почет.
В хриплом голосе балагура
Ясен домысел доброты:
— Муза русская белокура! —
Но зачем потупилась ты?
Ведь сейчас же, сама изведав
Стиль застолья взамен меня,
Вознесешь грузинских поэтов,
О стакан стаканом звеня.

...Но внезапно — всегда внезапно —
Налетает в окна гроза.
Будем бодрствовать неослабно,
Поглядим ей прямо в глаза.
Рухнет молния-телеграмма
Сверху вниз зигзагом косым
И в сознание вонзится прямо!
У тебя нет матери, сын,

Еще так далека дорога,
Так мудра и могуча жизнь.
Моя радость, моя тревога,
Будь со мной, не робей, держись!

Будет строк этих продолженье
Бегло, коротко и общо:
Как мое под уклон скольженье
Незаметно тебе еще...

Как с мороза, назло невздадам,
Ковыляя ночью домой,
Назову я Пушкинским годом
Незабытый — тридцать седьмой...

.
Может статься, я не сумею
Вспомнить счет безымянных дроб,
Ради жизни и рядом с нею
Не закончу мартиролог.

Нет ни в чем у жизни возврата,
Передышки нет ни одной.
Ты отца и младшего брата
Похоронил перед войной.

Только чем же мы виноваты,
Что на празднике роковом,
Провожая тридцать девятый,
Встретим полночь в сороковом?

Так сотрется горькая память,
А того, что ушедших нет,
Ни забыть, ни переупрямить
Столько лет, столько зим и лет.

Так когда-то грешный Некрасов
Материнскую смерть постиг,
Своей доли не приукрасив,
Переплавил рыданье в стих.

И побрел от тризны до тризны,
Еле слышно к людям стучась,
Сам себе шептал укоризны
Вековечный **РЫЦАРЬ НА ЧАС.**

3

В июне сорок первого Москва
Глазам своим не верила вначале.
Лишь на бульварах пыльная листва
Прошелестела завтрашней печалью.

И время замедляло свой полет.
Но в страшный день, в пылающем полудне
Жестокий зной сам превратился в лед,
Стал город сумрачней и многолюдней.

Мерещилось предчувствие разлук
На лицах женщин, на цветущих розах.
Мерещился иной — железный — звук
В растущих облаках, в гнетущих грозах.

Шел первый месяц. Таяли фронты.
Прощались мы с друзьями на вокзалах.
Но и тогда еще не знала ты
Утрат грядущих. Да и я не знал их.

Но сразу ты сняла с дверей засов
И сделала гостиницей жилище,
Друзьям служила верно и без слов
И не стыдилась оскудевшей пищи.

Дежурила на крыше ночью той,
Когда стоял Вахтанговский театр,
Как у собора каменный святой,
Как на арене цирка гладиатор.

А завтра телефон забил в набат!
И, страшной правды не расслышав толком,
Мы побежали оба на Арбат
По сонным переулкам, по осколкам
Разбитого стекла...

Так вот она —

Глядит в глаза нам, хрипя, лихая,
Бездушная воздушная война,
Убившая Театр...

И полыхая
Остановилось на короткий миг,
Не дышит время, ничего не слышит,
Лишь ожиданьем душу истомив,
Еще не скоро письма нам напишет.

Однажды в зимний день иль ввечеру
Актеры-горьковчане к нам явились
И приняли как брата и сестру
На пятитонку, на попутный виллис.

Нам многое увидеть довелось, —
Торчащие в снегу печные трубы,
Босые, в мерзлом инее волос,
Солдатские глухонемые трупы...

Ты видела дела фашистских рук,
Уничтоженье по штабному плану —
В следах разгула бедный Бежин Луг,
В следах ожогов Ясную Поляну...

Узнала летчиков, их бивуак,
Короткий сон, короткий сбор на гибель,
Безжалостную точность в их словах
И точный счет — кто налицо, кто выбыл..

И там и тут искала правды ты,
На всех распутьях, в судьбах и бессудьях,
Непобедимость русской правоты
Играла в симоновских «Русских людях».

...Узнав про гибель сына моего,
Тебе я отдал смятый треугольник.

.
Ты встретишь в беспредельности его,
Разговоришь молчанье безглагольных
И озаришь хоть на мгновенье тьму.
И если тьма прислушается немо,
И если можешь — страшную поэму
Вслух прочитаешь сыну моему.

Не думай, Зоя, что я стал отныне
Как факельщик на кляче вороной.
О, нет! Пускай слезливое унынье
Обходит нас обоих стороной.

Мне время диктовало, как бывало,
Железными клещами сердце сжать,
Сквозь тьму, в дыму зловещего обвала
На твой огонь равнение держать.

А если где-то людям станет жутко
В пробелах, в недомолвках, между строк, —
Что ж, правда жизни — не пустая шутка.
ГЛАГОЛ ВРЕМЕН не жалостлив. Он строг.

4

Пронеслись военные годы.
Несся дальше дальний вагон.
Не знавал отпусков и льготы
Твой открытый, легкий огонь.

Ты — учительница простая
Театрального мастерства,
В свою новую роль вставляя,
Оказалась и в ней права:
Не скольжение в учтивом танце,
Не муштра на гладком плацу,
Не блюсти никаких дистанций —
С каждым младшим лицом к лицу!

Боже мой, как ты это знала,
Как ломала руки свои,
Как звала из темного зала:
«Чем попало себя взорви!»
Не сдавалась и добивалась,
Чтобы где-то в конце концов
Устранилась робкая вялость,
Сохранилась дерзость юнцов.

А в конце концов — сколько траты
Нервной силы, как труд велик...
Но пределом твоей отрады
Был ТРАГЕДИИ грозный лик.

Ничего нет острее и строже,
Чем на меди тонкой чекан.
Ничего трудней и дороже,
Чем служенье ученикам.
Нет отчаянней, нет опасней,
Нет светлее света того!

Говорят, что искусство — басня,
Балаган или баловство,
Балагурство или рулетка:
— Ставь медяк, а червонец грабь! —
Нет, искусство — тесная клетка,
В ней пожизненно стонет раб.

Гимназисткою иль пьянисткой,
Иль артисткой, — но ты росла,
Все равно, высоко иль низко.
Твоим обликам нет числа!

И опять являлись пристрастья,
Мнимо стольких скользья певзгод,
Ты молила их: — Разукрасьте
Иль разрушьте мой новый год!

Самодержица и владыка
Прямо в руки шедших даров,
Ты сначала робко и дико
Украшала домашний кров,
В подмосковной нашей природе
Молодевшая, а скорей
Чародейка лесная вроде
Древних северных кустарей.

В грудь земли кривой можжевельник
Врос корнями не для того,
Чтобы трубку сосал бездельник,
А для замысла твоего.
Для тебя лесные деревья
Изгибались, кверху ветвьась.
Так заметила вся деревня
Меж тобой и деревом связь.
Так рождалась новая Зоя,
Неожиданно, как всегда,
В изнуренье летнего зноя,
В счастье редкостного труда,
Шла по дебрям и перелескам,
Лишь бы чей-то глаз подстеречь,
С первобытным дикарским блеском
Немоту превращала в речь.

Боснком, в истрепанном платье
В прелых листьях, в ненастной мгле
Ты отыскивала распяты
Или ведьму на помеле.
Стерегла в наростах березы,
В горбылях древесных грибов
Две гляделки, скупые слезы
И морщины скошенных лбов.

Появлялись в доме фигуры,
Как псадья лесной весны.
Из древесной корявой шкуры
Ты выпрастывала их сны
И сдвигала века, припугав
В них охотки сказок и вер.
...Злился Леший... От лилипутов
Не предвидел зла Гулливер...
Отражался в зеркале Пращур,
За меньшей держался народ,
Из пещеры око тарачил
И беззубый ощерил рот...
Свистопляской ведьм окруженный,
Честь и совесть Макбет отверг...
Ясень, молнией обожженный,
Вскинул сильные руки вверх...
В том же древнем лесу дремучем,
Той же древней как мир весной
Странной страстью к ребенку мучим,
Сумасбродствовал Царь Лесной...
Актеон, Альциона, Дафна, —
Твои замыслы, твоя боль...

Это сделано так недавно,
А сегодня стало ТОБОЙ.

Да, сегодня Тобою стало!
И припомнил поэт-старик
То, что в юности отблистало,
ТОЙ ТРАГЕДИИ грозный лик, —

Это мчанье сквозь жизнь вагона,
Предназначенного судьбой.
Это в буре волос Горгона,
Не оконченшая тобой...

Выбрав рашпиль или стамеску,
Ты работала, пела, жгла
День за днем... И словно в отместку
Где-то рядом клубилась мгла.

Но когда, когда, о когда же
Обозначилась эта тень,
Притаившаяся на страже
И крадущаяся вдоль стен?

Не скучала ты, не молчала...
Но сквозь время или в обгон —
Тот же самый, что был сначала,
Вдруг застопорил наш вагон.

5

Орфей привел на землю Эвридику,
Но не стерпел и посмотрел назад.
Он различил одну лишь невидимку,
Чьи ножки мимо времени скользят.

Он встретил только взгляд потусторонний,
Внутрь обращенный, тусклый как свинец,
Услышал только карканье воронье
Да вопли женщин, стихших под конец.

И заметалась в нем и зашаталась
Загадочная для любых врачей
Такая stoveковая усталость,
Что только странствуй, нищий и ничей.

С кривых путей, из гнилостных харчевен
Он сманивал пьянчужек за собой,
Пел и плясал... А сам был так плачевен,
Что вечен стал их временный запой.

И с той поры бывалого союза
Он с гражданами больше не искал...
История, как мать его и муза,
Вела Орфея от фракийских скал.

История ждала и не стремилась
Орфею смертный кубок подносить.
И вслед ему, как приговор и милость,
Все гуще разрасталась волчья сыть.

Ты столько раз припоминала это
И не грустила. Ты была права.
Ты знала, что у каждого поэта
Свои разрыв-трава и трын-трава.

Так и случилось. Не смогла проститься,
Назад не обернулась на лету,
Ушла из глаз и упорхнула птица
В свою сверкающую высоту...

Я должен в стуже, все еще не стихшей,
Твое благоволение обрести,
Я должен в каждом из четверостиший
Хоть волком выть: «Прости-прощай... Прости».

Хоть волком выть? О, нет! Как можно тише,
Как можно глуше. Не дышать почти.
Но в памяти — затмение ты простишь ей —
С тобой в далеком встретиться пути...

А время не щадит и не врачует
Увечных душ, да и не сушит слез,
Но все, что суждено, — задолго чует,
И все, что должно, — делает всерьез.

6

...День последний, день беспощадный
Был тридцатого декабря,
Его свечка таяла чадно,
Не светясь, но еще горя,

И тянул он, — тянул, как тянет
Христа ради нищий во мглу,
Нас клянет, а в глаза не глянет
И отстанет сам на углу...

Потрудились врачи усердно,
С ними сестры и фельдшера.
Как ждала ты их в муке смертной,
Как не верила им вчера,
Как меня гнала непрестанно,
Как на помощь звала чужих...

.
Я на вечную вахту встану,
Где жив, — я остался жив.
Жив-здоров, — даже с той секунды,
Когда твой опускали гроб,
А за гробом рушился скудный
В рыжей глине рыхлый сугроб.

Жив-здоров — до седьмого пота,
До последнего дня в пути.
Мне осталась одна забота —
Скорбный памятник возвести.

Что ты прячешь на самом дне,
Мой двужильный и жалкий мозг?
Ожиданье. Столбняк родни.
Безнадежного лифта лязг.
Коридор больницы пустой
Да носилки там, на полу,
Когда выше пернатых стай
Моя Милая уплыла...

За чертой зачеркнутых строк,
В серой обыкновенности,
Что скрывается? Только страх.
Страх, что правды не вынести.
Ип сейчас, ни в новом году
Не сулит ничто перемен,
И останется Ни-ког-да
До скончанья земных времен.

...Из того, что решалось ночью,
Не кривая кардиограммы,
А кривая кривда росла,
А за нею шли многоточья,
Шли на слом театры и храмы
Вне пространства и без числа...

Да и в будущем ничего нет.
Только врытый в землю гранит.
Только Зоя меня не гонит,
От могилы не отстранит,
Не смеется Зоя, не стонет,
Навсегда молчанье хранит.

Зоя, Зоя, ты так близка мне,
Так близка мне в такой дали!
Я твой облик вижу на камне,
Врытом в толщ могильной земли.

Так и будет — трижды, семьжды
В черный камень башкой стучась,
Твердо верую — осенишь ты
Звездным светом мой смертный час.

В память стольких наших свиданий
И всего, что решалось в них,
Моя радость в дороге дальней,
Твой вдовец, твой муж и жених,
Твой поклонник и современник,
Никогда, ничего, ничем
Не отменит, не переменит,
Только глухо спросит: «Зачем...»

Зоя, Зоя, зачем так поздно
Выхожу я на смертный бой,
Так не узнаю, так не опознаю,
Так давно ПРЕДСКАЗАН тобой!

7

Поэзия! Я лгать тебе не вправе
И не хочу. Ты это знаешь?

— ДА. —

Пускай же в прочно кованной оправе
Ничто, ничто не сгинет без следа, —
Ни действенный глагол, ни междометье,
Ни беглый стих, ни карандашный штрих,
Едва заметный в явственной примете,
Ни скрытый отклик, ни открытый крик.

1969 - 1970

Ямщик лихой, седое Время
Везет, не слезет с облучка,

Пушкин

ПОСЛЕ ПОЭМЫ

1

Здесь конец. Ничего другого,
Только твой последний приют.
Здесь раздастся веселый говор,
Про тебя другие споют.

Погрустят, наверно. А впрочем,
Не к лицу грустить молодым.
Здесь один только чист и прочен
Синий-синий как время дым.

Да и тот растает мгновенно.
Все пройдет. Все прошло навек.
Незабвенная, ты забвенна,
Оттого что ты человек.

И с приходом весны так ясно,
До соленой рези в глазах,
Что и память гибнет бессвязно,
Недовспомнив, недосказав, —

Искалечена и забита
Чернотой помарок густых.
И горчайшая в том обида,
Что слагается бедный стих.

Стих слагается и впадает
В тот же омут стих за стихом.
И на кладбище оседает
За решеткой могильный холм.

Где твой смех? Где воздух, которым
Надышаться ты не могла?
По каким пустым коридорам
За тобою тянется мгла?

Ни начала нет, ни причины
На пути последнем твоём.
Бесконечность твоей кончины
Остается со мной вдвоём.

2

О нет! Все хуже, глуше, безысходней.
Нет никаких Вчера. Прошло Сегодня.
Не будет Завтра. Нет огня в пути.
Ты слышишь?

— Нет не слышу.

Где ты?

— Где-то,

В сыпучий снег, в сквозной туман одета,
Должна молчать. Прости. Прощай, Прости.

Но как же о тебе могу забыть я,
Когда все дни и ночи, все события
Глядят, глядят, глядят в твои глаза!
Ты, Молодость, что вечно молодела,
Любила и страдала без предела,
Очнись, опомнись, оглянись!

— Нельзя.

3

Но услышал я твой ответ:
— Я тебя еще не покинула,
Оттого что я только Свет,
Только Жизнь, Остальное сгнуло.

Да и ты ничей, только мой.
Раскрывайтесь же настежь, комнаты!
К вам хозяйка пришла домой,
Для меня все двери отомкнуты.

Тут и платья мои висят,
Не срываются на пол с вешалок,
За окном зеленеет сад.
И с начала мая утешило

Меня солнышко. И с утра
Брезжит в окнах раннее реянье.
И не плачет Леля, сестра.
И ты пишешь стихотворение,

Как писал его сотни лет —
О душе моей, о любви моей...
Нам с тобой разлученья нет.
Ну так примем непоправимое!

Не жалею ни сердца, ни рук,
Наше вечное дело делаю.
...Вот и все, мой несчастный друг,
Что тебе напомнить хотела я,

4

Прости за то, что я так стар,
Так нищ, и одичал, и сгорблен,
И все же выдержал удар
И не задохся в душной скорби.

Прости за то, что не могу
Опять с тобой соединиться,
Что вечно бодрствует в мозгу
Седая зимняя денница,

Что труд мой спорится опять,
А жизнь, владычица лихая,
Не отступает ни на пядь,
Огнем жестоким полыхая.

Прости за тщетное «прости»,
Оставшееся без ответа
На том пределе, в том пути,
Где нет ни воздуха, ни света,

5

Где Золушка, где Золото-Зарница.
 Где Озорница-Выдумщица, ты?
 Зачем же ты не хочешь мне присниться
 Хоть раз в обвалах глухонемоты?

Лишь изредка ты туфельку ропаешь,
 На беглой жизни оставляешь след,
 Но памяти о том не сохраняешь
 Ты, Золушка, ты, Золото, ты, Свет.

6

Я был от тебя зависим,
 От песен твоих и писем.
 Я был с тобой связан вечно,
 С безудержной и беспечной,
 Как стрелка магнита с нордом —
 Семь струн гитары с аккордом.

А ты — кем была ты, Чудо,
 Пришедшее шпоткуда,
 Расцветшее на мгновенье,
 Сегодня — самозабвенье,
 А завтра — самосожженье...
 Что гибельней, что блаженней?

А ты — кем была ты, Зоя,
 В дыханье стужы и зноя,
 В летящем сквозь жизнь вагоне,
 Ты, музыка, ты, погоня, —
 В снопах огня городского,
 На гальке пляжа морского...

В отцовском доме, на сцене, —
 Где лучше, где драгоценней,
 Где ближе ко мне, где краше,
 Вся искренность, вся бесстрашие,
 В двадцатом жившая веке,
 Навек смежившая веки.

Боже мой, отчего я помню
Только первую нашу ночь?
Только это вспомнить легко мне,
Да ничем уже не помочь.

Не стирается и горит там,
В беспощадно ясном мозгу —
Твой отчаянный, легкий ритм,
Я прервать его не могу.

И такая даль между этим
И сегодняшним — без конца.
И ничем посторонним третьим
Не затмить твоего лица.

Но сказать, что оно прелестно, —
Не сказать еще ничего.
Не в одной природе телесной
Твое женское существо.

Это Женственность, для которой
В безграничности нет границ.
Будет день — о, наверно скоро, —
Пред тобой упаду я ниц,

Вниз лицом на могилу жизни
Пред Возлюбленной Молодой.
Только дай мне знак! Только брызги
Не живой, так мертвой водой!

Ровно год назад ее везли
Сестры и врачи в машине черной.
На снегах декабрьской земли
Краткий путь был накрест перечеркнут.

Ровно год назад, под Новый год
Добрая, измученная участь
Под стенанья лютых непогод
Вспыхнула, как искра улетучась.

Ровно год назад... А что с тех пор
Нового произошло на свете?
Чей окончен, чей не кончен спор?
Чья на очереди жизнь? — Ответьте,

Вы, календари, вы, словари,
Ты, астроном, сторож небосклона,
Со звездой моей поговори,
Только ради бога благосклонно!

Только ради бога никогда,
Слышишь, никогда не разлучай нас.
Вот она, горит моя звезда, —
Вся Неосторожность, вся Случайность!

Этих черных строк я не сотру.
И пускай гуляет наша тризна
На пиру вселенной, на ветру,
Где никто не гость, никто не признан.

9

Знаешь ты, что такое
Жизни твоей крушенье?
Нет мне больше покоя,
Нет ни в чем разрешенья.

Есть открытость сквозная
С полночи вплоть до полдня.
Знаешь ты это?

— ЗНАЮ.

Помнишь об этом?

— ПОМНЮ.

Нет конца. Нет начала.
Мир мой без вести выбыл.
Что же ты замолчала?
— ЭТО НЕ Я, А ГИБЕЛЬ.

Март—декабрь 1969 г.

ЗЕМЛЯ

Земля, земля. Песчинка в мирозданье.
Зачеркнутых черновиков чертог.
Горящие стропила созиданья.
Здесь ничему не подведен итог.

Все движется на сумасшедшем шаре.
Все кружится и смотрит вверх кружась.
А наверху созвездья не сплоспали,
Синкопами раскалывают джаз.

Как там голо, как мертвенно и немо,
Зато у нас совсем наоборот:
Тускнеет бронза, движется поэма,
Гудит машина, зреет огород.

Здесь многое случается в мгновенье,
Пока снаряд не вымахнет праща,
Пока влюбленные в самозабвенье
Не задохнутся: «О, прости-прощай...»

Здесь многое еще должно случиться,
Что мы своею кровью обогрим.
Пусть же кормит мудрая волчица
Двух мальчиков! Они построят Рим.

Земля, об их бессмертье не заботясь,
Вновь расплодит и агнцев и волчат —
И справедливейшая из гипотез
Сгорит как пакля и оставит чад.

Она еще кому-то не доснится.
Жди срока, Ньютон! Потерпи, Эйнштейн!
Пока гигант отчаянной десницей
Разворошит как надо россыпь тайн

И вырвет из горящих космогоний
Затертый след рождений, свадеб, тризн,
Достаточный для завтрашней погони
Сквозь гибель — в нескончаемую жизнь!

В КОРОБКЕ ЧЕРЕПНОЙ

Я здесь живу — в чужом опасном времени,
На острове, за океаном чуждым,
Отравленный тупыми подозрениями,
Прислушиваюсь к чьим-то смутным нуждам.

Но я лечу еще или ползу еще!
Вот дом. Вот сад. Вот небосвод весенний —
В коробке черепной, преобразующей
Всю эту землю без землетрясений.

Она полным-полна такими лицами,
Такими певческими голосами,
Такими сбыточными небылицами,
Что без меня просуществуют сами, —

Вселенную построят, как им хочется,
И никого из ближних не замучат,
И вместо премии за это зодчество
В наследство — отчество мое получат.

ПЕТЕРБУРЖЕЦ НАЧАЛА ВЕКА

Грязным фельдшером в грязном морге
Ты разъят на кости и нервы.
Я селюсь у тебя в каморке,
Не последний жилец, не первый.
Черный смокинг и гимнастерка,
Все, что было, срок отслужило.
Да и в книге домовой стерто
Имя-отчество старожила.

Если веру дать кривотолкам,
То скрывается от погони
Твой двойник в унижение долгом.
Он в Шанхае или в Сайгоне
Признается не тем, так этим,
Что от голода и со скуки
Эмигрировал в двадцать третьем
И женился на потаскухе
Петербуржец начала века!

Все неправда! Ты встретил гибель
Под блокадною канонадой,
Безнадежно без вести выбыл,
Отработал конец как надо.
Сколько рукописей осталось
Неразобранных, недочтенных.
Как смертельна твоя усталость,
Как пленительна для девчонок!

Век кончается. Чур, вниманье!
Из захламленных выйдем компат.
Эти набережные в тумане
Твою тень на граните помнят.

Ты опять выходишь на Невский
Со своей подружкой глазастой.
И как будто сам Достоевский
Говорит: — Сновиденье, здравствуй,
Петербуржец начала века!

На сухой гуаши плаката,
Сквозь глазницы кирпичных брешей,
Рдеет кровь твоего заката,
Твой талант, еще не воскресший.
Распахни же под ветром ворот,
Позабудь, как бывал истаскан!
Про тебя мне сказочный город
Рассказал правдивую сказку.

На Васильевском с Голодая
Беспричинно ветер крепчает,
И отчаяваясь и рыдая,
Он твою подружку встречает.
Вот оно, твое воплощенье
И твоя последняя вежа,
Рядовой боец ополченья,
Ленинградец начала века!

КОЛЫБЕЛЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Ингерманландия! Ингвар-Игорь
Дал тебе имя, край непочатый.
Рдели костры русалочьих игор.
Суженым пели злые девчата.
Новгород вольный вобрал в пятину
Сотню замшелых финских избенок.
Ильменский струг, увязая в тину,
Вынес к морю гребцов забубенных.

Зорко высмотрел царь московитов
В кипени пенной чертеж столицы,
Преображенцам по чарке выдав,
Пил из ведра и плел небылицы.
Преображенный в пушечных шквалах,
Изображенный в хвалебных одах,
Знал он размах страстей небывалых,
Гошку, оторопь, — только не отдых.

В бурный разгар молодого действия,
В мглистый туман рассветов бесплотных
К будущим верфям, в Адмиралтейство
Шел смолокур и кузнец и плотник.
Так поднялся державный хозяин,
Вздыбил копя и дальше понесся,
В стих воплощен, на века изваян,
Медный Всадник, не знающий сноса.

Вышла империя как на сцену
В блеске триумфов и фейерверков,
Фрахтам своим заломила цену,
Карты морских держав исковеркав.

И застрочил в любом из присутствий
Червь-регистратор пером гусиным,
Вырос в подлости и распутстве
Обыкновенным сукиным сыном.

Но по-иному, в ином ученье
Взрослыми стали внуки Петровы,
Были, как знак их предназначенья,
Алый рассвет и закат багровый.
Знали, что жить им одна секунда,
Сдавленной глоткой воздух глотая, —
Пять героев декабрьского бунта,
Пять неотпетых на Голодае.

В каторжных муках снова и снова
Искра, что выбило их кресало,
Преображалась в жаркое слово,
Меркла в подполье, но воскресала.
И в миллионной, — нет, в миллиардной! —
Жизни, родящей самозабвенно,
Стала та искра Звездой Полярной,
Нашей Пятиконечной Военной.

Мчитесь же, дни и ночи, неситесь
Мимо династий, мимо ненастий,
Жарким людским трудом не насытятся,
Правьте штурвал и крепите снасти,
Пойте грозную песню о хлебе,
Стройте дворцы для чужого пира,
Стройте в столице великолепье,
Прихоть барокко, строгость ампира!

Сколько лиц в исторической драме, —
Русский поэт обо всех напишет.
Завтра... Но Завтра не за горами.
Время летит и пламенем пышет.
Время летит и будущим дышит.
Ждут агитатора в каждой роте.
Русский поэт в то утро услышит
О социальном перевороте.

Шагом державным войдут Двенадцать
Красногвардейцев в сердце поэта,
С юностью вашей соединятся, —
Не позабудьте, граждане, это!
Не позабудьте на космодромах,
В ваших обсерваториях новых —
О ранних зорях, о майских громах,
Об изначальных ваших основах!

В страшные годы страды блокадной
Не позабудьте, не обессудьте
Той белой ночи, той беззакатной,
Той беспредельной весенней сути!
Дети ваши растут в Ленинграде.
Деды навеки спят в Петербурге.
Помните их милосердья ради
Вы, музыканты, вы, металлурги!

СОНЕЧКА МАРМЕЛАДОВА

Из Саввиной

Санкт-петербургская девица
Отъявленного поведенья
Должна была в театр явиться
Через сто лет, со дна паденья, —

Под пьяный гомон, гам и гик,
Под вопли низменных клевет, —
Для зрителей, для всех других
Сама в себе — ярчайший свет,

Она как в храм пришла на сцену,
К высокой роли не готовясь,
Чтобы свою назначить цену
На Достоевского, на совесть.

Должна была опять расти
И выросла до самых звезд.

Чтобы другой рыдал «прости!»
Через сто лет, за сотню верст,

СМУТА

Колеблются весы державы.
На сучьях тысячи развешаны.
Взор Грозного зелено-ржавый
Из-под земли сверкает, бешеный.

Безмозглы и жестокосерды,
Дьяки строчат кривые кляузы.
Поют калики, воют смерды
От стен Кремля до устья Яузы.

Боярство, Грозным не добито,
Наушничает старцу Пимену,
Какая жжет его обида,
Не разберешь, какая именно.

Меж тем царевич убиенный,
Меньшой сынок Иван Васильича,
Восстал из огненной геенны,
Такая в нем разыграла силища.

Лихой, охальный, хилый, хитрый,
Монастыря послушник Чудова,
А кто ж он, Гришка или Дмитрий,
Решил помалкивать покудова.

Не дремлет время, чувствует время, —
Из келейки, крестьясь неистово,
Сбежал мертвец и — ногу в стремя,
Сбил сторожей, зарезал пристава...

А там Литва. А дальше ляхи
Кричат vivat, медами потчуют,
Расстригу спрятали от плахи,
Сулят ему корону отчую.

Летят полки казачьи с Дона.
В самборском замке, в спальне девичьей,
Лукавит римская Мадонна
С Мариной Мнишек о царевиче.

Пшепрашем, пани, в путь-дорогу!
Ксендзы поют. Мазурка крутится.
Кто знает, к трону аль к острогу, —
Туман, ненастье, ночь, распутица...

Горит свеча в окне Марины.
Не сбито пламя, не потушено.
От смертной свадьбы, от перины —
Беги! Рукой подать до Тушина.

Не знает женщина, что краше,
Разбойный стан или Туретчина.
В почете удаль и бесстрашье.
По всей земле змеится трещина.

Вор Тушинский иль царь Василий,
Кто перетянет, кто осмелится?
Какой Москва поверит спле,
Чей плевел перемелет мельница?

Василий Шуйский мил боярам.
Последыш Рюрикова семени.
Хитер старик, да в страхе яром
Подавлен всеми потрясенями.

В Москве гуляет голь лихая.
Под Тулой держит рать Болотников.
Василий, набожно вздыхая,
Скликает палачей и плотников.

Семь плах сколочено на Лобном.
В ночи гудит набатом звонница.
Царь с патриархом преподобным
Жжет свечи и в Кремле хоронится.

К заутрене или к вечерне,
А все одна погода мгlistая.
Все неуцербней, неисчерпней,
Вор Тушинский не сгинул, выстоял.

Из черных волн Оки и Волги
Глядят очами непотухшими
И агнцы кроткие и волки —
Те, что недавно были душами.

В чумные ямы на погосте
Вповалку свалено полгорода.
Меж тем играет время в кости.
Полнеба молниями вспорото!

А за Днепром у Сигизмунда
Совет с панами сановитыми,
Минуты ждут, гадают смутно,
Как породниться с московитами...

А за морем, в столице шведов,
Ждет Карл Одиннадцатый случая,
Чтоб, обстоятельства разведав,
Полки на Ильмень двинуть лучшие...

А из-за Камы, из-за мыса,
За соснами да за излуками
Мордва глядит и Черемиса
Нацелилась, играет луками...

Всех Рюриковичей прикончив,
Грядущее огнем охвачено,
Да приговор его уклончив:
Все дескать временно, все начерно...

Колеблются весы державы.
Насторожились Ваньки Каины.
Взор Грозного зелено-ржавый
Еще сверкает нераскаянный.

Земную толщ подпер плечами,
Дохнул бы, но в могилу валится.
Ему бы рядом с палачами
Побаловаться, побахвалиться, —

На горб взвалить былое бремя,
Держать бразды в руке обугленной,
Чтобы назад катилось время, —
Какое время зря погублено!

А времени давно не спится,
Летит или ползет, но движется.
А в келейке у летописца
На семь замков замкнута книжица.

Не шутит время и не судит
Ни самого себя, ни Грозного.
Догадывается, что будет
Историками СМУТНЫМ прозвано,

МОЩИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Поэма

Не поймешь, на прибыль иль на гибель,
Нарочный в ненастной полунощи
Во Владимир что на Клязьме прибыл,
Объявляет: — Пресвятые мощи
Александра Невского доставить
К устью невоскому, в престольный Питер.
Поспешайте, — не одна верста ведь!

Лысину Преосвященный вытер:
— Царь поминки пращуру справляет
К украшенью новой Невской лавры,
Стало быть, нам милость изъявляет.
Бейте же в кимвалы и литавры!
Привалило счастье наше ныне,
Где и в чем такое мы отыщем?
К бесу вопли, к нехристям унынье!
Счету нет казенным царским тыщам.
Мы уважим царское кумпанство.
Братие, наказ мой подкрепите!
Учним на весь Владимир пьянство, —
На Руси веселие есть пíti.
Буду вашим кравчим-виночерпьем
Александру Невскому в угоду.
Все за стол, за бражку! Перетерпим
В оно время стужу-непогоду!

Тут Преосвященный молвил строго:
— Снаряжай, игуменья, в дорогу
Юных клирошаночек поглаже,
Приодень-ка их и подрумянь-ка!
Здравствуй, Настенька! Здорово, Глаша!
На подводу, Фенька! Выйди, Манька!

Так сказал Преосвященный мудро,
Не скупился старый хрен на ласку.
И в седое пасмурное утро
Сел он рядом с Настенькой в коляску,
На плечи ее тулуп накинул.

И обоз многолошадный двинул
Под раскаты звонов колокольных.
Не на час, на целый день Владимир
Шел за ним до выселков окольных,
Запер лавки, опустел как вымер.

У Златых ворот заминка вышла.
Встали кони. Застревали дышла,
Как ни бились, в арке Златовратной.
Осади, сворачивай обратно!
Рыли рвы окопные на Клязьме,
Ровно месяц в бездорожье вязли.

Тронулись и — с богом! Шли навстречу
Прясла и скворешни, ржи и гречи,
Яровые, ярмарки, яруги...
Ржали кони. Лопались подпруги.
В бубенцах вызванивали дуги.
Был Преосвященный в добром духе,
Холил Настю, трясся от натуги,
Лиловел от браги-медовухи.

Время шло и шло. И незаметно
Отощал мешок с деньгою медной.
Но Преосвященный был не очень
Недостачей в гривнах озабочен,
Знал он счет своей обильной трате
И сказал небрежно: — Брат Панкратий,
Ты хитер, хотя и молодец.
Отправляйся в Питер, выручай нас,
Хлопочи насчет казенных денег.
Не поможет бог, так чрезвычайность.

Взял харчей Панкратий, влез на клячу.
Мыслит: «И подохну, не заплачу!»
Затрусил по хлябям и ухабам,
Ухмыляется охальник бабам,

В Лихославле весь простыл. В Любани
Сутки парился в мужицкой бане.

Огляделся, — вот и Питер-диво!
Перед ним прямая перспектива.
Глаз ее зорчайший не охватит.
Мореходы буйствуют лихне.
Ветер матершину так и катит.
А вдали — морская Синь-Стихия.

Чужестранный шкипер трубку выбил,
Мощно гаркнул шкипер высоченный:
— Ты отколе к нам, монашек, прибыл?
— Шлет меня отец Преосвященный
По нужде великой за депьгами.
— Не плошай! Аз есмь монарх Российский. —
И продолжил в грохоте и гаме:
— Коль отвык от маменькиной сиськи,
Водку пей, монах, валяй!
Разберемся. Но допрежь
Перед нами не виляй,
Ты нам правду-матку режь!
Докладай свою нужду,
Нашей милости не трусь, —
Только быстро! Я не жду.
Ждет меня в работе Русь.

Эй, мин херц Шафиров-жид!
Из казны моей пять тыщ
Дать монахам надлежит.
Император твой не пищ.
Ты финанс, по не кощей.
Наша лавра без мощей,
Что бордель без девки красной. —
Отвечал Шафиров: — Ясно!

Вывел он монаха из хоромин,
На ухо шепнул, зловец и скромн:
— Попролам? Сойдемся? — Зря ты мучишь! —
Отвечал Панкратий. — Шиш получишь, —
Сторговались не легко, не быстро,
Дела государственного ради:
Три пошло монахам, две министру.

В путь обратный двинулся Паукратий.
Ищет-рыщет, шибко беспокоясь,
Где пронал преосвященный поезд.
У дощатой пристани Шелони
Прикорнул на травянистом склоне.
А над ним порхают птахи, свищут,
Под лежачим хлебных крошек ищут.
На скуфейку прыгнул бодрый птеник.

Между тем слышался бубенчик.
Конь заржал. Ямщик запел. Колеса
Завизжали галькою у плеса.
Боже правый! Вид ужасный! Вот он —
Пастырь православный, весь обглодан
До изнеможения и схимы.
Знак дает ручонками сухими,
Что намерен здесь остановиться...
Анастасья, дерзкая девица,
Спрыгнула с коляски, тараторит,
Стелет скатерть, расставляет сласти.

Впрочем, умолкает здесь историк,
Слово он предоставляет Насте:

Ах, страшное нам горе
Выпало в ненастье!
У Валдая, что на взгорье, —
Всхлипывает Настя, —
Мы до смерти испужались,
Понесли нас кони.
Ямщики все разбежались,
Впали в беззаконье.
Тут Преосвященный выпал
Из коляски в реку,
Плыть не плыл и еле выполз
Яко змий ко берегу...

Тут заголосила Настя, что есть мочи,
С воплем Настя на землю упала:
— Потонули в речке князьки мощи.
Нет костей во гробе. Все пропало... —
И поникла Настя, приуныла,

— Зря ты все, дуреха, сочинила!
Не было того, — сказал Панкратий, —
Помогн нам сила пресвятая!
Я видал, как ангельские рати
Взяли мощи, крыльями блистая,
И благим соизволеньем божьим
К небу вознесли их безусловно.
Так о том и в Питере доложим,

То же самое сказал дословно
И Пресвященному Панкратий,
И другим священникам, и прочим
Из меньших, но благоверных братий.
(Кое-кто смеялся, между прочим.)

Сквозь туманы, сквозь дожди косые
Слышен орлий клетот над Россией.
Высоко парит орел двуглавый.
У речных излук, в прогалах сосен
Не скрипят мосты, не гнутся лавы.
Хлещет сильный ветер. Блещет просинь.

Дым в палатах. Оплывают свечи.
На плечах Петра кожух овечий.
На монахов бешено он зыркнул,
Дернул скулами, в усища фыркнул:
— Опоздала, шатия монашья,
Не любезна вам держава наша?
Все выкладывайте! Или проще —
С гроба крышку прочь! Вскрывайте мощи!
.

— Стервецы! В трухлявых досках этих
Нет как нет мощей? Один скелетик
Мыши полевой? —

И снова дико
Дергается личиком владыка,
Всех сверлит глазищами. И — хватъ
За бороду старца:

— Не вскрывать
Пакостных мощей! Такой позор
Втайне да пребудет! —

Мечет взор
Молнии, Рука Петра тверда,

Выдрана у старца борода.
Петр в железной сжал ее горсти.
— Ну, старик, теперь меня прости!
Чтобы оторопь не проняла,
Пей из кубка Нашего Орла.

И сквозь зубы еле слышно, кротко:
— Хватит с тебя таски. Будут ласки.
Отрастишь себе, козел, бородку.
Лишь бы сраму не было огласки!
Оным смрадом рук не опоганю,

Под конец воскликнул император:
— Строю не в площадном балагане.
Служба государству есть ФЕАТР!

.

В лютом ноябре того же года
Петр, шальное сердце раззадоря,
Встретил, как бывало, непогоду,
Но не вышел на седое взморье,
Низко треуголку нахлобучил,
Шарфом шерстяным закутал горло,
Ибо шторм взмутил Неву и взбучил,
И вода владычество простерла
На растущий город.
Плыли будки,
Бочки, бревна, бабы, и всплывали
И тонули.
Миновали сутки.
Посерело пасмурное утро.
То на пенном гребне, то в провале
Кипени метался ботик утлый,
Накреньясь под парусом косматым.
Шкипер Петр, ворочая кормило,
Громогласно крыл крепчайшим матом
Балтику, которая громгла
Рук его державное деянье,
Крыл гребцов, от страха полумертвых,
Выстоял один, как изваянье
В задубелых ледяных ботфортах,

На берег сошел и, стукнув тростью,
Лекарям сказал: — Отстаньте, бросьте! —
А когда явился благочинный,
Огрызнулся: — Жди моей кончины! —

Но, простынув, каркал по-вороньи
И серчал пятидестидвухлетний,
Что не презентабелен на троне,
И лечился чаркой не последней.

Отдышался, жарко обнял Катю,
Душеньку-царицу, и, ликуя,
Что не оробел на перекате
Меж болтанкой рвотною и смертью,
Высказал сентенцию такую:

— Вы меня на свой канон не мерьте,
Чернорижцы, червяки и черти!
Мне мощей не надо. Не святой я.
Выстою свой срок. А там посмотрим!
Может быть, я и подохну стоя,
Но прикинусь для порядка бодрым
В совершенном самообладанье.

Под конец воскликнул император:
— Строю не в площадном балагане.
Служба государству есть ФЕАТР.
Вся музыка наша в урагане,
В сокрушенье вражеских эскадр!

КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

Поэма

Ии Саввиной

Сказка бродит по всей нашей истории.
Ключевский

1

Из Рагузы в Ливорно кораблик бежит.
В настроенье предерзостном, с умыслом твердым
Граф Орлов на борту, как ему надлежит,
Усмехается, шпагою бьет по ботфортам.

Вот задача! Удастся ль ему замапить
В золоченую клетку живую жар-птицу,
Обнаружить, где слабо натянута нить,
И жестокой рукой за нее ухватиться?

Что за тварь! Сколько масок, имен, титулов
У Азовской княжны, у принцессы Кавказской...
Берегись, Алексей-свет-Григорьич Орлов,
Не сплошай, не прельщайся арабской сказкой!

Если, скажем, в чаду любово-страстных утех
Государыня матушка Елизавета
От иных фаворитов, от этих иль тех
Нажила дочерей, не сжила их со света,

Если это воистину внучка Петра
Разыскала связных, с Пугачевым списалась, —
Что ж, монархиня наша изрядно хитра,
От каких пугачей на веку не спасалась!

Что бы ни было, выдержит, выдюжит граф!
Он недаром воспитан в интриге придворной.
И червонную кралю у всех отыграв,
Не сыграет вничью в городишке Ливорно.

В молодые года и беда не беда.
Значит, — верить в удачу свою удающую,
Значит, — руку на шпажный эфес — и айда —
Ворожить, обвораживать напропалую!

Дело слишком туманно. Любой оборот
Поначалу возможен... Сбегая по трапу,
Миновал он две улочки, встал у ворот,
Подмигнул, приказал дожидаться арапу.

Говорят — хороша. Говорят — ни гроша
У нее за душой, а безумствует шало.
В европейских столицах бесстыдно греша,
Устрашала дворцы, а сердца сокрушала.

Он вошел. И услышал французскую речь.
Говорит она весело, бегло и кругло.
Он пытается в дивных очах подстеречь
Робость, хитрость, надежду... Не дрогнула кукла.

Говорит о бумагах, делах, векселях...
О былых оскорблениях, о новых бесчестьях.
Обожал ее немец, забыл ее лях...
Сколько всех обожателей? — Право, не счесть их.

Хороша ли? — Божественна! — Сдастся ли? — О!
Тут огонь! Как бы тут самому не влюбиться...
И он с кресла внезапно встает своего,
И грызет черный ноготь смущенный убийца.

А она? А она — так стройна, так странна,
Так нежданна-негаданна, так вождеденна...
Перед ним островная возникла страна,
Лебединое диво, спартачка Елена.

Он склонился, прижал треуголку к груди
И как дочери царской поклон ей отвесил.
И ушел. Что бы ни было там впереди, —
Он ушел, потрясен, заколдован, не весел.

На скуле его шрам. На отчаянный лоб
Злобным временем врезана злобная складка.
По-другому для них приключенье могло б
Обернуться. Служить государству не сладко.

Государство. Скала. Камень-Гром. А змея
Под копытами конскими все еще вьется!
Вот она, распроклятая служба моя —
Скверным словом по-русски такая зовется!

— Не горюй, граф Орлов! Может быть, ты и гад,
Да не сдохнешь по милости нашей монаршей.
Мы с тобою сквозь время летим наугад.
Мы есмы на биваке, на вахте, на марше.

— Мы есмы! В каждой щелочке мы завелись,
Шебаршим в сундуках и елозим по душам.
Если нам присягал, на колени вались, —
Твою честь окровавим, а совесть задушим!

Но постой! Разве я крепостной у тебя?
Разве есть надо мною управа какая?
Разве, шпагу сломав и карьер загубя,
Я не собственной кровью своей истекаю?

Он не спал до зари и не знал, чем помочь,
Крепкой водкою иль огуречным рассолом...
Вот уже миновала короткая почь...
Он встает в настроенье отменно веселом.

Он пропустит свиданье. Иначе нельзя.
За него поработает чья-нибудь сила,
Итальянцы, поляки, прелаты, князья...
Он дождется того, чтоб она пригласила!

Бушевал по трактирам, забыл, хоть убей,
У какой поутру очутился девчонки,
На дворе монастырском кормил голубей,
Сторговал у монахов хрустальные четки.

Дальше хуже! В порту, передернув туза,
Простака обыграл, генуэзца-купчину.
И прошибла Орлова шальная слеза,
Вышел к морю под ливень, завыл беспричинно,

Граф Орлов! Это обыкновенная жизнь
Так сложилась, как, стало быть, ей подобает.
За штурвал, за ременную лямку держись,
В три погибели гнись, коли жизнь пригибает.

Ты управился в Ропле в ту страшную ночь
С коронованным дурнем, Петрушкой-голландцем,
Захотел государыне юной помочь
И прельстил ее сердце кровавым гостинцем.

Все печисто на свете! У каждой весны
Есть изнанка и слякоть, и снова запасы.
Петербург и Ливорно — различные сны:
Здесь амурная пылкость, а в Питер — доносы.

И пошло и пошло! Он легко разузнал
Всю ее подноготную и подоплеку.
Уже в Царское с нарочным послан сигнал,
Что плененье особы весьма недалеко.

Кавалькада вельмож провожала двоик.
Амазонка в седле красовалась прелестно.
И в берете с пером пролетала как вихрь,
То ли мальчик шальной, то ли эльф бестелесный.

Нынче званый прием. Завтра опера. Там
Кафедральный собор и орган и молебен.
Нет конца развлечениям, границы — мечтам.
Каждый день ей отравы и каждый целебен.

Вся Россия в ее кулачке!.. Вот она —
Золотая, хмельная, в бокале хрустальном,
Не страна, а глоток ледяного вина,
Вот за этим столом, а не за морем дальным!

Итальянцы поют, а поляки кричат:
— Vivat русская Елисавета Вторая! —
Это пена и пыль, это пепел и чад,
Это адово пекло, — не надо ей рая!

.

Было утро. Был полдень в ярчайшей красе.
И на борт корабельный взошла самозванка.
Все как падо! Поляки на пристани все.
Все сбывается — вплоть до воздушного замка,

Вплоть до жаркой любви сумасброда того,
Ей отдавшего сердце, и руку, и шагу.
Граф Орлов, Аполлон, полубог, божество!
И с очей она стерла соленую влагу.

Барабанная дробь. Мощный пушечный залп.
Кверху флаги взвились. Поднят трап у причала.
Это он самолично салют приказал
В честь нее! И «спасибо» она прокричала.

Только что-то в глазах и в наклонах голов
Моряков и солдат ей почудилось... Где он, —
Божество, полубог, Аполлон, граф Орлов,
Где полуденный ангел, полуночный демон?

Мчится легкий кораблик на всех парусах
Мимо мысов песчаных и пены прибрежной.
Полдень жарок и сух. Караул на часах.
Время остановилось...

Вразвалку, небрежно
Подошел капитан, тронул шляпу рукой,
Жвачку выплюнул черную, — швед, англичанин?
— Где мой спутник? — Ваш спутник? Простите,
какой?
— Граф Орлов... — Но в ответ ледяное молчанье.

Сколько длится молчанье? Мгновенье или век?
Она вздрогнула, вспыхнула, тут же сдержалась,
Ибо этот нелепый и злой человек
Не досаду внушил ей, одну только жалость.

Покачнулся он туловом тучным слегка —
То ли пьян, то ли просто бочонок из трюма —
И угрюмо коснулся ее локотка.
— Вашу руку, сударыня! — буркнул угрюмо.

Где же ты, Алексей, оглянись же, вернись!
Что мне делать, ответь, Всескорбящая Матерь!
...По крутой винтовой он ведет ее вниз,
Мимо тюков с товарами, пушечных ядер.

Винным смрадом разит из безгубого рта:
— В Петербурге придется ответить за все вам!
Не трудитесь стучать. Ваша дверь заперта.

...И снаружи орудует ржавым засовом.

2

Отчаялись писцы всех канцелярий,
Терпенье, время, бдительность теряли.
Росла машина вздорности и кривд.
Верховный следователь, князь Голицын,
Министр и дипломат, слуга царицын,
Старательно, глаза щитком прикрыв,

Прислушивался к женским излияньям,
К пробелам в памяти, к пустым зияньям
Ничтожных слов и бредней. Но подчас
Спыхватывался и с невольной дрожью,
Встав во весь рост, прикидывался строже,
До сумрачной души не достучась.

А что ж она? Была ль она виновной?
Да, с точки зренья высшей и чиновной,
То посягнувшая на русский трон,
Не слишком рассчитавшая удар свой,
Но внесшая смятенье в государство
И, значит, нам нанесшая урон.

Так понимал Голицын это дело.
А женщина бессмысленно глядела
На перья и чернила... И лгала,
И путалась во лжи, и очень быстро
Вывертывалась. Но в мозгу министра
Болезненно уплотняла мгла.

Летели месяцы. Ползли недели.
Все было непостижно в этом деле.
Был не распутан ни один клубок.
Как будто рядом явная улика,
Но суть ее двусмысленна, двулика...
И нет как нет улики — видит бог!

Путь женщины от многого зависим —
От встреч случайных, от подложных писем,
От прихотей, от ветреных друзей.
Но боже, — как в столицы всей Европы
Она легко прокладывала тропы,
Росла все выше, делалась грозней?

И следовательно, как велит порядок,
На стол бросает несколько тетрадок:
— Пишите сами! Титул. Званье. Ранг.
Год, месяц, место вашего рожденья.
Найдите где хотите подтвержденье,
Что вы мадам Тремуиль иль фрау Франк,

Она в ответ: — Я веры православной.
Я родилась в России и росла в ней. —
Но князя передергивает шок.
Он тут же вострепел и вопзает
Глаза в нее: — ЧЬЯ ВНУЧКА? — Зпать не знает...
— ЧЬЯ ДОЧЬ? — В ответ презрительный
смешок.

— Я вас лишу свечей, лишу подружки,
Оставлю только хлеб и воду в кружке,
Я караульных на ночь к вам введу! —
А женщина небрежно, грустно, кротко:
— Как вам не стыдно! У меня чахотка.
Недолго мне гореть в таком аду.

— Сударыня! Мы сговоримся! Что вы!
Для вас монаршьи милости готовы,
Дом на Неве, именье у Днепра,
Сад и усадьба с белой колоннадой...
— Ни сада мне, ни колоннад не падо.
Не стоит ваших свеч моя игра.

— Однако назовите поименно
Тех, кто внушал вам оную измену!
Священник или светский, кто вослед
За вами шел? Я вижу, — вы несчастны,
Но к заговору песколько причастны,
Вы действовали смело! Столько лет...

И вновь магические вьются тени.
Стамбул. Тавриз. Ширазских роз цветенье,
Все Средиземноморье. Весь Левант.
В голицыиском мозгу смешались мысли:
Блаженный остров. Паруса повисли.
Над ним скрипенье корабельных вант...

Что ж, были и такие приключенья,
Влеченья к жепципам и развлеченья.
Вздохнуть о том весьма не мудрено!..
Но ежели он вдумается глубже,
То скоро подыхать ему на службе,
Ведь в каземате сыро и темно.

Он отрезвел, пройдясь по коридорам,
И жжет на свечке протокол, в котором
Его же почерк покосился вдруг.
Он к этой шлюхе ненавистью пышет
И в ту же ночь императрице пишет,
Что следствие замкнуло полный круг;

Что, не желая вязнуть в оном круге,
Он не Пилат, но умывает руки.
— Благоволите, Кроткая, подать
Пример величья. Впрочем, соразмерьте
Суровый приговор и милосердьё.
И да почиет с нами благодать!

Екатерина за полдень проснулась,
На белый день блаженно улыбнулась,
Доверилась министрову письму,
Умышленно не вникла в это дело,
К пей обращенных слов не разглядела
И начертала вкось: БЫТЬ ПО СЕМУ.

.

У Алексеевского равелина
Тверда как камень выбитая глина,
Мертвы как вечность рывины и рвы.
Здесь солнце из-за низких туч не блещет.
Здесь хлещет ветер. Здесь уныло плещет
О брег свищовая вода Невы.

Был или нет какой-либо свидетель,
В какую цель глядел он, что заметил?
Куда он сгинул в двухсотлетней тьме?
Сих мелочей история не любит
И топором свои канаты рубит.
А что у ней гаятся на уме, —

Того не сыщешь в уголовных кодах,
В рескриптах писанных, в хвалебных одах.
...Вот насыпь над могилкою у рва.
Там нет креста, нет имени и даты.
Стучат прикладами, поют солдаты.
Звучит команда: — Накраул! Ать-два! —

И это есть история прямая!
Она летит в столетьях, принимая
Вид доблести и подлости порой.
А на кого и глянет исподлобья,
Тот в божеское вырастет подобье,
Не имя-рек, не личность, но герой.

Не для него, обласканного щедро,
В ночную пору под рыданья ветра
Сигналы шлет о бедствии кронверк.
Не для таких — безумны и безмолвны,
Сверх ординара вырастают волны.
...И узница рыдая смотрит вверх.

3

Из далекой Италии в Санкт-Петербург
Молодой возвратился художник.
Для него беснование северных пург
Преисполнилось зовов тревожных.

Тут его на Васильевский, в темный чердак
Загнала нищета и чахотка.
Стал он жить как умел, на алтын, на пятак,
Понимал, как целительна водка.

Академики в лентах, в мундирной красе
На него поглядели любезно,
Но отметили на заседании все,
Что, как видно, он катится в бездну.

А в душе у него расцветала весна,
Ликовала великая дерзость.
И однажды, когда он метался без сна,
Пред художником время разверзлось.

Сотня лет миновала мгновенно пред ним.
Что-то вычитал он иль услышал —
И, призваньем храним, непризнаньем гоним,
Безрассудным любовником вышел!

И швырял он мазки на свое полотно,
Хрипло кашляя и задыхаясь.
Так рождалось лицо, воскресало оно,
Одолевшее временный хаос.

На холсте проступала — слаба и нежна,
Чья-то жертва иль чье-то орудье,
Как растение, цеплялась за стену княжна
В красном платье, с раскрытою грудью.

А в косое окно каземата хлестал
Пенный шквал непогоды осенней.
Она знала, что час ее смертный настал,
Не ждала ниоткуда спасенья.

Только слабыми пальцами в камень впилась,
Как в холстину шатучей кулисы.
Только тлела в сиянье пленительных глаз
Благодарность счастливой актрисы.

Благодарность. За что? За непрочный успех,
За неясную роль, за беспечность?
Иль за то, что, во времени жить не успев,
Пред собой она видела вечность?

Так Искусство на ней утверждало закон,
Навсегда милосердный и грозный
Для раскатов оркестра, для ликов икон,
Для поэмы и танца и бронзы.

А княжна Тараканова это предлог,
Чтобы время с прямой автострады
Своротило сюда и вошло в эпилог
Для горчайшей на свете услады,

Сквозь замерзшее в иглах и звездах стекло —
То ли синь проступила морская,
То ли время текущее впрямь истекло,
То ли я наконец истекаю...

Все кончается. Навеселе! Налегке!
И дыша своевольем и ритмом,
Время дальше летит. И в последней строке
О бессмертье своем говорит нам.

ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ

Владимиру Орлову

Здесь, на этой земле благодатной,
Юноша рос, кудрявый и статный,
Книги читал, от жизни далек,
Светлые думы в песни облек.

Зла не изведав,
В усадьбе дедов
Рос Александр Блок.

Смолоду дерзок и независим,
Слал наудачу тысячи писем
В звездное небо, в царство весны,
В юность чужую, в девичьи сны,

Взысканный щедро
Милостью ветра,
Видел вещие сны.

Здесь же рядом, в селе подмосковном,
Пела девушка в хоре церковном.
Девушки той давно уже нет.

Голос ее запомнил поэт, —
Вот и поет нам
О мимолетном
Столько весен и лет.

Здесь, на камне праледниковом,
Сном околдован, к ритму прикован,
Вспомнил недавнюю смерть отца,
Тяжесть и сумрак его лица.

Ямбы «Возмездья»
На этом месте
В камень бьют без конца.

Скажут: им рано грусть овладела,
Жил неумело... Не в этом дело!
Жарко любя и жадно дыша,
Гибельно бредя, грустно греша,
 Рано иль поздно
 В тревоге грозной
Вверх взметнется душа!

Вспомним, друзья, как дышит глубоко
Тайный жар в сочиненьях Блока,
Тайный зов Души Мировой,
Как ей платил своей головой
 Безумный Врубель,
 Как шел на убыль
Зов Души Мировой...

Но не для Блока! В метельной стуже
Вышли Двенадцать бойцов. И тут же
Ворот раскрыл, встречал у ворот
Блок — социальный переворот.
 В стуже метельной
 Он беспредельно
Верил в русский народ.

Сорокалетний — жизни не дожил,
Славного дела не подытожил,
Рано он вышел, рано ушел,
Вовремя только правду нашел, —
 С правдой народной
 Бесповоротно
В будущее вошел.

В будущем — с нами старый товарищ.
Старый? — Нет, его не состаришь.
Юность осталась, какой была,
Окрылена, мятежна, светла.
 Юности вечной —
 Пусть быстротечной —
Слава, честь и хвала!

9 августа 1970. Шахматозо

ПОПЫТКА САМОКРИТИКИ

Наверно, я не Гамлет, — но
Мой опыт жизненный был горек,
И скалился мне бедный Йорик:
— Ты тоже сдохнешь, пей вино!

Наверно, я не Дон-Кихот
И ветряных не встретил мельниц,
Но сам, как ветренный умелец,
Их строил и пускал их в ход.

Меж прочих действующих лиц,
Наверно, был я Хлестаковым
И слушателем бестолковым
Дал топливо для небылиц.

И развлекая и дразня
Осиный рой всесветной черни,
Сам исчезал в толпе вечерней,
Во всем похожей на меня.

1971

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Товарищ, я прожил
Три четверти века.
И все подытожил —
Поставлена крайняя веха.

Тут печем хвалиться!
У слабых, у сильных
Издерганы лица
В колдобинах изжелта-синих.

Но как там ни поздно,
Как труд ни громоздок, —
Тайком, не опознан,
Беснуется в старце подросток.

Пусть вирус ничтожен,
Да вот лихорадит!
Ты спросишь, на что ж он
Силенки последние тратит,

Зачем на эстраде
Горланит он дико,
Вопит: — Христа ради,
Вернись, оглянись, Эвридика!..

Отвечу, — безумье
Смешно на поверку.
Потухший Везувий
Решил подражать фейерверку.

Отвечу, — не знаю
Иного ответа.
Я только сквозная,
Чужая, ничья эстафета.

Что было когда-то,
Сосчитаны годы.
Зарублена дата
На камне могильной невзгоды.

Беззубая Парка
Сучит свои нити.
Но солнце так ярко
Горит, как горело в зените.

Под той бирюзою,
Под черной грозой
Я жду мою Зою,
Бессмертную, вечную Зою.

А завтра забрезжит
Жестокое утро
И врежется скрежет
Безглазой, безносой, премудрой...

Ни злой укоризны,
Ни ропота злого!
Для собственной тризны
Недаром пишу это слово:

— Я жил в мирозданье.
Я знал первожданность.
В посмертном изданье
Живым, а не мертвым, останусь.

1971

СОДЕРЖАНИЕ

СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

Новогодняя ночь	7
---------------------------	---

ЖЕЛЕЗО И ОГОНЬ

Страница новой истории	9
Антифашистский митинг молодежи	12
Медный всадник	13
Письма в Среднюю Азию	15
Жан-Ришар Блок в Казани	17
Парень из гитлеровской дивизии	18
Баллада о мальчишке, оставшемся неизвестным	20
Москва фронтовая	23
Мщение	25
Неоконченное письмо	27
Германия	28
От пункта Эп на запад	31
Сказка вьюги	33
Русская сказка	36
Леониду Первомайскому	38
В страшный час	39

СЫН. Поэма	40
----------------------	----

ЕЩЕ РАЗ ЖЕЛЕЗО И ОГОНЬ

Армия шла	63
Памяти Тургенева	65
Жар-Птица	67
Леди Гамильтон	69
В районе Жиздры	71
Эпитафия тигру	72
Баллада растущих чисел	73
Баллада о том, как спасся Жан Лекок	75
Невольничий рынок	80

Лагерь уничтожения	81
Сказка о матери	83
Дева Обида	86

ЯРОСЛАВНА. Поэма	87
----------------------------	----

ПАУЛЬ ВИЛЬМЕРСДОРФ. Поэма	93
-------------------------------------	----

ПОБЕДА

Правый берег Днепра	103
Водный рубеж	111
Новый год	116
Настанет день	118
Двадцать третье апреля 1945 года	120
Русские в Берлине	121
Говорят развалины	123
Портрет поэта	125
Письмо на Дальний Запад	127
Шесть весен	129

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ ПЕРВЫЙ

В ночь на седьмое	132
Ленинград той весной	134
Ленинград еще ближе	136
Горная дорога	140
Тбилисская ночь	141
Это фронт	143
Концерт в Киеве	147
Далекая даль	149
Невечная память	152
Надпись на книге молодого	156
Заключение	157

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ. Поэма	159
--	-----

СЕРЕДИНА ВЕКА

Поэт и время	171
В ПЕРЕУЛКЕ ЗА АРБАТОМ. Поэма	173
ОКЕАН. Поэма	234

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ ВТОРОЙ

Баллада-репортаж	254
Баллада о пропаганде	259

Баллада о поэзии	261
Баллада сюрреалистическая	264
Запад — Восток	267
На тропинке Рака	268
Сорок третий год	270
В госпитале	273
Сказка о драконах и тиграх	275
Кладбище моряков	278
Бронза в джунглях	280
Возвращение	283

МАСТЕРСКАЯ ПЕРВАЯ

Что недосказано	285
Ты не дружил	286
Другу	288
Коктебель	290
В библиотеке	293
Гоголь	295
Мальчики	299
Баллада про верного пса	301
Баллада о чудном мгновении	303
Две жизни	305
Мастерская	303

МАСТЕРСКАЯ ВТОРАЯ

Искусство не ждет приглашений	310
Рождение искусства	311
Дон-Кихот	313
Иероним Босх	315
Тризна	317
Сны возвращаются	319
Романсы	320
Открытое время	322
Я рассказал	324
Поэзия	325

УРОКИ ИСТОРИИ

Октябрьский вихрь	326
Десять лет назад	328
Стихи под эпитафией	330
Геофизический год	332
Еще один Новый год	334

Памяти Тютчева	337
Смятенъе	338
Двадцатый век	340
Будет написано в 2061 году, если...	342
Апрель 1961 года	345

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Надпись на книге	351
----------------------------	-----

БОЛГАРСКАЯ РАПСОДИЯ

Вступление	352
Шипка	354
Археологи и школьники	358
Орфей Фракийский	361
Свадьба на дороге	363
Кантилена	365
Ночь в Софии	366

ПО ДОРОГАМ ЮГОСЛАВИИ

Адриатика впервые	368
Адриатика в тумане	370
Адриатика в полдень	372
У Диоклетиана	374
Гаврило Принцип	377

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Электрическая стереорама	380
Мы, поэты	382
Канатоходцы	383
Сказочка о боге	385
Восток	387
Рабы Микеланджело	389
Аппассионага вторая	391
Маяковский	393
Марина	394
Черновик	396
Сколько света!	397

ДЕТИ ОГНЯ

Пикассо	398
Сказка про царицу Нефертити	411
Циркачка	420

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Вступление	424
Время говорит	426
Юность говорит	428
Старик говорит	430
Действующие лица говорят	431
Исповедь	433
Пусть формула суха	434
Беглый огонь	435
Ньютон	437
Две реплики в споре	439
Замысел	443
В моей комнате	444
Говорит земля...	445
Физик	446
То, что казалось	447
Встань, Прометей!	450

ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ

Сад	451
Сосны	452
Антенна и скворешня	453
Как пейзаж	454
Память	455
Гроза-подруга	456
Бьет одиннадцать	457
Жизнь поэта	458
Свириный рай	459

КАК ЭТО НИ ПЕЧАЛЬНО

Миф	460
Как это ни печально	461
Ночной разговор	462
Хочешь слушать!..	465
Я убеждаюсь непрерывно	466
Старый скульптор	467
1923—13.V—1963	469
Ольге Берггольд	471
К дискуссии о реализме	473
Художники	474
Гроза	475
Заключение	477

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ. Поэма 481

1966—1968

Весеннее равноденствие	497
Июль, 1966	499
Свободен от постоя	501
На что мне?	502
Музыка	503
Актер	507
Тень	510
Балаганный зазывала	511
Счетчик Гейгера	513
Весна 1967	514
Манон Леско	515
Стриптиз	517
Зоя	518
О раннем	519
Реплика в споре	520
Художнику	521
Выходной день	522
Конец Орфея	523
Ни благодати, ни благодарности	524
День рождения	525
В долгой жизни	526
Благословение	527
Диккенс	528
Океанская баллада	529
Миф	530
Память	531
Архимед и сказка	532
Три сонета	534
Как ни кайся	536
Объяснить?	537
Мы	538

ЗОЯ БАЖАНОВА

Венок сонетов. 1920—1967	543
ЗОЯ БАЖАНОВА. Поэма	551

1969—1971

После поэмы	573
Земля	579

В коробке черепной	581
Петербуржец начала века	582
Колыбель русской поэзии	584
Сонечка Мармеладова	587
Смута	588
МОЩИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. Поэма	592
княжна ТАРАКАНОВА. Поэма	599
Вечная юность	611
Попытка самокритики	613
Заключение	614

Павел Григорьевич Антокольский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том второй

Редактор

Л. Красногладова

Художественный редактор

Ю. Боярский

Технический редактор

С. Ефимова

Корректоры *Р. Пунга* и

А. Юрьева

Сдано в набор 8/1 1971 г. Подписано
к печати 12/V 1971 г. А04081. Бумага
типогр. № 1. Формат 84×108¹/₃₂.
19,5 печ. л. 32,76 усл.-печ. л. 25,541 уч.-
изд. л. Заказ № 929. Тираж 50 000 экз.
Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Художественная лите-
ратура», Москва, Б-66, Ново-Басман-
ная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2 им.
Евг. Соколовой Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Мини-
стров СССР. Измайловский пр., 29.

